

ДЕТЬ
НОЇЗУ



1979

**ДЕТЬ
НОДЗУИ
1979**

*Москва
Советский писатель*

1979

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Лариса Васильева (главный редактор)

Яков Белинский

Владимир Гусев

Илья Зильберштейн

Василий Казанцев

Надежда Кондакова (составитель)

Владимир Костров

Леонард Лавлинский

Сергей Марков

Сергей Наровчатов

Василий Субботин

Людмила Татьяничева

Виктор Федотов

Степан Щипачев

Художник Вл. МЕДВЕДЕВ

© Издательство «Советский писатель», 1979 г.

Д $\frac{70402-261}{083(02)-79}$ 146—79.

4702010200

Двадцать пять лет назад поэты Москвы впервые отметили свой праздник — День поэзии. С тех пор ежегодно осенним днем выходят они к читателю — в студенческие аудитории и книжные магазины, на эстрады клубов и дворцов культуры. К этому празднику приурочен и выход в свет сборника «День поэзии».

Перед вами — двадцать четвертый его выпуск.

Книга выходит накануне столетнего юбилея Александра Блока. Три ее раздела, отмеченные эпиграфами из стихотворений великого поэта, содержат в своем подтексте три времени поэтического дня: утро, день, вечер.

Первый, «утренний» раздел открывается раздумьями поэтов о современности; здесь же — стихи молодых, произведения известных мастеров нашей поэзии, созданные ими в юные годы и прежде не публиковавшиеся.

Во втором разделе — ритмы рабочего дня страны, стихи поэтов «о времени и о себе», память о путях, пройденных народом и поэзией.

Третий раздел — лирические диалоги, стихи о любви, иронические стихотворения и пародии.

Через всю книгу проходят рубрики «Наши юбиляры», «В воспоминаниях современников», «Прозаики о поэзии», «Наши публикации».

Читатель найдет в сборнике и критические статьи, посвященные проблемам настоящего и будущего советской поэзии.

За помощь в подготовке ряда материалов редколлегия благодарит Н. С. Алянскую, И. А. Дремова, Н. К. Жигаич, С. А. Поделкова и М. И. Чуванова.

I

*В час утра, тихий и хрустальный,
У стен Московского Кремля
Восторг души первоначальный
Вернет ли мне моя земля?*

А л е к с и н д р Б л о к

Монолог

Константин Симонов

ИЗ ИРАКЛИЯ АБАШИДЗЕ

Эдуардасу Межелайтису

Казалось бы, разум
Холодный и грозный
Планетой Земля
Безвозвратно владеет.
А все-таки с ним
И поспорить не поздно,
Когда красота
Нас за сердце заденет!

Время пристрастно
К кисти Пикассо,
Время пристрастно
К кисти Матисса...
Но где-то под этим —
Незримая трасса,
Где время вступает
На путь прагматиста.

И если сосуд
Всех сокровиц — рассудок,
То, может быть, по боку —
Все, что не дельно?
Но станут ли жить
Хоть в течение суток
Сердце — отдельно?
Разум — отдельно?

Казалось бы, просто,
Научно, бесспорно
Во времени вычислить
Место поэта.

Но он, проходя
Между белым и черным,
Живет как загадка,
А не как анкета!

И голос поэту
На то и дается,
Чтоб крикнуть о том,
Что забыли мы сами:
Жизнь — жизнью!
Любовью — любовь остается!
Очаг — очагом!
Небеса — небесами.

Одною шкалой
Человека не мерят.
Для разума с сердцем
Нет веса, нет меры!
И в разум без сердца —
Люди не верят.
И сердцу без разума —
Тоже нет веры.

И через столетье,
Как единоверцы,
Мы скажем в конце
Двадцать первого века:
Да здравствует
Мыслящее сердце!
Да здравствует
Бьющийся ум человека!

Николай Грибачев

ПОКЛАЖА

Что — искусство? Разновидность блажи?
Времени досужный перевод?
Бесполезной на спине поклажи
Род людской в дорогу не берет.

Ни к чему тащить по круче горной,—
Нотой будь он, полотном, строкой,—
Груз, для дела жизни непригодный,
Клад, что станет к вечеру трухой.

Отметутся те штрихи и знаки,
Что, хоть и затейливы весьма,
Неспособны свет родить во мраке,
Жар для сердца, пламень для ума.

Но уж тем, что не на час — в забаву,—
Как весна просторы — соловью,
Человечество вверяет славу,
Мудрость выстраданную свою,

Все свои прозренья и сомненья,
Радость обретений, боль утрат,
Вечный подвиг мироосвоенья,
Страсть любви, где рядом рай и ад.

Были на поэзию запреты,
Но ладонью не закрыть зари —
Умирили царства и цари,
Выживали книги и поэты.

Чахнет мифология ислама,
Меркнут христианства письмена,
Но Петрарки, но Омар Хайяма
Пребывают с нами имена.

И какие б ни плодила ветви
Новых знаний новая пора,
Человеку не прожить на свете
Без смычка, без кисти и пера!

Павел Железнов

* * *

Над Землею сияет небо,
голубая даль глубока.
Как весной остатки снега,
тают рыхлые облака.
А вокруг — пьянящая нега,
руку милой ищет рука.

Мирно плещут речные воды,
стройный клен шумит за бугром...
Вспоминаю давние годы,
дальнобойных орудий гром.
Было не до красот природы
нам, идущим на бой с врагом.

Но и в гуле пальбы тяжелой
я грустил в одном из стихов,
что жужжали пули — не пчелы —

над простором родных лугов
и цветы увядали в долах,
как невесты без женихов.

Нет, природа не храм, конечно,
не замаливать здесь грехи,
но — хранить ее должен вечно
Человек — властитель стихий —
и, Путем пролетая Млечным,
о Земле сочинять стихи!..

Мы глядим, подымаясь в небо,
с высоты, а не свысока,
как, подобно остаткам снега,
расплываются облака.
И пьянит голубая нега,
и звенит струною строка!

ХОДОКИ

Свинцовые, тяжелые, густые
жгли струи пулеметного дождя...
Казалось, посетила вся Россия
высокую приемную вождя.
Крестьяне шли за лесом и землей,
рабочие — за хлебом и углем;
и утро над притихшею страной
горело ясным северным огнем.
И находилось каждому участие,
слова на теплом русском языке,
и каждый уносил мгновение счастья:

он —
с Лениным самим —
накоротке...
Прошли года, и на рассвете снова
народ стоит у входа в Мавзолей
и в книгах ищет ленинское слово,
навек всколыхнувшее людей.
И все они — рабочий и военный,
колхозник и студент — одним близки...
День изо дня, упорно, неизменно,
идут со всей планеты ходоки!

Михаил Львов

МОИ ДУЭЛИ

В офицерской шинели
С пистолетом в руке,
Я не пал на дуэли,
На своем Машуке.
Так мне вдруг написалось,
Так подумалось вдруг,
Так мне вдруг показалось,
Как увидел Машук...
Ни в Москве, ни в глубинке —
Даже после тех строк —
Я не пал в поединке
Не затем, что не мог,
Не затем, что дуэльной
Нет решимости в нас.
Не затем, что предельный
Нас пугает тот Час.
Нет, другое, другое,
Не страховка, не страх —
Выгибались дугою
Наши сабли в боях.
Было: насмерть стояли.
И лицом отцвели.
Эту жизнь отстояли.
Смерть от всех отвели...
С нерастраченной жаждой
Фантастических сил
Был и ангелом — каждый,
Но и демоном был.
(Ах, как мало сегодня
Быть иль этим иль тем...

Не объять половодья
И событий и тем!)
За дуэльной чертою
Я давно нахожусь,
За такой высотой,
Что в пророки гожусь...
Пусть идут в дуэлянты —
В жизни или в кино —
Молодые таланты,
Молодое вино.
...Относил я шинели,
На пальто перешил.
Фронтные дуэли
Я свои пережил.
...А работа — до света!
И — моли не моли —
Быта бедная смета —
Вот дуэли мои...
...И друзья поседели,
Потушили глаза —
За пределом дуэлей,
Поединками — за...
Мы в поступках — свободней,
Но — под юности сень —
Не вернемся сегодня
Мы в свои Двадцать семь.
Не пройдем и парадно
Вспять — к прошедшим векам.
Не вернемся обратно
И к своим Машукам.

Алексей Смольников

* * *

Как молоды мы все на этом снимке!
И веселы: Берлин у наших ног...
Стоим впритирку
И сидим в обнимку,
А кто-то просто на траву прилег.

И звезды наши светятся, и лычки,
И ордена — хоть ставь нас всех под стяг.
Вот только фон какой-то необычный —
Сирень,
А взяли только что рейхстаг.

Тут нам смекнуть бы: вот, мол, мы какие!
Мол, мы на «ты» с историей самой.
А мы-то улыбаемся: живые!
Рейхстаг, он что? Нам фото бы домой...
Но я за то друзей не упрекаю
(Историки подправят нас потом) —
История, она и впрямь такая,
Пока скрижали пишутся штыком.

Марк Лисянский

ЖИЛИ-БЫЛИ

Мы жили-были с вами,
Шли в бой за власть Советов...
Какими нам словами
Рассказывать об этом!

Мы Родине служили,
Мы в смертный бой ходили.
И все-таки мы жили,
И все-таки мы были!

Мы шли к заветной цели,—
Нас упрекнуть не смеют,—
Как мы дружить умели,
Теперь так не умеют.

Нам вырывали жилы,
Нам головы рубили,
И все-таки мы жили,
И все-таки мы были!

Опасные, крутые
Преграды мы крушили...
А девушки какие
Нам головы кружили!

Случалось, мы тужили,
Когда нас не любили,
И все-таки мы жили,
И все-таки мы были!

Невиданным аллюром
Прошли по всей России.
Какие шевелюры
Роскошные носили!

Свое недодружили,
Свое недолюбили,
И все-таки мы жили,
И все-таки мы были!

Как мы смотрели прямо,
Как честь мы защищали,
Каким прекрасным дамам
Стихи мы посвящали!

Еще мы не сложили
Об этом сказки-были,
И все-таки мы жили,
И все-таки мы были!

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЯ

Мое предзимье...
Солнце не печет,
Но лишь взошло — и тучи разметало.
Дышу...
Построчно жизнь моя течет
Из-под славянских литер «Рейнметалла».

Не воскрешенье — продолженье дня
С ночами беспокойных передышек...
Жаль, мало дней осталось у меня,
А от меня — нерукотворных книжек.

Мне грустно, что душа моя — не в них...
Иллюзий утешающих не строя,
Уверен, что достаточно ревнив
К реальной жизни своего героя.

Бок о бок я полвека с ним уже
На ротных нарах,
У болванки красной,
Что прикипела так душа к душе —
Разъять их автогеном труд напрасный.

А «кто есть кто?» —
Загадкой такой
Мы развлекать друг дружку не дерзаем,
Моей ли он иль я его тоской —
Сердца незащищенные терзаем.

Так легче жить...
За «здорово живешь»
Пристрастной ложью дружбу не ославишь.
Не лжет душа, —
Какая ж это ложь,
Когда рука не тех коснется клавиш?

Не лгут слова, когда они кричат.
Молчание всегда ли знак согласия?
Пусть неумолчно молоты стучат,
Форсунки ненасытные фырчат
Стальной огнедышащей пастью.

Друг друга с полуслова понимать
Научены отнюдь не тишиною,
Не потому ли тяжело внимать
Нам, оглушенным миром и войною?

Не оправданье — боже сохрани!
Скорей, пожалуй, самоутешенье,
Что нам «зачтутся» проходные дни
И да простятся наши прегрешенья.

Дни проходили медленно и зло
Кровавыми ходами сообщенья.
Порой мечталось: хоть бы повезло,—
Мол, помкомвзвода, у меня раненье.

Но зуммерила рация, хрипя:
«На правом фланге у соседа туго!»
Друг друга не молитвой торопя,
Мы уползали выручать друг друга.

Дни проходили вдоль и поперек
Душевных мук и мышечных усилий.
Дымил мазут, вонючий как хорек,
Ну а другого в цех не привозили.

Порой желалось:
Хоть бы лопнул шток, —
Товарищ мастер, с «баннингом», мол, амба!
Но он гремел, проклятый молоток,
Жуя железо челюстями штампа.

«На целине предплужники горят!» —
Начальнику кричат из аппарата.
Без выходных,
Сто смен ночных подряд
Даем — по сто предплужников на брата.

Нам надобно добиться, добежать,
Доскородить, дожидаться урожая,
Задачи неотложные решать
Не голову сломя, но поспешая.

Не до стихов...
А если до стихов?
А если не отхаркаться от пыли
Без них, когда по двести лемехов
За час мы бормашинками точили?

«Предплужники горят на целине!»
«На правом фланге у соседа туго!»
Не на войне, а вроде на войне,
Чтобы бессонно думать друг про друга.

Где дружбы узы, там и род людской,
Тот самый, что с «Интернационалом»...
Как горделиво вертит он башкой,
Парнишка за комбайновым штурвалом!

Что ж, не для шапки у него башка,—
Он мне простит нехитрое сравненье:
Прокос, как стихотворная строка,
Квадрат загона, как стихотворенье.

Грех невеликий —
Строчками стиха
Над пахотой расщелкаться скворцами,
Но если загорятся лемеха,
Мы от усилий задымим сердцами.

Но коль беда нагрянет пострашней,
Впряжемся в скатку и беду осилим,
А то, что остается мало дней,

Так это у меня —
Не у России.

Бок о бок я полвека с ней уже
На ротных нарах,
У болванки красной,
И прикипела так душа к душе,
Что смертью не разъять их —
Труд напрасный.

Владимир Савельев

* * *

Беспечно отпуская вожжи
своих некованных утех,
меня теснил мороз Поволжья
и гнал пальбой в кузнечный цех.

Туда, где был без лицемерья
вселенский, собственно, уклад
не просто разграничен дверью,
но — как бы надвое разъят.

Разрублен. Рассечен. Расколот.
Мол, тут и нынче, что вчера,
владычит первозданный холод,
а там-де властвует жара.

Тут царство, мол, недвижимой стужы,
а там-де зной бурлит теперь.
Свет изнутри и свет снаружи
столь разно падали на дверь.

На дверь, стесненную проемом,
но слышавшую в ходе лет,
как треск перемежался громом:
вопрос — ответ, вопрос — ответ.

Что ненавидишь? Равнодушие!
Встречал любовь на свете? Да!
Умрешь за друга? Если нужно!
Простишь измену? Никогда!

Обидна правда? Кривда хуже!
Идешь вперед? Не без потерь!
Свет изнутри и свет снаружи
столь разно падали на дверь.

Оцепеневший свет мороза,
жары пульсирующий свет —
и в них ответы на вопросы:
р-раскат — вопрос, р-раскат — ответ.

Нина Новосельнова

ТРАВИНКА

Обрывистый берег с кустарником редким,—
Никак я отсюда уйти не могу:
Я слышала, будто далекие предки
Засеяли пашни на том берегу.

Сейчас там курганы, ершисто заросшие
Могучей травой, коси не коси,—
Как будто таит она корни из прошлого,
Из песенной, белой, былинной Руси.

Я чувствую роста тугое движение,
Меж дальним и ближним связующий знак.
Я тоже травинка. И я продолжение
Бессмертного рода солдат и трудяг.

И видится мне: за склоненною елкою
Меня изучает внимательный взгляд
Плечистого воина с русою челкою,
Задумчивой женщины в платье до пят.

* * *

А как отзовется двадцатый наш век,
Когда уж сама эта цифра — «двадцатый» —
Не будет собой завораживать всех,
Не будет лететь сквозь туманы и снег
И соединится со словом «когда-то»?

Здесь ярость стучится в скопление лет.
И нам сквозь разряды печали и смеха

Мерещится наша великая вежа:
Крупнейший ученый, крупнейший поэт,
Крупнейший мыслитель двадцатого века!..

Мы верим в свой век со страстями его.
На этой загадочной малой планете
Каким он окажется в медленном свете,
В значении истинном мира сего?

Алексей Сурков

◆
Наши
юбиляры
◆

— Алексей Александрович, с чем хотелось бы Вам обратиться к читателям в год Вашего восьмидесятилетия?
— Конечно, с новыми стихами.

БЕССОННИЦА

1

Как с возрастом свыкаться не легко —
Ступени лестниц не считать вприпрыжку,
Пить вместо цинандали молоко,
Таить в груди проклятую одышку.

Носить маститости постылый чин,
Сомнительное седины величье
И, за китайской грамотой морщин,
Былое не угадывать обличье.

Друзей старинных узнавать едва,
Не ввязываться в споры, как обычно.
И каждый день выслушивать слова,
Что ты, конечно, выглядишь отлично.

2

Все кажется, что мускулы крепки,
Что сердце гонит кровь по-молодому,
Но возраст ином покрывает виски,
И, как ни тщишься, не будет по-иному.

И все не переделаешь дела,
И сном, как прежде, не сотрешь усталость.

Порадуйся, что прежнего тепла
Хоть капелька еще в душе осталась.

За осенью всегда идет зима.
Таков закон. Оспаривать не будем.
Лишь только бы не выжить из ума,
Не стать, в конце дороги, в тягость людям.

3

Вот август подоспел вослед июлю.
Пошли дожди. Отхлынула жара.
Что ж, старина, позолотить пилуюлю
Приспела долгожданная пора.

Не радость старость. Это, в общем, верно.
И будто в воздухе не тот озон.
Но разве все вокруг темно и скверно?
И вешать нос на квинту есть резон?

Да, молодость крылата и задорна.
Да, зрелости под силу все дела,
Но мудрых мыслей золотые зерна
Судьба в награду старости дала.

ПОЭЗИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Литературные мечтания

Вчера и сегодня — понятно. Об этом пишут, говорят, спорят. А вот завтра — это как раз литературные мечтания. Специально подчеркиваю — не прогнозирование, — попытка прогнозировать поэтическое развитие на 70-е годы в «Дне поэзии 1969», по-моему, дала комический эффект, — а мечтания, представление об идеале.

У каждого читающего человека, а тем более литературного критика, есть свой, лелеемый в душе, идеал поэзии. Можно бесконечно любить одного и другого поэта, увлекаться третьим и четвертым, отзываться пониманием пятому и шестому и т. д., то есть воспринимать тот мир прекрасного в поэзии, который создан умом, сердцем и талантом наших современников...

Воздадим им должное!

Нет же достаточных оснований потупливать взгляд, когда речь идет о поэзии наших дней. И я не случайно оборвал фразу об отношении к современной поэзии на высокой ноте, чтобы закрепить ее, отнеся заключающий в себе желание высказать нечто дискуссионное союз НО подальше.

Итак — но...

Идеал всегда выше, лучше, прекраснее. И если современная поэзия не соответствует чьему-то идеалу (в том числе, естественно, и моему), то это не значит, что она бедна идеями и образами. Достижение идеала означало бы предел ее развития, конечную фазу, иначе говоря — смерть. Идеал необходим как цель, как высшая мера прекрасного. Идеал открывает возможность приближения к нему. Наконец, идеал надо иметь перед собою как ориентир, чтобы продолжать поиски ответа на уже давно, почти полтора столетия назад, гениальным Пушкиным поставленный вопрос: «Куда ж нам плыть?»

И самое существенное в идеале для практики: на нем выстраивается концепция искусства.

Поэтому прошу отнестись к этим литературным мечтаниям как к моему (хочу надеяться, близкому еще кому-то) идеалу поэзии, моему представлению о том, какой она должна бы быть или какой ее хотелось бы видеть.

...В благопристойной, высокой поэзии начала прошлого века прозвучали чудовищные с точки зрения благопристойного же вкуса стихи «Руслана и Людмилы»:

Я еду, еду, не свищу,
А как наеду, не спущу!

И вполне, видимо, благопристойный критик того времени с темпераментом обличителя писал: «...если бы в Московское благородное собрание как-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможным) гость с бородою, в армяке, в лаптях, и закричал бы зычным голосом: здорово, ребята! Неужели бы стали таким проказником любоваться?» Благопристойный критик призывает почтенную публику каждый раз зажимать глаза «при появлении подобных странностей», которые не приемлет «просвещенный» вкус.

Мне могут не простить резкость современные критико-поэтические витии, любящие ссылаться на Пушкина, прикрывать его именем свои представления о поэзии как замкнутой в одной (!) традиции эстетической системе, но как было бы здорово, если бы перед их глазами появился человек, может быть, и с бородою, ныне модной, но не в армяке и лаптях, а в современной (любой!) одежде и сказал бы крепкие, коробящие слух слова, заставив присутствующих зажать уши! Я вполне сознательно иду на такое обострение, ибо уверен (и опыт российской словесности подтверждает это), что иногда полезно, даже необходимо эпатировать застывшие вкусы, бить по медным лбам охранителей эстетической «нравственности», помня: как бы они сейчас ни прикрывались именем Пушкина, но — в свое время! — не пустили бы его в благородное собрание с вульгарным, коробящим вкус: «Я еду, еду, не свищу...»

Под свист и улюлюканье благопристойной критики вошел в русскую поэзию ее выдающийся революционер Владимир Маяковский. Неуязвимая как броня эстетская «защита» Пушкина спровоцировала юного поэта поднять голос против величайшего национального гения. Маяковский скоро осознал этот грех молодости и с грубоватой прямоотой и не без грусти сказал: «Я люблю вас, но живого, а не мумию». И в тактичной догадке протянул ниточку родства с ним по революционной, новаторской линии. Так, а не как-нибудь иначе надо понимать это подчеркнуто личное: «Вы по моему при жизни — думаю — тоже бушевали. Африканец!»

Тоже бушевали!

Не привилегия ли это молодости? И не молодость ли и страсть выводят поэзию на самый стрежень жизни?

У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огривив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.

(«Облако в штанах»)

А разве не искренний порыв проникновеннейшего русского лирика Сергея Есенина исторг осуждающе-грустные слова:

Мы многое еще не знаем,
Питомцы ленинской победы,
И песни новые
По-старому поем,
Как нас учили бабушки и деды.

(«Русь уходящая»)

Разве не острое желание новизны, желание удержать, не упустить молодость сказалось в стремлении поэта (вполне искреннем и серьезном!) «задрать штаны, бежать за комсомолом»?

Не скрою, мне очень хочется видеть сегодняшнюю поэзию полной молодой страсти, молодого нетерпения приблизить будущее. И оказывается, не так уж иллюзорна мечта видеть советскую поэзию молодой и дерзкой, по-комсомольски азартной, поскольку она, в истоках своих, всегда была такой.

...Мир стремительно обновляется. Меняется его социальная структура, бытовой уклад. Меняются представления о времени и расстояниях. Машинная цивилизация проникает в самые отдаленные уголки планеты. Футурологи предсказывают колоссальный скачок человеческого сознания уже в ближайшем будущем. Чего, например, стоит вывод академика П. К. Анохина о возможности наследственной передачи приобретаемой информации! Наука доказывает возможность продолжения, воспроизведения искусственным путем исключительных генетических комбинаций в человеке. Поэзия же основные силы тратит на то, чтобы сохранить свою суверенность и независимость от НТР. Она, правда, стремится сохранить духовные ценности, созданные предыдущими поколениями, и это — прекрасно!

Но не пора ли усложнить задачу? Духовная жизнь не замыкается в искусстве. Межпланетный летательный аппарат не только блиста-

тельное создание инженерной мысли, но и взлет человеческого духа, воплощенная мечта.

НТР вносит в наш быт, в наши отношения элементы рационалистического расчета, связанные прежде всего с уплотнением времени, с убыстряющимся ритмом жизни. Так, может быть, не надо укрываться в традициях, не надо целиком уходить в неспешное обдумывание себя, своего пребывания в поэзии, своих отношений с вечностью, не надо закрывать глаза на НТР, а смелее идти на сближение с нею, чтобы уловить, открыть и культивировать в поэзии новую эмоциональность? Не в стремительном ли полете мысли она? Не в блеске ли технических решений? Не в эпохальных ли научных открытиях? Не в совершенном ли владении человека машиной?

Не укрываться, а — открывать! Вот цель поэзии.

Не бояться делать тот (рискованный!) шаг в неизведанное, который позволит хоть чуточку, хоть на вершок вырваться вперед.

Александр Блок в статье «Душа писателя» говорил о чувстве пути: «Как ирис и лилия требуют постоянного удобрения почвы, подземного брожения и гниения, так писатель может жить, только питаясь брожениями среды». Пренебрежение к современности в пользу «вечных» тем искусства — не всегда признак высокого предназначения, довольно часто это признак социальной и нравственной апатии.

Ч у в с т в о п у т и — это прежде всего чувство нового, чувство времени, перемен, нравственной и гражданской ответственности «за все на свете», как сказал великий поэт современности Александр Твардовский.

Как хочется, чтобы чувство пути решительно проявило себя в поэзии на основе затянувшейся рекогносцировки позиций современности! Не атака с ходу, но смелое, подкрепленное социальным, нравственным и психологическим опытом народной жизни вторжение в современность — мне представляется генеральным направлением поэтического развития на ближайшие годы, если, конечно, поэзия претендует на общественное признание, если она не перестанет ощущать себя общественно активной силой.

Мир поэзии, мир прекрасного существует не только для того, чтобы приносить людям радость и наслаждение сегодня, сейчас, его предназначение еще и в том, чтобы «вырвать радость у грядущих дней» (Маяковский).

ЗДРАВСТВУЙ, ПЛЕМЯ, МЛАДОЕ, НЕЗНАКОМОЕ!

Летит сквозь века щедрое приветствие. И ныне, в год 180-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, этими его словами встречаем мы новых поэтов.

Не будем предугадывать их поэтическую судьбу. Но, выбранные сегодня из множества рукописей, стихи Евгения Юшина, Ирины Кияшко, Петра Красноперова, Владимира Урусова, Михаила Поздняева, Татьяны Ребровой, Геннадия Красникова представляются нам достойными читательского внимания.

Р е д к о л л е г и я

Евгений Юшин

* * *

Институтские звонки
заглушили летний гром.
Тихо к берегу реки
прислонился мой паром.

А хотелось плыть и плыть.
Только кончилась река.
А хотелось быть и быть
на века и на века.

Научили годы нас
без высокопарных фраз
полыхать сильнее огня
чувством Родины и дня.

Чтобы лесу зеленеть
и расти под облака.
Чтобы в жизни прозвенеть
от звонка и до звонка.

НОЧЬ В КАЗАРМЕ

Храпят ребята... Как храпят ребята!
А говорили, будто не храпят.
Особенно тот паренек с Арбата.
И снится ему явно не Арбат.
Он что-то шепчет, стонет, негодует,
Плечами раздвигает полутьму,
Свою подушку яростно мордует,
И самый первый сон летит к нему...
Упрямые на холм крадутся танки,
Разжеывая землю, голоса,
И девочка бежит по полустанку,
Уже не плачет — выплакалась вся!
Кругом огонь. И чернозем дымится.
И синь реки болит... и небеса...
И девочке нельзя остановиться,
И ужасом полны ее глаза.

У ней вконец босые ноги стерты,
Над головою небо в черный крест.
И наш арбатский в тощей гимнастерке
К той девочке бежит за переезд.
Схватил ее, и так сердца их бились,
Так жить хотелось, песни распевать,
Что даже пули вдруг остановились
И не хотели больше убивать...
Ко мне прилипла нежность по-дурачки,
Стал шорох сердца тих и невесом.
Я торможу его: «Проснись, арбатский!
На что тебе бессонный этот сон?»
Он повернулся, сонный и развяленный,
Задумался... и рухнул на кровать:
«Ведь не подъем же! Черт, а не
дневальный!..
Не даст по-человечески поспать...»

* * *

Вот возьму да и уеду в глушь,
Где цветут вихрастые саранки,
Принимать дождя холодный душ
На далеком самом полустанке.

Подмигнет, прищурившись, старик,
Рыжий ус цепляя самокруткой:
— Что, разбойник, к городу привык?
— Не отвык,— отвечу полушуткой.

И начнет густобородый дед
Мне преподносить условия быта:

В ЭЛЕКТРИЧКЕ

В вагоне было шумно, многолюдно,
И в двух шагах — ни слова не слышать.
В окно заря процеживалась трудно
И не могла никак заполыхать.

Потом Ока раздвинула деревья
И солище разлилось на сотни верст.

* * *

И я был облаком — я видел много стран.
Сначала был я маленьким, везучим...
Потом я дождевою тучей стал,
серьезным, как положено быть тучам.

И я был облаком. Я видел много слез.
Они ко мне неслышно возлетали.

Мол, воды горячей тут нет,
Вместо ванны — ржавое корыто...

Толстого, как клюква, комара
Раздавлю, чихая от простуды.
— Дед,— скажу,— дыра и есть дыра.
Ну а есть у вас хотя бы люди?

Скажет дед, не поднимая век,
Даже разобидевшись как будто:
— Колька есть, Сережка и Анюта.
Ты-то, паря, что за человек?

Остановились дальние деревни,
Заволокло туманами погост.

Рыбак на лодке, притаились ивы.
Трясется, громыкает наш вагон...
И другу я кричу: «Ну как, красиво?!»
«Да-да, Россия!» — отвечает он.

Потом их столько, горьких, собралось —
я даже почернел от той печали.

Того гляди, не удержусь, взорвусь
и прокачусь порывом невесомым,
с земли шершавой смою зло и грусть
и снова стану облаком веселым.

Ирина Кияшко

* * *

Давайте завтра пораньше встанем,
пока лучи не забьются в кленах,
и до рассвета мостов наставим,
невозмутимых и удивленных.
Мосты расправят тугие крылья —
и как симфония в мир ворвется
о тех, кого мы уже любили,
о тех, кого нам любить придется.

Мосты сведут нас к хорошим людям
по восходящим своим ступеням.
Мы их сжигать, уходя, не будем —
и это будет нам искупленьем
за то, что, мир обретая однажды,
до сей поры мы под ветром зыбки.
За то, что в нас негасима жажда
до смертных дней совершать ошибки.

* * *

Ты кормил меня с ладони,
хохотал напропалую
и летел за мною следом,
задыхаясь на бегу...
И вздыхали где-то кони,
травы росные целуя,
и светились тихо песни
на высоком берегу.

Ничего для нас не значил
путь, лежащий у порога,
мы могли бы всю планету
прошагать без лишних слов.

* * *

Шаманит шалая волна,
а я над ней лечу босая,
слова беспечные бросая:
«Я влюблена! Я влюблена!»
Я влюблена в тебя, река,
в твои стремительные блики.
Твой бег, протяжный и великий,
мне обновленья предрекал.

* * *

Вокруг теснились земные глыбы,
мир закрывая глухим щитом,
когда любовь, как большая рыба,
меня задела своим хвостом.

Она сверкала, как звездный символ
и как языческий знак небес.
Она была голубой и сильной,
и я глаза не смогла отвести.

* * *

Я оптимист.
Других религий
в душе моей не завелось.
Я по ночам глотаю книги,
оптимистичные насквозь,
я по ночам пишу баллады
и рву их утром на куски.
И мне одно для счастья надо —
немного боли и тоски.

Я не играю в постоянство,
я отвергаю всех и вся
и жажду красок и пространства,
пешком по жизни колеся.

И легка была удача,
И светла была дорога,
И не верилось, что где-то
мир тревожен и суров.

Наши влажные ладони
вспоминали боль былую,
мы за счастье были вместе
перед памятью в долгу...
И вздыхали где-то кони,
травы росные целуя,
и светились тихо песни
на высоком берегу.

Я влюблена в усталый сад
и в эти яблоки литые.
И в эти сливы золотые,
что над террасами висят,
в ночные шорохи в саду,
еще — вы знаете про это? —
я влюблена в свою планету,
как в человека и звезду!..

И я потрогать ее хотела,
и руки стали — как два весла,
и эта рыба спокойным телом
спокойно в руки мои вошла...

Мне слабость духа простить могли бы,
но недоверия — не простят...
В моих глазах голубые рыбы
хвостами сонными шелестят:

И сыплю смех напропалую,
ища царапин и обид.
Меня ругают и целуют
и не умеют разлюбить.

Я возношу, и я свергаю —
самой собою быть вольна.
И никакая жизнь другая
мне после этой не нужна,
чтоб только люди, только книги
и только дерзкие дела!
Я оптимист.

Других религий
мне жизнь в наследство не дала.

Петр Красноперов

НА ПЛАТФОРМЕ

О здравствуй, воздух подмосковный
И утра запах молодой!
Над нашей серою платформой
Котел небес предгрозовой.
А запах лип сонлив и нежен,
И я без памяти влюблюсь,
И губы девичьих черешен
Сладки на лепет и на вкус.

О здравствуй, шепот губ бескровных,
Пугливой нежности язык,

Загар на скулах подростковых
И бледность пальцев молодых.

Иду к тебе, мой век, мой праздник,
Как у шлагбаума стою,
В живых глазах десятиклассниц
Твои надежды узнаю.
Как близко будущее дышит,
Как мягко дышит небосвод,
Как сладко жить, и ждать, и слышать,
Как долго поезд не идет.

НОЧНОЙ ВЗЛЕТ

...И думал я: здесь нужен новый Вагнер,
Когда, оставив горное жерло,
Над Адлером вставал железный ангел,
Чуть отведа свистящее крыло.
И думал я: разорвана дремота,
И это правды страшная пора.
И подступала нервная зевота
От медленных ударов серебра.
Все было вновь — и поздняя посадка,
И самолетов силпы грома,
Вокзальная ночная лихорадка,
Багажная сухая кутерьма.

Скорей бы уж, скорей бы уж кончалось,
Ни одного знакомого лица,—
Каким холодным светом освещалась
Неубранность вокзального дворца.
А фюзеляжи вздрагивали снова,
Стеклянный свет струился по бортам,
И страшной силой сказанное слово
Разламывало воздух пополам.
И невозможно было не ответить
Возвышенной гордыней немоты
На этот зов, на этот темный ветер,
На этот шелест хищной красоты.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Просыпаться в холодном поту
От тревожного точного слова.
Шестеренки стучат в темноту —
То ли три, то ли четверть второго.
Первый иней в квадрате окна,
Тонким фосфором крыши мерцают,
И слова отходящего сна:
«Будь на страже, тебя забывают».
И какой-то все внутренний страх
В древнем доме, в забвеньи глубоком.

Страшно, господи, страшно-то как...
Уж не болен ли я ненароком?
А глаза все глядят за порог
Напитаться сияньем, порошей.
Ах, распутать бы липкий клубок,
Этот узел больных бездорожий.
Ах, остаться, не сдрейфить, не слечь,
Ртом и телом напиток прозренья,
Из нутра, из себя же извлечь
Молодую строфу исцеленья.

ГОСТЬЯ

Сама, сама ко мне идешь!
И даришь снежную субботу,
И эту праздничную дрожь,
И страсти горькую свободу.
А гостя холодно юна,
И тонок профиль нервной птицы,
От белоснежного руна
Смуглей запястья и ключицы.
Беседы робкое кольцо,
Но снова взгляд тебя встречает —

Твое нерусское лицо
Снег этот первый освещает.
Прости мой лепет в пустоте
И что тебя почти касался,
Певучей тонкой красоте
Я так давно не изумлялся.
Как поздно завтракаем мы,
И пахнет нежностью и счастьем,
И теплой близостью зимы,
И красным яблоком хрустящим.

В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ

О, старинная карета ундервуда
С металлическим сверканьем рычажков!
На столе давно не мытая посуда,
На окошке вороха черновиков.
Блики света, предвесенняя тревога,—
Я от этого немножечко отвык...
От окошка и до самого порога
Солнце бросило горячий половик.

Февраля черногорящий понедельник,
Что-то капает и льется за окном,

Что я знаю, сочинитель и бездельник,
О призвании, о будущем своем?

Но незримо продолжается работа,
И горят в Замоскворечье купола,
И на стенке календарь «Аэрофлота»
Развернул шероховатые крыла.
О старинная карета ундервуда!
Мы с тобою только временно молчим,
Слово дышит из-под тающего спуда,
Скоро в новую дорогу застучим.

Владимир Урусов

* * *

Бьется огонь, веселится огонь,
дым над костром дрожит, искрами брызжет —
пляшет на привязи бешеный конь,
жаркая мгла гриву длинную лижет.

Славная кровь, инда гордость и злость.
Память о прошлом друзей утешает —
горечь, как в горле застрявшая кость,
петь не дает и смеяться мешает.

Прямолинеен, беспечен и груб,
в час, когда юность летела святая, —
кто же из нас не кривил пухлых губ,
книгу судьбы торопливо листая!

* * *

Звякает в сером тумане паром.
Ночью, наверно, часу во втором,
как рассмеялись веселые люди —
слышно далеко в тумане сыром.

Тихо плеснула на берег волна.
Медной монетой сверкнула луна
и, допьяна наглотавшись водою,
гибко качнулась у черного дна.

Камни бросаю, считаю круги,
Чудо, рожденное взмахом руки, —

Вышли мы в мир — и захлопнулась дверь.
Жили как все, суетились, грешили,
в шкуре своей неуютно теперь:
нету возврата в рай, где мы дружили.

Зыбкое пламя, сожги эту муть!
Дай успокоиться, дай осмотреться,
в лица угрюмые честно взглянуть,
чтобы ожившее дрогнуло сердце.

И сохрани до последнего дня
в близости скованной тесного круга —
смытую временем в пляске огня
веру в себя и надежду на друга.

юность хмельная бурлит в круге первом,
в зеркале чистом безмолвной реки.

Кто мне откликнется эхом пустым?
Влажно мерцают сквозь бархатный дым
звезды, размытые ветром горячим, —
все я увижу за кругом седьмым!

Сердце пронзит ослепительный сон.
В мутные дали теченьем снесен,
тысячу лет будет плавать над миром
ржавых огней несмолкаемый звон...

* * *

Перед девушкой красивой замереть,
погадать, как забрела она сюда,
на блестящий мотоцикл посмотреть,
за троллейбус, ускользнувший навсегда...

Вниз по улице течет поток людской
в свете призрачном обманчивых огней.
Как мы просто справляемся с тоской,
погружаясь в мир видений и теней.

Поколение, не знавшее войны,
не решившее особенных проблем.
Эхо гулкое внезапной тишины
не уловишь из романов и поэм.

* * *

По вечерам у клуба толкотня.
Я тоже время убивал когда-то
вот здесь, не замечая ни заката,
ни волшебства отхлынувшего дня.
Как будто фотография отснята,
а молодость рассеялась вдали,
в сверкающей коричневой пыли.

Ну что ж, оставим прошлое за мной.
Домой пора — так вроде еще рано.
Программа «Время», гвоздь телеэкрана,
трепещет в окнах изб голубизной,

* * *

В колючих клубах снежной пыли
и в дождь, и в безветренный зной
победу свою торопили,
хотели вернуться домой.

Как будто на времени этом
горит ледяная печать.
Лишь травы зеленые летом
шумят и не могут молчать.

А солнце встает над лесами
и падает круто в поля,

Как в цветущий сад, входили мы в судьбу.
Нас, щенков, вели отцы-поводыри.
Изобрел бы кто подзорную трубу:
ты читал, слышал о прошлом — так смотри!

Что увидим, что постигнем, что поймем
в мертвом поле, в дыме вязком, в черной мгле.
Ты, зачатый окровавленным дождем, —
поклонись им, золотым, в сырой земле.

Поклонись им, как языческим богам,
их костям, обвитым ласковой травой,
книгу жизни разбирая по слогам,
вечной горечью насытив корень свой...

и я брожу по улице — как странно,
нет ни души, отстала даже тень
черт знает где — допек воскресный день.

Курю в саду, накрапывает дождь
по ветхой дранке старого сарая.
И вдруг шумит смородина сырая —
что там? Меня охватывает дрожь...
Охалки ветра жаркого бросая,
сгорают ночь, как много лет назад,
и шепчет, бьется, плачет темный сад!

где тлеет росой и слезами
омытая кровью земля.

И в этом просторе бескрайнем,
прошедшем сквозь муки и ад,
жизнь кажется маленьким раем,
где каждый чему-нибудь рад.

И долго в народе российском,
бесстрашно встречающем смерть,
в глаза своим дальним и близким
как в небо мы будем смотреть.

* * *

Я сокрушалась по тебе.
Так женщина определила
То чувство, что в ее избе
Скрывала я, да и не скрыла.

Крушина! Вот уж мне напарник.
И надо же сойтись в глуши!
Да кто же русский наш кустарник
Так окрестил от всей души?

Как сыро. Папортник дремучий.
Кто, кутаясь в цветной платок,
Здесь умолял: спаси. Не мучай.
Ведь я живая. Дай цветок.

А дали незабудку в поле.
Надежда разрывает грудь
Покинутым. От этой боли
Сама вернусь когда-нибудь.

Никто красою не обидел.
Но кто-нибудь, со мной сводя
Все счеты, маму мою видел
В дешевых бусах из дождя?!

В ней правда не допустит блажи.
И знаете, народ мой прав,
Что не имел покоя даже
В названиях цветов и трав.

ХУДОЖНИК

Лоб, да кудри, да пару сердец
Подобрав на планете, где грузди
Пахнут звездами,
ты под конец
Мир получишь цветастым от грусти.

То ребяческих лет Ренессанс —
Так сложить черепки и стекляшки,
Чтоб валявшийся в грядках фаянс
Вспомнил вышивку русской рубашки.

Отчего мне из умерших лиц
Глаз не выпустить,
как из клетки

Люди добрые простеньких птиц
Выпускают в зеленые ветки!

Маки, желуди, дождь на крыльцо.
А отпущенный срок уже прожит.
В это время любое лицо
До рыдания душу тревожит.

Мне здесь нравится ржанье коня.
Я здесь верю в сырой подорожник.
Некрасивую пусть,
но меня
Нарисуй рядом с ними, художник!

* * *

Горсть ягод к чуть розовым ниткам.
И запах, как эхо волос.
Ковши с приворотным напитком —
Глаза мои, полные слез.

Как ведьма над снадобьем в чаше
Волшбой, так над светом в окне
Я мучаюсь именем вашим,
Чтоб только сверкнуть в вашем сне.

И переливались за шторой
Деревья, как будто в глуши

ПОХМЕЛЬЕ

Опять перед липой в тумане
С грачиным гнездом и звездой
Щербатые грозди герани
Я тепло в посуде простой!

Как будто бы этим вот клином
Пичуг перелетных

на мне

Сошлись тут и сумерки с тмином,
И дождик, и желудь на пне.

И что же здесь значит удача,
Когда в паутине вода

Горела записка, в которой
Прощались навек две души.

Мое приворотное зелье
Не горький осадок от встреч,
А именно встреча под елью,
Где можно себя не сберечь.

И как целовали мне в сенцах
За эту вот детскую мощь
Мизинцы мои в заусенцах
И свитый в браслет мокрый хвощ!

Бесценна от света, от плача,
Что я уже не молода.

Прощальной симфонией, Паном
С фиалкой над ухом седым
Легко ж было сердцу стать пьяным
И даже в любви роковым.

Метя по суглинку подолом,
Роняя по бусине в грязь,
Над ним,
словно баба с рассолом,
Рябина стоит наклонясь.

Михаил Поздняев

19 ОКТЯБРЯ

В эту ночь упало столь
Снегу тягостного свьше,
Что проваливались крыши
И не сдерживала толь.

Как использованный клочок
Промокательной бумаги,
Смялась кровля на сельмаге,
До того он плотно лег.

Нержавеющий металл
Угнетая, как соленья,
Снег валился на селенья.
Он не то чтобы летал,

Но вот именно — летел,
То есть падал вдоль заборов

Наподобье метеоров
И иных небесных тел.

В эту ночь крошился тес,
Переламывались бревна,
Отчего дышал неровно
И страшился юный пес,

Да и сам хозяин пса
При таком ужасном снеге
Не посмел сощурить веки,
Чтоб уснуть на полчаса, —

Все казалось, что с ума
В эту ночь сошло полсвета,
Не сумев понять, что это —
Начинается зима.

ОТВАЛЬНАЯ

Когда под «Прощанье славянки»,
под запах махры и сливянки,
под вкус поцелуев и слез
расстались мы с городом нашим
и за горизонтом погасшим
возникнул Архангельский лес;

Когда похоронены были
за клубами дыма и пыли
не только глаза и уста
на женских размазанных ликах,
но здания в праздничных бликах
и рыхлая туша моста;

Когда по велению Парки
осенние скверы и парки,
бульвары и ворох садов
исчезли в крошечном тумане,
как мелочь сквозь дырку в кармане,
без звука и явных следов;

Когда посторонняя сила
нас дергала и тормозила
и вновь волокла до крови
по шпалам, щебенке и стали,—
о, как осязаемы стали,
Отечество, узы твои!

В прокуренных общих вагонах
батыры в сержантских погонах
везли нас на север, и мы
узрели, что Родина — уже
и выше удобренной суши
и тверже сибирской зимы.

Обритые братья салаги,
с оружием под грозные флаги
хоть завтра готовые встать,
Отчизна, мы поняли — это
не степь в чешуе сухоцвета
с холмами и хлябью под стать.

О ней, очертаньями схожей
с огромной звериной кожей
почти что в полмира длиной,
мы думали смутно и вяло:
нам шкура сия не являла
того, что зовется Страной.

Она нам представилась в виде
тончайшей нервущейся нити,
связующей мертвым узлом
твой дух в мешковатом мундире
с женой в коммунальной квартире,
с гражданским твоим ремеслом,

С ребенком твоим малолетним,
с отцом — перед самым последним
участком земного пути,
с твоим избалованным другом,—
с твоим заколдованным кругом,
который нельзя перейти...

Так все, что казалось нам свято,
мы — дети Филей и Арбата —
Отчизною звали, когда
простились с городом нашим
и за горизонтом погасшим
он скрылся от нас без следа.

* * *

Для начала пойдем вдоль забора прославленной свалки,
Где, как старая гвардия после вечернего смотра,
Почивают вповалку отбывшие срок катафалки,
Деревянные скалки, дырявые медные ведра.

Для начала пойдем вдоль забора, пойдем для начала
Вдоль огромной ландкарты, расставленной в форме квадрата;
Хвост воздушного змея — бесцветный обрывок мочала —
Пусть нам служит штандартом во время ночного парада.

Безотрадный пейзаж! Для начала — пойдем вдоль пейзажа,
Вдоль невзрачного мира, где все так привычно и мило:
Груда ржавых кроватей, лежащая в рывтинах сажы,
Даже ворох газет и обломки засохшего мыла,

Опустевшая склянка из-под иностранного средства,
Маскарадный халат, многотрудный бушлат морехода,
Запыленный портрет середины минувшего детства,
Закадычный товарищ конца позапрошлого года,

Две обнявшихся птицы, прильнувшие к влажной оgrade,
Две оконные рамы в коричневых струпьях замазки,
Даже то, что нельзя описать в этой толстой тетради,
Даже то, что нельзя рассказать в этой горестной сказке.

И покуда мы будем идти вдоль ночного Собора,
Вдоль вселенского Сборища скарба, всемирного Слета
Мишуры, оставляемой нами столь рано и скоро,
Постепенно пойдем, что лишились такого оплота,

Оправдания скитаний, пирушек, любви и страдания,
Горьких слез после свадьбы и громкого смеха на тризне,
Что не хватит дыханья в груди прошептать «до свиданья»
Молодой, бесконечной, беспечно растроченной жизни.

* * *

Периоды природы далеки
от тех, что мы себе воображаем,
увязывая осень с урожаем
и зиму с замерзанием реки.

Мы сетуем, смотря на отрывной
настенный календарь: конец апреля,
а дерево в саду мертво. И трели
скворцов не раздаются над страной;

начало сентября, а на дворе —
такая тьма и стужа. Почему бы

нам не извлечь из чемоданов шубы
и шапки в нафталиновом серебре?!

Мы кашляем и дышим тяжело
от этой адской круговой поруки,
мы дуем на озябнувшие руки
и промокаем потное чело...

А между тем не все ли нам равно,
когда растут грибы, когда — сугробы:
дыхание Земли, ее утробы
без нас с тобой устроилось давно.

Геннадий Красников

* * *

Круговертью веселой
я с дороги не сбит,
словно кружка рассола —
эта вьюга трезвит.

Все, что держит, и тянет,
и гудит, как струна,
все она — отмечает,
замечает она.

Возвращается резкость,
замедляется бег,
разлетается с треском
все, что строил навек.

Остается — дорога,
старой матери плач,
остается — тревога,
у крыльца карагач.

31 ДЕКАБРЯ

Елочные старые игрушки —
вынимают. Скоро Новый год.
Позапрошлогодние Петрушки
прошлым смехом раздирают рот...

Противопожарной обработки
ватный снег, нанизанный на нить,
и сосед, что за бутылку водки
лампочки пришел соединить.

Состояньем мудрым и блаженным
никому ничуть не помешав,
кот лениво и с пренебреженьем
лапой трогает стеклянный шар.

Рыбы, совы, зайцы из картонки —
к веточкам привязаны, как псы,
а на кухне жарится картошка,
к ней подкуплен килограмм камсы.

Скромное ведя приготовленье,
бережно поставят в свой черед
к елке — телеграммку-поздравленье,
присланную сыном в прошлый год.

Все уладят, приготовят прежде,
с целым миром чтобы уж потом —
в чистенькой, поглаженной одежде
посидеть бесшумно за столом.

Будет этот миг сполна оправдан,
золотым окупится грошом,
утром скажут просто:
— Вот и праздник,
славу богу, хорошо прошел!..

* * *

И мне не додуматься даже,
какой там ударит салют.

Сергей Орлов

Без вас будет пусто на свете,
когда достопамятным днем
мы — послевоенные дети —
к Большому театру придем.

Уже ветераны в ту пору
среди тех, кто не видел войны...
На нас будут юные взоры
с волнением устремлены.

Ведь мы родились под раскаты
победных салютов и труб,

и горькие наши рассказы
из первых получены рук.

В немыслимых розах и маршах
впервые за столько-то лет
в тот день на живых и на павших
уже разделения нет.

Весенний, счастливый, прекрасный —
светло будет праздник кружить,
и все-таки, все-таки страшно
до этого мая дожить.

* * *

Уже дожди успели потушить
осенний лес. И вместе с ним уныло
октябрьскую черту переступила —
моя неприукрашенная жизнь.
Я проводил и поезда и птиц,
прощальных крыльев позабыл призывы,

растерянность и пустоту предвзято
когда-нибудь я должен был испытать.
Когда-нибудь я должен был взглянуть
в глухие окна, отодвинув шторы:
как долго звезды — птичьи светофоры —
открытым держат для кого-то путь...

* * *

Не дрогнет тишина над нами,
когда в невиданном порыве
дождем умытыми глазами
себя увидим мы впервые.

Останется одна забота,
одно мученье и прозренья:

и с легкостью прощать кого-то,
и позднего просить прощенья.

Плащами прошуршим и, горбясь,
пройдем вне возраста. Бессчетно.
И от путей земных и горьких
никто из нас не отречется.

* * *

Тихий мальчик с грустными глазами
о моем приезде узнаёт,
по утрам заходит: «Я за вами!» —
и меня по городу ведет.

Ах, какой за городом шиповник,
как шумят здесь птицы к сентябрю...
«Помните?» — он говорит. «Не помню!..»
«Знаете?» — «Не знаю...» — говорю.

И легко мне с ним и тяжело мне
родиной метельною идти,
я дороги в прошлое не помню
и не знаю из него пути.

* * *

Пожалей меня, Мария,
помоги мне!.. Видит бог —
в эти ночи ледяные
страшно тем, кто одинок.

Страшно мне пошевелиться,
бросив на плечи пальто,
страшно видеть землю в листьях —
не земля, а решето.

По какому только праву
я посмел тебя позвать,

я храню такую правду —
никому не рассказать!..

Прокурив чужие стены,
глядя в темное окно,
я поверил в утешенье
невеселое одно:

все ошибки, все бывшее,
что давно пережито,—
все пройдет сквозь золотое —
золотое решето...

ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО

Ненастным ноябрьским утром минувшего года ко мне пришли гости — человек средних лет и хрупкая девочка с большими темными глазами. Мне показалось, что глаза дрожат — так переменчиво-тревожен их живой блеск.

Гости представились: инженер из Запорожья Виктор Иванович Редькин и его дочь Маргарита.

— Мы в Москве всего на несколько дней. И вот решили зайти, познакомиться. Рита пишет стихи. И уже печатается... Лет ей — одиннадцать.

Тонкое подвижное лицо. Серьезное. Умное. Ожидающее. Взяла рукопись, и сразу же такие строки:

Седые гривы поднимали волны,
Затронутые шумным ветерком.
И рты ракушек каждый плеск наполнил
Зернистым и рассыпчатым песком.

Затем прочла другие, и на меня повеяло предрассветной весенней свежестью, чистотой и радостным ощущением, что жизнь стала богаче еще на одного одаренного человека.

В одиннадцатилетней Рите счастливо сочетаются задумчивая серьезность и детская непосредственность, словно она одновременно живет в двух измерениях. Но оба эти измерения принадлежат единому цельному и гармоничному миру — большому и многоцветному.

Девочка отлично учится, рисует, катается на коньках, увлекается вязанием, посещает хоровой кружок. Очень много читает, особенно Пушкина. Горячо любит природу, — большинство ее стихов посвящено красоте родной земли.

Стихи ее естественны как дыхание. Она без них не может обходиться: они живут в ее зрении, в чутком слухе, в потаенной глубине быстро взрослеющей души.

Знакомство наше состоялось. И я с волнением жду новых писем и новых стихов милой гостьи из будущего, стихов не всегда равноценных, но волнующих и прелестных. И мне хочется, чтобы в этом смогли убедиться все, кто любит Поэзию.

Людмила Татьяничева

Маргарита Редькина

Я ОКУНУЛАСЬ В МОРЕ...

Я окунулась в море ночью сонной,
Когда уплыл далекий горизонт.
За рог луны поддерживали клены
Небесный развевающийся зонт.

Седые гривы поднимали волны,
Затронутые шумным ветерком.

И рты ракушек каждый плеск наполнил
Зернистым и рассыпчатым песком.

Ко мне тянулась лунная дорожка,
И захотелось вдруг по ней пройти,
Чтобы почувствовать совсем немножко
Усталость от бескрайнего пути...

КЕДРОВКА

На ветках игл, покрытых сединою,
Чешуи шишек серьгами висят.
Под златокорой северной сосною
Лежит лиса с комочками лисят.

Кругом ни звука, вся тайга притихла,
И даже птицы замерли в тиши.
Одна кедровка растрепала иглы
И семена спокойно шелушит.

Бельчонок серый помахал ей лапкой,
Прозя кедровку поделиться с ним.
Но вдруг схватил орех с широкой шляпкой
И взвился вверх, как бирюзовый дым.

И тут же птица соскочила с хвои,
Под шубой мха сложила семена.
Не знать кедровке: скоро над землей
На этом месте вырастет сосна.

РАССВЕТ

Кольшет ветер блюдца облаков,
Смородиной зари их осыпая.
Дрожит на небе сетка голубая,
И рвется солнце из ночных оков.

Ладошку к свету протянул листок,
Головкою кивает одуванчик.

А на речной воде играет зайчик,
Похожий на румяный колобок.

Ночные цепи разорвал рассвет,
И солнышко вспорхнуло в синеву,
Веснушками роняя на траву
Свой утренний блестящий свет.

ОСЕНЬ

Золотыми волосами
Осень тронула луга,
Пронеслася над лесами
И раскинула стога.

Желтой ниткою осенней
Ярко вышла траву,
А унылой нитью серой
Оттенила синеву.

И серебряные нити
Осень бросила из туч.
Эту всю красу увидел
Из-за леса солнца луч.

На земле — ковры из листьев,
Засыпает старый клен.
Осень — русская девица,
Пушкин был в нее влюблен.

В ЛЕСНОМ КРАЮ

В лесном краю так нежно пахнет мятой,
С песком о чем-то шепчется ручей.
И собирает куст в подол измятый
Тепло последних солнечных лучей.

Мохнатый шмель летая ищет клевер,
Его головку с красным хохолком.
А крылья птиц, как разноцветный веер,
Прощально машут в небе голубом.

Старушка мышь таскает в норку зерна,
Схватила белка толстый боровик.
Под пальцы пня таинственно, проворно
Ворчливый леший с палкою проник.

Седая туча медленно и грустно
Выходит на небесное крыльцо...
Деревьям осень вставила искусно
Еще одно годичное кольцо.

Николай Тихонов
1896–1979

В дни, когда мы работали над составлением сборника, пришло известие о смерти Николая Семеновича Тихонова.

Этой публикации суждено было стать последней, подготовленной самим поэтом.

ИЗ СТАРЫХ ТЕТРАДЕЙ

Первое стихотворение написано мною четырнадцать лет — «На смерть Льва Толстого». С тех пор я писал стихи во множестве.

Когда я собирался издавать свой первый сборник стихов «Орда», передо мной лежало около шестисот стихотворений. Я выбрал из них около тридцати.

Остальные остались в моем архиве. Сейчас я выбрал из них несколько стихотворений, написанных в разные годы, чтобы показать, что природа этих стихотворений разная. Они то наполнены лирическим волнением, то представляют иронические наброски, то вольные упражнения на сатирические и сказочные темы.

Они характерны для поисков начинающего поэта, лишенного всякого общения с писательским миром.

* * *

Простые души, еж и воробей,
Быть может, вы с природой больше слиты,
Быть может, ваше небо голубей
И тайны ваши нам не все открыты.

На кукольном толпяся рубеже,
Марионеток вьющиеся тени,
Как пыль, танцующая на ноже,
Благословлены радостью движенья.

* * *

Из солнца высосанный мозг
Струится за вечерним чаем,
И мы сквозь кожи серый воск,
Сквозь череп светлы излучаем.

Прикосновением руки,
Движеньем мускула и сердца
Мы зажигаем маяки
В ночах немислимых инерций.

Ранние стихи — порождения одиноких раздумий на любые темы, поиски жанра, стихотворческие упражнения, поэтические опыты молодого человека. Конечно, на самом деле этих ранних стихотворений значительно больше, как я уже говорил, есть даже небольшие поэмы среди них, есть и чисто политические стихи революционного содержания, есть и чистая лирика.

Когда-нибудь я попробую выбрать из них наиболее характерные и подберу сборник своих Ранних стихотворений, чтобы дать представление о становлении поэта, которое случилось при непредставимых сегодня обстоятельствах, лет шестьдесят тому назад. Возможно, это будет представлять некоторый интерес для любителей поэзии и любителей архивных изысканий.

Я чувствую, как залетает в строки
И ветер свежий и густой,
И лист октябрьский краснощекий,
Пронизанный не нашей теплотой.

И если счастье есть для нас,
Идущих к душам необетованным,
О, дай мне, Жизнь, исчезнув безмянным,
По-своему назвать и день и час,
Чтоб мир своим почувствовать хоть раз!

И если весело тебе —
Я захочу, и ты заплачешь,
Пошлю желание — разбей! —
И разобьется все иначе.

Скрестятся молнии звончей
Веселья, боли и угрозы,
И вдруг из радостных очей
Неудержимо хлынут слезы!

* * *

Когда я был еще дитя,
Мне стало скучно жить —
И я из дому не шутя
Пошел себя убить...

Меня обидели в тот день —
Я слез не уронил,
Я лег в траву, в густую тень,
И мир мне стал не мил...

Я встал, в своем решенье зол,
И помню, как сейчас,
Что я на станцию пришел
В пустынный утра час.

И я сказал: покончу все,
На рельсы шаг вперед —
И паровоза колесо
По голове пройдет.

И я обрадовался тут,
Что сам себе — палач,
Пускай поищут и найдут...
Как жалок будет плач...

Они не поняли меня,
Я им смешон и мал,
И, мысли злостно оттеня,
Я сердцу прошептал:

— Лишь только поезд подойдет —
Назад не оглянусь,
Меня он в клочья изорвет,
И пусть, и пусть, и пусть...

Я на скамейку хмурый сел,
Но поезда не шли,
А на окне паук сидел
В сверкающей пыли...

Он тихо мух подстерегал,
И лишь одна из них
Взлетала в пыль — ее встречал
Ряд сеток золотых.

И в этих сетках вмиг она
Запутывалась вся —
И полз паук, как тень пятна,
Глаз радостно кося...

Я засмотрелся на него
И о себе забыл,
Он стал дороже мне всего,
И я его любил...

Трех мух измучил он при мне
И высосал всю кровь, —
Кружились мухи на окне,
Запутываясь вновь!

Паук бросался иль томил
Их жалкие тела, —
В тот день я радость ощутил
Жестокости и зла!

И вновь решенье принял я
И больше не страдал:
Никто не знает про меня,
Куда я убежал!

Пускай же ищут и дрожат!
И плачут и зовут,
Бегут на кухню, в старый сад,
На темный, грязный пруд...

Шепча себе: а вдруг, а вдруг...
В сердцах — тоски игла,
И стал я весел, как паук,
От собственного зла...

И я мечтал, как никогда,
Вдали людей и дач —
Ушли большие поезда,
И полдень стал горяч!

Я вновь смотрел на паука
В сверкающей пыли,
В тени пустого уголка...
.....
И там меня нашли!

* * *

В человеческий рост золотые кремни
Горных трав, горных сосен прохлада,
Только небо и тающий облак вдали,
Тишина... И другого не надо!

КОШКА

К ногам смолисто-хрупких мумий
Привяжет сторож номера,
И в залах призрачных раздумий
Сыграют франты в баккара.

И флирта смех, и тонкость позы,
И танцы мод займут места,
Где аромат сожженной лозы
Вкушали бронзовые Пта.

Священно алого фламинго
Автомобиль убьет гудком,

Панелью круглой скетинг-ринка
Замкнется магов водоем.

И только кошка в мире спящем,
Худая, с порванным хвостом,
Своим мяуканьем хрипящим
Напомнить хочет о былом.

О том, что в этих серых лапах,
В глазах, светящихся мертво,
Жрецы, народы и сатрапы
Когда-то чтили божество!

СМЕРТЬ

Однажды дед мой лег в кровать,
Бледнее стал хрипеть.
— Что с ним? — спросил я тихо мать.
И мне сказали: — Смерть!

Свечу поставили в ногах —
И дым в квартире плыл,
И кто-то приходил в слезах,
И кто-то в черном был...

За двери выгнали кота,
Закрыли зеркала,
Душила горло духота
И трепетная мгла...

— Зачем он спит? Зачем молчит?
— Ушел наш дед от нас...
— Куда ушел? Ведь он лежит
В той комнате сейчас!

...Потом в карете ехал я
Куда-то далеко...

И встал у ямы, на края,
И видел часть всего...

Большой тот ящик гробом был,
А дед уж стал мертвец —
Так мне потом все объяснил
За ужином отец...

И я мечтал, ложась в кровать:
— Вдруг стану я бледнеть
И никого не узнавать,
И скажут: это — смерть!

Не будет лишнего огня,
Кота велют прогнать,
И, как и деда, все меня
Придут поцеловать...

И в гроб положат, и свечу
Зажгут у ног опять,
А я вскочу, захохочу —
И ну в гробу плясать!

ПОЭЗИЯ КАК ВОЛШЕБСТВО

Раз стихи продав с удачей,
Гонораром не пыля,
Снял я маленькую дачу
Из обломков корабля.

Финн-хозяин взял монеты
Со спокойствием свинца,
И овца, добыта где-то,
Встала, бляя, у крыльца.

И, блестя ножом и вилкой,
Увела овцу тропа,
И овцу сожрала пылко
Финнов целая толпа.

Все проходит, все изменно —
Стих и деньги, дом, овца,
Вьется лишь над прахом бранным
Стихового дым кольца!

Марина Цветаева
1892—1941

Наши публикации

Тонкая тетрадоочка, исписанная мелким, круглым и четким почерком. Заглавие: «Волшебство в стихах Брюсова». Ее сберег и сохранил старейший книжник, известный коллекционер Михаил Иванович Чуванов.

Толстый том, переплетенный из трех книг, — «Пути и перепутья» Валерия Брюсова. Внизу на корешке золотым тиснением стоит: «М. Ц.» На титульном листе третьей книги: «М. Цветаева. Москва, 23-го февраля 1910 г.» Этим фолиантом владеет другой, не менее страстный любитель книги — сотрудник Государственного Литературного музея Лев Михайлович Турчинский.

Так, благодаря двум энтузиастам оживает для нас страничка поэтической юности Марины Цветаевой...

1910 год. Восемнадцатилетняя Цветаева решает выпустить книгу и отбирает стихи, написанные за последние два года. Прелесть, неповторимость навсегда ушедшего детства. Тоска несостоявшейся любви. Любимые тени, которыми приходится жить. Вот три «столпа», на которых воздвигается первый сборник стихов Марины Цветаевой — «Вечерний альбом».

Именно в этот момент в ее руках оказываются брюсовские «Пути и перепутья». Брюсова она уважает, и ей хочется, чтобы его вкусы совпадали с ее пристрастиями; Цветаева огорчена, что он равнодушен к Эдмону де Ростану, и упрекает его за это в письме (март того же 1910 года). Она считает себя вправе требовать от Брюсова единомыслия. Ведь именно он, по ее мнению, обладает «волшебным даром» писать о «юных и нежных», обреченных и несчастных девушках, хрупких «мотыльках на воле», о чуде встреч, о грусти разлук... Да, именно это — свое, близкое — выскивает Цветаева на шестистах страницах «Путей и перепутий». Более того: характерно «брюсовское» — и в стихах, и в прозе — ее, скорее, раздражает; как и нелюбовь к Ростану, это — «измена романтизму». Зато она преклоняется перед Брюсовым там, где он, подобно истинному волшебнику, сумел угадать ее чувства, прочесть ее мысли, подслушать и сказать слова, которые она сама произнесла не совсем еще твердым голосом: Наше счастье — прежде было, наша страсть — воспоминанье, наша жизнь — не
в первый раз,

И, за временной могилой, неугасшие желанья с прежней силой дышат в нас,
Как близ Нила, в час свиданья, в роковой и краткий час!

(В. Брюсов. «Встреча»)

Под заглавием этого стихотворения Цветаева написала: «(20-го декабря — 9-го января, 1909 г. — 1910 г.)» Это — дни ее драмы, расставания с человеком, которого она любила и которому в те дни (4—9 января) написала стихотворение «На прощанье»:

Люблю тебя, призрачно-давний,
Тебя одного — и навек!

И эти же заветные даты: «(4, 9 января)» поставила она под заглавием стихотворения Брюсова «В вагоне».

«Волшебство в стихах Брюсова» трудно назвать рецензией. Это — записи о взволновавших Цветаеву брюсовских строках, и притом далеко не всех. Это скорее — некая исповедь души, когда на помощь приходит другой поэт; своего рода лирический дневник. В целом Брюсов, не побоимся сказать, слабо интересует юную Цветаеву, а лишь сёрдит, если оказывается в противоречии с ее вкусами; такого противоречия она ему не прощает; из ее отзыва о Брюсове мы гораздо больше узнаем о ней самой, чем о нем.

То, что не вошло в маленькую статью, запечатлено в пометах на брюсовском томе. Обведены в кружок такие, например, строки: «Любовь находит черной тучей», «Мне грустно оттого, что мы с тобой не двое», «Где боль? где песня? где мечта?» — и подобные, которые и впрямь могли бы принадлежать самой Цветаевой. Под заглавием «Наша тень» — помета: «(Чудно)». Не отсюда ли позаимствовала Цветаева название последнего раздела «Вечернего альбома» — «Только тени»? В своей статье она не упоминает об этом стихотворении, как и о многих других, которые подчеркнула в книге. Видимо, она предназначала свой отзыв для печати и стремилась быть лаконичной.

Как бы там ни было, перед нами — самая ранняя проза Цветаевой, дошедшая до нас. Несмотря на незрелость и наивность, она уже несет в себе печать тех черт, которые составят впоследствии личность трагического поэта-романтика — Марины Цветаевой.

Анна Саакянц

ВОЛШЕБСТВО В СТИХАХ БРЮСОВА

Есть поэты — волшебники в каждой строчке. Их души — зеркала, собирающие все лунные лучи волшебства и отражающие только их. Не ищите в них ни пути, ни этапов, ни цели. Их муза с колыбели до гроба — принцесса и волшебница. Не к ним принадлежит Брюсов. У Брюсова много муз — муза в лавровом венке, в венце из терний, муза в латах и шлеме, муза «с поддельной красотой ланит», но есть и волшебница, есть и девушка-муза. Об этой редкой гостье в стихах Брюсова я и хочу рассказать.

Доказать волшебство — в лице ли, в голове ли, в стихах ли оно — невозможно. Заглянуть в чьи-нибудь черты, прочтя какую-нибудь строчку, мы только можем воскликнуть: ах!, только вздрогнуть от сознания, что волшебство здесь, перед нами. Кто докажет улыбку Джиконды?

Немного раз улыбнулась волшебница-муза на 600 страницах «Путей и перепутий». Но эти улыбки единственны и незабвенны.

Вот стихотворение «Идеал». Уже с первой строчки «Ее он увидел в магический час» — нас охватывает легкая дрожь, первая предвестница волшебства. «Магический час» — мы уже чувствуем, что это час сумерек, странный час после заката. «Был вечер лазурным и запад погас...» Мы входим в сказку. Несложная это сказка и с грустным концом, как все лучшие сказки. Вся она в трех словах: увиделись, поняли, расстались. Но это было на заре жизни и в сумерках дня. Юность и сумерки — и уже волшебство! Нельзя уйти от этого стихотворения, не отметив несколько несказанно-глубоких, слишком редких у Брюсова строк:

«то был мотылек, пилигрим вечеров,
который подслушал прощанье без слов,
то было смущенное облачко мая...»

Какая в них простота, какая проникновенность. Эти строки — почти молитва.

Соединение образов девушки и мотылька не единственно в стихах поэта. Мы встречаем его и в стихотворении «Женщина», где поэт прямо отождествляет девушку с мотыльком:

«О девушки, о мотыльки на воле!
Вас на балу звенящий вальс влечет,
Вы в нашей жизни, как цветы магнолий.
Но каждая узнает свой черед...»

Может быть, завтра один из этих мотыльков на воле будет биться в золотой бахrome из стихотворения «Продажная» и тосковать о навеки утраченных зеленых листьях:

«Альков задрожал золотой бахромой.
Она задернула длинные кисти...
О, да, ей грезился свод голубой
и зеленые листья...»

В этом стихотворении уже не улыбка, в нем плач девушки-музы.

Все девушки Брюсова — обречены. Что ждет ее, проходящую по бульвару «с опущенным взором, в пелериночке белой», и ту, чьи «прикрыты стыдливо виски», и ту из стихотворения «Весна»? Остановимся на нем. Я так ясно вижу героиню. Ей 15, 16 лет. Она кого-то любит, она ничего не знает о жизни. Все ушли, и вот она стала у окна и чертит «его» инициалы. О чем она думает? Быть может, совсем не о нем. Думает о море, которое знает только по стихам и картинкам, о какой-то будущей боли, о какой-то не нашей весне.

«Где-то за морем тогда расцветала весна...»

Мне кажется, все волшебство мира заключено в этой строчке, как в выражении «звенящий бал» — вся юность. На что обречены они, юные и нежные героини лучших стихотворений Брюсова? Ответ на это в строчках:

«Вот и тайна земных наслаждений,
Но такой ли ее я ждала накануне?
Я дрожу от стыда, я смеюсь...»

Вслед за звенящими вальсами — золотая клетка алькова; за мечтой о любви — осуществление ее. Но это не конец. Из глубины плена до нас доходит тихая жалоба, последняя мечта:

«И если бог пошлет мне сон
о недоступном и о счастье,
мне про любовь не скажет он,
мне не приснится сладострастье.
И буду вновь ребенком я
под тихим пологом кровати,
и сядет рядом мать моя,
озарена огнем лампадки.»

Не все погибло! — Есть воспоминание.

Музыкой юности, вызванной властью воспоминаний, звучат стихотворения «Одиночество» и «Первые встречи». В них оживает убитое жизнью волшебство. Перед нами образ двух сестер, слышавших когда-то первые клятвы поэта; тенистый сад перед нами — сад его юности.

«Мы ведь дети, все мы дети, мотыльки вокруг
огней!»

Много ликов у волшебства. Всех времен оно, всех возрастов и стран. Видеть его лишь в тонких чертах шестнадцатилетних — ошибка.

Юность равна волшебству, но волшебство — не только юности. Не юноша и девушка перед нами в стихотворении «Встреча».

«О этот крик желанья пленного!»

Но уже первые строки заставляют нас сжать руки и широко раскрыть глаза:

«О эти встречи мимолетные
На гулких улицах столиц!»

Шум экипажей, блеск витрин, смена лиц, и среди стольких лиц вдруг одно на миг единственное, — вот оно, волшебство улицы! Кто она, эта незнакомка? Не все ли равно! Из глаз ее глядят неповторимое и тайна.

Улица — самое любимое Брюсовым проявление волшебства. Ее холод лишь для тех, чьи глаза не зажигаются от фонарей и витрин, чье сердце не зажигается с глазами.

«Горят электричеством луны
На выгнутых, длинных столбах...»

В этом стихотворении — все волшебство городской весны. Прочтите его вы, отрицающий музыку в душе и стихах поэта. Прочтите вслух эти строки:

«Как тихие звуки клавира
Далекie рокоты дня...»

Что может быть ближе к самим звукам клавира, чем эта строка о них?

Слово «клавир» сразу переносит нас в Германию, страну лучших сказок: Ей обязан Брюсов другим своим прекрасным стихотворением:

«Помню вечер, помню лето,
Рейна полные струи...»

Зеленоватый Рейн с повторенными у берегов башнями старого Кельна и сверкающими вдали парусами; темная зелень виноградников; «песня милой старины...».

О, волшебство старой Германии! О, Heilig Heine!

Мысль о Германии наводит меня на волшебство вагона. Мчится поезд. За окнами ночь. В еле освещенном купе чьи-то зеленые глаза,

«И было ль то влиянье
Качания в тьме,
Но было там влиянье,
В котором выкли мы...»

И вновь перед нами двое чужих, соединенных на миг волшебством ночи и вагона:

«И чьи-то губы приблизились
Во тьме к другим губам,
И чьи-то губы сблизились,—
Иль это снилось нам?»

Снилось ли? Лучше так! Кто знает, какими оказались бы при ровном дневном свете эти зеленые глаза?

Нет мечтательней любви, покинутой волшебством! И на вопрос поэта своей Миньоне:

«Как объяснишь, что покинуло нас?» —

есть только один ответ: сердце любви — волшебство! Лихорадочное биение этого сердца слышим мы в стихотворении «Который раз».

«Будет миг, как долгий сон,
Качать, баюкать нас.
Я странно счастлив, я влюблен...
Влюблен! — который раз!»

Каким прекрасным было бы это стихотворение без последней строфы:

«И в стройных строфах вновь мечты
Поют — который раз!
А месяц смотрит с высоты —
Веков холодный глаз.»

Такой конец разрушает всё. До стройности ли строф, когда любишь? И может ли месяц веков? Нет печальней поэта в последней — главной — строфе, покинутого волшебством!

Но вот уж опять оно нахлынуло волнами «Бала»:

«Забвеньe, и круженьe, и движеньe
Вдаль, без возврата...»

Еще несколько слов о волшебном из волшебных стихотворений поэта — «Встреча» («Близ медлительного Нила»). Из него нельзя приводить отдельных строк, как нельзя из груды драгоценных камней выбрать один лучший. Приходится, как дети, говорить: «все лучше» — и брать все.

Измена романтизму; оскорбление юности в намеренно-небрежной критике молодых поэтов; полная бездарность психодрамы «Прохожий», — да простится все это Брюсову за то, что и в его руках когда-то сверкал многогранный алмаз волшебства.

1910

В воспоминаниях современников

Поэты уходят из жизни. Остаются их стихи. Остается память о них. В памяти остаются встречи, события, факты. Самые разные.

В воспоминаниях современников оживают те, кого уже нет рядом, но чьи стихи — с нами. И мы хотим ощутить их присутствие в поэтическом дне, ибо помним слова поэта:

«для славы мертвых нет».

Дмитрий Еремин

СЛУШАЯ БЛОКА

Это было в 1921 году, в самом начале мая, в последний, предсмертный приезд поэта в Москву.

Тогда я, конечно, не знал о том, что Блок болен, подавлен черным душевным недугом, отчаянием, почти неприятием жизни. Ученик восьмого класса Малаховской средней школы, я был редактором-издателем рукописного журнала «Искусство», жил в школьном интернате «Коммуна» и запоем писал стихи.

Ни тогда, ни позже Блок не был моим кумиром. Таким, особенно со студенческих лет, стал Маяковский, на выступления которого мы, студенты МГУ и ВХУТЕМАСа, старались попасть всеми правдами и неправдами. Но одна любовь не мешала другой. Я знал наизусть «Двенадцать», «Скифы», стихи о России, наслаждался прелестью других стихов. Продолжаю наслаждаться ими и теперь, уже зная много тайного, горького о поэте, поражаясь тому, как многообразна и контрастна жизнь, как порою из душных болот и трясины тягостного быта могут, оказывается, вырастать и радовать людей цветы удивительной красоты и силы.

Интерес к поэзии подогревала в нас преподавательница литературы М. А. Рыбникова — женщина с нежнейшим сердцем и сильным мужским умом, впоследствии — известный профессор-методист. Одну из своих книг она посвятила Блоку. А тогда, в школе, каждый свой урок Мария Александровна обязательно начинала с чтения стихов, напечатанных накануне в газетах и журналах Блоком, Есениным, Маяковским. После одного из таких уроков она отвела меня в сторону и негромко сказала:

— Митя, в Москву приехал Александр Блок. Будет выступать в Политехническом музее. Я взяла билет и для тебя...

Дрогнув от счастья, я растерянно пробормотал:

— Но меня не пустят из интерната!

Еле заметно усмехнувшись, она совсем тихо произнесла:

— Но ты же пишешь стихи, совсем уже взрослый парень...

Это означало: «Беги без разрешения!»

Конечно, с точки зрения строгих правил сказанное было мало педагогичным, зато для меня, полумаль-

чишки, оно прозвучало как пропуск из тесного «узлица» на волю. И в назначенный день, разумеется, без копейки в кармане, я после обеда тайком убежал из «Коммуны», забрался на крышу вагона кое-как плетущегося в Москву пригородного поезда и потом, вслед за обвешанным людьми трамваем, добежал до Лубянской площади — задолго до начала заветного вечера.

Мария Александровна не поспешила: наши места в зале оказались недалеко от сцены, прямо перед ней, и все время, пока Блок находился там, я отчетливо видел каждую складочку на его лице, каждую деталь одежды, отчетливо слышал каждое слово.

Смертельно больной, Блок был очень худ, подтянуто-строено, в черном строгом костюме с торчавшим из нагрудного кармашка белым уголком платка, с узким, меловой нездоровой белизны лицом. Его скучные движения отличались подчеркнуто-суховатой корректностью, вернее, как я теперь понимаю, той холодной, бесстрастной отрешенностью, когда уже нет ни нужды, ни сил позировать перед взирающей на тебя, влюбленной в тебя, но уже не нужной тебе окололитературной публикой.

За долгую жизнь мне посчастливилось слышать выступления многих больших и малых поэтов. Но то, что я испытал в тот вечер, нельзя назвать иначе как потрясением.

В отличие от других, Блок читал совсем без интонаций, как бы механически, не повышая голоса, не заботясь о впечатлении, которое производит чтение на слушателей, равнодушный и к ним, и к своим стихам. Только в строке — «Я послал тебе черную розу в бокале» — меня как бы толкнуло книжно произнесенное, округлое «о».

«Читал я, как во сне», — писал он матери в Лугу после возвращения из Москвы. Но об этом я знаю только теперь, а тогда, в Политехническом, не отрывая глаз от сцены, на которой чернела стройная фигура Блока с белым продолговатым пятном лица, я не просто слушал, а был как бы включен в силовое электрическое поле, отдавшись ему и страшаясь его.

Не могу сказать твердо, что Блок читал в тот вечер стихи лишь очень мрачного ряда — «Пляска смерти»,

«Как часто плачем — вы и я», «Было то в темных Карпатах», «Ночь, улица, фонарь, аптека», но мне запомнились именно они. Спокойно слушать их было невозможно. Особенно потому, что Блок читал бесстрастно, как манекен, с мертвенно-неподвижным лицом, неподвижно стоя на сцене.

Для меня это было бесконтрольно-мучительным и одновременно в чем-то сладостным напряжением всех сил. Временами — почти отчаянием и страхом, когда тебя тянет туда, куда нельзя и опасно тянуться, когда жадно вслушиваешься в то, чему противится твоя жизнерадостная мальчишеская натура. Но ты все же

тянешься, поддаешься магнетическому притяжению этого странного лица, чеканной, но лишенной живых интонаций речи, не отрываешь глаз от художавой фигуры знакомого тебе по стихам и, оказывается, совсем не такого, каким ты его представлял, читая «Двенадцать» и «Скифов», поэта...

Не помню, кто вел этот вечер, и был ли вообще такой ведущий. Забыл я и огорчения, вызванные наказанием за самовольный побег из интерната. Но Блока — с первой минуты его появления на сцене, внизу, за спускавшимися к ней первыми рядами Большой аудитории Политехнического, — я запомнил ясно и навсегда.

Надежда Павлович

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

1. Кафе поэтов и Первая студия стиховедения

В 1918 году в Москве стали возникать кафе поэтов или же в обычных кафе регулярно организовывались выступления поэтов, даже таких маститых, как Брюсов.

Эти выступления в кафе возникали как-то сами собой, потому что они становились и некоторой материальной базой в это голодное время: ужин выступавшему поэту был обеспечен. Иногда за выступления платили еще кое-какими продуктами. Главное же, тут происходил непринужденный обмен мнениями и между участниками выступлений, и между поэтами и публикой. Здесь не было официальности заседаний; даже Брюсов, обожавший ритуал заседаний и председательствование, как-то распускался внутренне и как бы в знак полной непринужденности любил на этих вечерах импровизировать, а не читать написанные стихи. В вазу клали записки присутствующих, он действительно наугад брал одну или три из них, развертывал, выбирал тему, если брал три, несколько минут думал, а затем, держа в руке чистый листок бумаги, начинал импровизацию, предпочитая сложные формы сонета, триолета или пользуясь октавами.

Как-то я спросила его — зачем ему этот чистый лист бумаги. Он ответил: «Так я чувствую себя увереннее».

Выступали мы обычно в кафе «Домино» или «Савойе».

Для меня к этому времени стало ясно, что путь мой — это путь литератора, поэта, и что профессия моя требует специфических познаний и навыков, которых мне мой историко-филологический факультет не дает. Познакомилась я случайно с одним студентом-филологом Вейцманом, который, оказывается, и сам думал примерно о том, о чем думала я, и мы стали намечать план студии стиховедения, хотя бы первоначальный.

Нужны нам были: 1) история поэзии; 2) ритмика; 3) метрика; 4) семинар по стихосложению.

Хотя бы это для начала!

Кто же мог бы нам прочесть эти курсы и вести с нами практические занятия?

1 — Вячеслав Иванов.

2 — Андрей Белый.

3 — Валерий Брюсов. Он же мог бы стать руководителем семинара.

Денег у нас не было ни рубля. На Молчановке помещалась частная школа Елеонской, предоставившей ее нам даром для вечерних занятий. Заниматься надо

было только по вечерам, чтобы в ней могли работать люди, занятые днем, — рабочие, служащие, учащиеся. Тогда мы с Вейцманом пошли к Вячеславу Иванову. Он принял нас в пледе и шапочке. Был похож и на Тютчева и в то же время на незуита. Подробно расспросил нас об учебном плане. Мы хотели начать его курс с античной поэзии. Говорил с нами как хороший декан. Потом осведомился о наших средствах. Мы собирались открыть запись учеников и брать небольшую плату, что-то около 5 р. с человека.

Но мы не могли гарантировать никакой оплаты за лекции, так как не знали, сколько будет слушателей. Вячеслав Иванов видел нас в первый раз. Он все же сказал: «Хорошо, я буду читать этот курс. Мысль у вас интересная. Если деньги наберутся, вы мне заплатите. Если нет, я буду читать даром».

Потом мы пошли к Андрею Белому (Борису Николаевичу Бугаеву). Мы постучали в дверь. Он открыл, увидел меня и засмутился. Он был в домашних туфлях. Комната его была увешана диаграммами для каких-то лекций по антропософии. В то время Белый часто и с успехом выступал с ними. Он был великодушным оратором, выразительно жестикулировал. Иногда его жестикуляция почти переходила в танец. Фарфоровые глаза. Зрачок — буравчиком. Пух вокруг лысины дымился, как ореол.

Едва он услышал предложение читать лекции по ритму, он весь взвился. Тут же ему стали приходиться в голову новые идеи... Он забегал по комнате... Вдохновился. Я смущенно начала говорить о деньгах. Он оборвал меня. Его это не интересует. Он столько лет думал о ритме и рад, что сейчас он построит стройный курс. Он умоляет меня даже не касаться денежного вопроса. Это безразлично.

Потом мы пошли к Валерию Яковлевичу Брюсову. Поэт деловито выслушал нас, выразил удовольствие и заметил, что такая студия — мечта его юности. Он вошел во все организационные и принципиальные вопросы как прекрасный организатор. Потом он спросил: «А как же с деньгами?» Когда мы ему объяснили материальное положение, он ответил: «Вот когда с деньгами у вас выяснится, приходите. Я с удовольствием буду читать в вашей студии». Думаю, он этим хотел приучить нас к деловому подходу, чтобы никакой поэтической «растрепанности» в студии стиховедения не было.

И мы смогли к нему прийти. Слушатели повалили к нам. Не хватало места. Мы смогли оплатить и наших

лекторов, и даже помещение. Мы смогли пригласить еще для эпизодических лекций Михаила Осиповича Гершензона.

Однажды к нам в студию зашел, как гость, Алексей Толстой. Слушатели были разного культурного уровня. Тут были и уже печатающиеся поэты, привлеченные именами лекторов, и начинающие, и просто учащаяся молодежь, и рабочие.

Для многих лекции Белого или Вячеслава Иванова были слишком сложны. Брюсов был относительно проще. Он излагал учение о метрике сухоовато и деловито и на семинаре заставлял нас писать различными определенными размерами на какую-нибудь заданную тему. В особое философствование он не пускался. Он требовал прежде всего овладения техникой. «Я не требую от вас вдохновения, — говорил он, — но нужно научиться так владеть стихом, что, если даже вас ночью разбудить, вы бы смогли написать стихи любым размером и на любую тему». Так он предлагал нам тему «Чернышница». Помню задание написать стихи 1-м, 2-м, 3-м и 4-м размером.

Для понимания же Белого и Иванова требовалась порядочная подготовка. Я была общительна, кроме того принимала самое деятельное участие в организации студии, поэтому посетители часто обращались ко мне, и после окончания занятий мне приходилось излагать им попроще основные положения той или иной лекции. Тогда у меня появилась идея создать как бы два параллельных курса, чтобы малоподготовленные слушатели знакомились с более элементарными, школьными представлениями о поэтике.

Очень тронул меня один молодой, даже не очень грамотный рабочий, который сказал: «Мы должны научиться писать по-новому. Помните, у Пушкина «И стаи галок на крестах». Так ведь сейчас и галки-то новые. Они на улицах видят не то, что раньше».

2. Пролеткульт, Михаил Герасимов и Сергей Есенин

В Пролеткульте я работала и в Москве и в Самаре (нынешнем Куйбышеве) секретарем литературного отдела, принимала участие и в организации этих учреждений.

В некоторой степени здесь пригодился опыт студии стиховедения, но было много нового и спорного для меня и в теории и в практике Пролеткульта, а иногда и горького и смешного.

Поскольку я была секретарем литературного отдела, посетители часто прежде всего попадали ко мне. В Пролеткульте была точная инсрукция для отделения «овец от козлищ». Первым критерием было происхождение и профессия автора. Вторым — тематика. Безусловно пролетарскими и признанными писателями и поэтами были Михаил Герасимов, Василий Александровский, Николай Полетаев, Николай Ляшко, позже пришедшие Василий Казин, Григорий Санников, Сергей Обрадович.

Мне доверялось определять поэтически-социальное положение приходящего, консультировать даже признанных пролеткультовцев, но сама я не была «пролетаркой» и мне печататься в пролеткультовских органах не полагалось.

Когда был создан Московский пролеткульт, ему был предоставлен бывший морозовский особняк на Воздвиженке в ложно британском стиле (теперь в нем — Дом Дружбы). Там располагались разные художественные и театральные студии и литературный отдел, первым заведующим которого стал Михаил Герасимов. Он незадолго до того вернулся из Бельгии и Франции, где прожил несколько лет политэмигрантом. Был он большевиком.

В Бельгии он работал шахтером. Францию исходил пешком, часто перебиваясь случайной работой и знако-

мясь со страной. Родом он был из-под Самары, сын железнодорожника в Кинеле. Это был высокий статный человек, с гордо поставленной головой, с широкими, свободными движениями, сильный душевно и физически. Систематического образования он не получил, но много читал и разбирался в искусстве и литературе.

При большом добродушии, широте и открытости, была в нем и некоторая «твердокаменность», которая и привела его на позиции Пролеткульта, в то время казавшиеся наиболее революционными и непримиримыми.

Но Герасимов знал литературу и мировое искусство лучше большинства своих товарищей по Пролеткульту, кругозор его был шире, интересы разнообразнее и богаче. За границей он часто посещал музеи. Память о Лувре была в нем неотретиима, и образ леонардовской Джоконды уживался в его поэзии с горнами, вагранками, трубами заводов.

Стихи Герасимова были сложнее и глубже стихов его товарищей, он искал некоего синтеза в космизме. Он считал, что революция требует гигантских всеобъемлющих образов, переосмысления всей мировой культуры и преобразования не только земли или тем более одной страны, а целой вселенной.

Каждый день рассматривался в аспекте мировой революции, которая при этом казалась уже на пороге.

Это представление о неизбежности почти мгновенного прихода мировой революции было свойственно не только пролеткультовцам, но вообще нашему поколению.

Никогда не забуду, как я болела сыпняком, семь суток была без сознания, очулась ночью в больнице. Огромная стонущая и бредящая палата, похожая на палубу корабля. Синий свет затемненной лампочки. Нянечка наклоняется ко мне. Спрашиваю, где я.

— В больнице.

— А мировая революция уже была?

Ведь я не была активной революционеркой, но это было в нашем воздухе, в нашем подсознании.

К принятию революции я подошла не сразу. Но в те годы я уже всецело находилась под влиянием Блока, его поэзии, его статей об интеллигенции и революции. Я страстно принимала его поэму «Двенадцать», и она сыграла большую роль в моем собственном признании революции и сближении с пролетарскими поэтами.

Герасимов жил в здании Пролеткульта, недалеко от Арбатской площади. Устроили его в бывшей ванной — большой комнате с декадентской росписью на стенах. Ванну покрыли досками, поставили диван, стол, даже принесли араукарии и пальмы в кадках — для красоты и вдохновения.

Мы с Герасимовым скоро подружились; после занятий часто приходили сюда и вели бесконечные разговоры о революции и поэзии России и заграници.

Естественно, что сочувственное внимание Герасимова привлекли уже появившиеся тогда «Товарищ», «Июния», «Преображение», «Небесный барабанщик» и другие произведения Есенина, близкие ему и настроением и самим поэтическим размахом.

В этой комнате скоро стал частым гостем и Есенин.

Однажды в литературный отдел Пролеткульта пришли два поэта: Сергей Есенин и Сергей Клычков. Последний был похож на стилизованного былинного добра молодца. И говорил он не просто, медленно, с запинкой, разуворивая свою речь прибаутками; казалось, он подчеркивает, что вот я вроде и темный человек, балакирь, а науку превзошел, и Клюева, Белого, Блока и Брюсова знаю, в московском кружке «Свободная эстетика» бывал.

Но чувствовалось в нем и что-то простодушное, а главное, уж очень любил он слово как таковое, и вышивал он свою речь этими народными словами, любясь ими, а не собой, потому что был он поэтом по всему

своему душевному складу, даже тогда, когда писал свою прозу.

Рядом с кряжистым и даже немного громоздким Клычковым Сергей Есенин казался особенно легким и веселым, с глазами незамутненными, с ясным блеском белокурых кудрей. Хитровато и выжидающе усмехаясь, поглядывал он на Михаила Герасимова.

— Крестьянские поэты пришли. Принимаете?

— Принимаем! — засмеялся Герасимов и встал навстречу Есенину.

А через час мы уже сидели в Мишиной комнате, пили чай и говорили, говорили так, как можно говорить только в молодости.

Под нормы пролетарской поэзии, под устав Пролеткульта, конечно, ни Есенин, ни Есенин, ни я не подходили, но общий язык у нас всех был!

Есенин в то время уже был зрелый поэт, в расцвете молодых сил, и вышел из границ специфической крестьянской поэзии. Пафос его творчества был именно в «преображении» всего существующего, и это мироощущение и роднило его с Герасимовым.

Было у них обоих и обостренное внимание к ритмам стиха. Обычно говорят, что Есенина главным образом привлекала образность. Между тем само разнообразие и совершенство его ритмов говорит не только о врожденном слухе к стиху, но и о большом мастерстве поэта и пристальном изучении стиха классиков и современников. Тогда нас всех интересовали теоретические статьи Андрея Белого о ритме. В то время Белый лично общался с пролеткультовцами и со всеми нами, иногда анализируя не только ритмы классиков, но и наши.

Некоторые из пролетарских поэтов, например, Василий Казин, вероятно, еще помнят, как Белый беседовал с пролеткультовцами о ритме и разбирал ритмы их стихов. Есенин, Герасимов, Клычков и я также интересовались его высказываниями. О взаимоотношениях Герасимова и Есенина с Андреем Белым говорит и про-

спект издательства «Трудовая артель художников слова», опубликованный на последней странице книги Есенина «Голубень». Там рядом со списком произведений Есенина («Преображение», «Радуница» и др.) и Клычкова («Кольцо Ладья», «Дубровна», «Бова» и др.) помечены готовящимися к печати книги Герасимова «Стихи» и Андрея Белого «Стихи».

И в Герасимове и в Есенине даже в их внешнем облике были сильно выражены народные русские черты. Оба поэта хорошо подошли бы для скульптурной группы — рабочий и крестьянин. В лице и фигуре Есенина, в его повадках и манере говорить, даже в улыбке, то застенчивой, то озорной, многое было от рязанского крестьянина. Ни выступления в модных предреволюционных салонах, ни общение с литературной средой не исказили в нем чего-то коренного и здорового. В Есенине было много молодой силы и упорства.

А Герасимова легко можно было представить себе с молотом в руках.

Они оба как-то дополняли друг друга.

Есенин приходил в Пролеткульт в синей поддевочке с барашковым воротником, часто вместе с Клычковым и Орешкиным. Иногда Сергей Александрович, по-тогдашнему Сережа, оставался ночевать в комнате Герасимова. За пролеткультовской оградой, под окном, цвел небольшой садик, там был каменный приступок стены.

Есенин, нарочно по-деревенски растягивая слова, говаривал: «Дай на крылечке в Москве посидим». Казалось, только семечек не хватает. Мы усаживались на этом приступке, глядели на прохожих и тихонько читали стихи. Как-то всей компанией с пролеткультовскими поэтами пошли в мастерскую С. Коненкова. Меня поразили своей красотой и артистичностью руки скульптора. Читали стихи.

Все мы были очень разными, но все мы были молодыми, искренними, пламенно и романтически принимали революцию — не жили, а летели, отдаваясь ее вихрю.

II

*На весенний праздник света
Я зову родную тень.
Приходи, не жди ответа,
Приноси с собою день!*

*Новый день — не тот, что бьется
С ветром в окна по весне!
Пусть безумолку смеется
Небывалый день в окне!*

А л е к с а н д р Б л о к

Анатолий Преловский

ЧЕРНЫЙ ХЛЕБ

I

Вот он лежит — диетический, серый! —
правнук чёрняшки военной поры.

Ржавый, несытный, он символом веры
нас освящал: тяжелы и мокры
в карточной общесоюзной дележке
были краюшки его и ломти.

Все призабылось: нехватка одежды,
лед на подошвах, мозоли в горсти...

Но почему, почему, почему же
холод военный во мне не иссяк
и тыловую, сиротскую стужей,
как недоед, затаился в костях?

Сам я живу — все грядущим, грядущим,
сам все пекусь — о живом, о живом...
Что же забота о хлебе насущном
остью топорщится в слове моем?

Что же теперь со стыда не сгораю
я от привычки, что душу мне жгла,—
и машинально, как в детстве, собираю
хлебные крошки в кулак со стола?

II

Насущный хлеб не сух, не сладок,
но искони необходим.

Мы ни подтекста, ни загадок
не ищем в нем, когда едим.
Он прост и ясен, как основа
для жизни сердца и ума,
как изначальнейшее слово
да и как родина сама.

Но, разрезая утром булку,
я слышу, как проходит вздох
по Хлебникову переулку —
по средостению эпох,
по всероссийской вечной пашне,
что с терпеливостью зерна
день завтрашний и день вчерашний
на все сплотила времена.

И только позднею догадкой
я к вечной тайне приобщен,
что привкус хлеба кисло-сладкий
и вздох из глубины времен —
не что иное, как основа
для жизни сердца и ума,
как почва для родного слова
да и как родина сама.

Леонид Мартынов

ПРОРОК

Двадцатый век,
Исполненный печалью,
Был в возрасте казнимого Христа,
Когда испанским скульптором Гаргальо
Его Пророк был создан неспроста.

Изваянный из гулкого металла,
С пощечиной в обличии слезы,
Пророк, каких давно уже не стало,
Был полон громом будущей грозы.

Железноглазо и железноусто,
С душой и сердцем в форме полых колб,
В Музее Современного Искусства
Он выставлен был на потеху толп.

Но с каждым днем он был все ближе к жизни,
Чтоб целый мир бы на него глядел...
Педанты спорили о модернизме
И реализме... Он как столб гудел!

Не знаю, как бы он ко мне отнесся,
Но, даже и поставлены ребром,
Важнейшие насущные вопросы
Сумели бы мы разрешить добром.

К нам не являлся на порог Гаргальо,
Но ведомо повсюду и везде:
С ретортным сердцем жив Пророк Гаргальо
И с головой,
Подобною
Звезде!

* * *

Двадцать второго июня
Ровно в четыре часа
Киев бомбили,
Нам объявили,
Что началась война...

(Песня)

Колочей проволокой сердце
Рванет бесхитростный куплет.
И никуда уже не деться
От давних лет,
От горьких лет.

Когда в огне, во мгле чертовской
Земля стонала
И когда,
Как написал поэт Твардовский,
Сдавали чохом города.

Ужели так всегда в России,
Ужели недруги правы:
Чтоб разбудить святые силы,
Дойти им надо до Москвы?!

Не верю этому, не верю!
Но вижу скорбные глаза
И помню каждую потерю,
Родных и близких голоса.

Нас разбудили, разбудили,
И мы восстали — как один.
Мы победили, победили.
И впредь, конечно, победим.

И жизнь светла и величава...
Но пусть в любой далекий срок
Нам помнится не только слава,
Но и жестокий тот урок.

И песня пусть продлится в завтра —
Про тот платочек
И вокзал, —
Которую безвестный автор
Веленьем сердца написал.

ФЛАГИ

Шили флаги косынею
В давнем веке у нас.
И летел над Россиею
Шитый золотом Спас.

Под багряно-червлеными
В том великом году,
Под святыми знаменами
Дмитрий шел на Орду...

И вскружил над столицею
Синий стяг Ермака
И могучею птицею
Пролетел сквозь века.

* * *

Иссохшая долина,
И между трех дорог —
Корявая маслина —
Сухой, шершавый лох.

Под одиноким лохом,
Где солнце и полынь,
С чуть затаенным вздохом
Из памяти — нахлынь!

Нахлынь все то, что было:
И что свежо теперь,

И победными красками
Созывало на бой
Знамя князя Пожарского
Над горящей Москвой.

А с полками Суворова
В честь российской земли
Стяги с лентой Георгия
Через Альпы прошли.

И забыть нам не велено
Славный крейсер «Варяг»
И горящий, простреленный
Тот андреевский флаг...

И что душа забыла
За давностью потерь...

Друзей ушедших лица
Я в сердце берегу.
Но с ними поделиться
Ничем уж не могу...

Стою один в долине
На стыке трех дорог —
Как дерево пустыни,
Как одинокий лох.

* * *

Немощная улица,
Спуск над Чернавским мостом.
И ленивое солнце
Бредет по ступеням скрипучим.
Я опять пребываю
В растаявшем времени том
С чувством горькой потери —
Тяжелым и жгучим.

Довоенный Воронеж.
Серебряный пух тополей.
Мимолетное, зыбкое
Очарованье...
И была эта улица
Родиной детской моей —
Самой ранней, начальной,
Какой не придумать названья...

Перелёшинской улицей
Встарь называлась она.
А потом получила
Тревожное имя Лассаля.
И менялись названия,
Как времена...
И пожары войны
По домишкам сухим заплясали.

А потом, в сорок третьем,
В обугленной черной трубе
Все окрестные ветры
Гудели, стонали, кричали...
Немощеная улица
В жизни моей и судьбе
Навсегда называется
Улицей первой печали.

Николай Панченко

* * *

Выходили стихи на меня, как из лесу медведи.
Я уже не писал их —
Ловил, как синиц в западню.
А тифозный солдат в медсанбате задрипанном бредил.
А влюбленный студент доверял свои тайны огню.
И горели — строка за строкой — путевые заметы,
Неотправленных писем пчелиный, космический рой.
А поэты тем временем —
Строем шагали поэты,
Рассчитавшись
по команде сержанта:
— На первый-второй!

— Шире шаг, направляющий! —
Направляющий сделает шире —
И, как жизнь из-под ног, заклубится земля на восток.
Дважды сдвоив ряды, мы шагали — в ряду по четыре! —
Убежденные ритмом кирзовых, дешевых сапог.

* * *

Будет много грибов,
будет много орехов и ягод,
Будет солнце и дождь
И пустая тревога в груди.
Упади под кустом, надышись этим воздухом на год
И, качаясь как пьяный, в московскую зиму уйди.

Где под нервную дрожь
Эскалаторы тянут и лифты,
Где, не чувствуя ног,
погружаешься в царство колес.

Полежи под кустом, где шумят над тобой эвкалипты:
В налитой синеве молодые головки берез.

Позабывшую землю ногою ощупай босою,
В этом запахе трав помолчи, поживи на весу.
Может, вспомнишь руками, как тянет,
ведет за косою.
Как над лугом несут стремена, осыпая росу.

* * *

Под просторной сосной, что пошире меня,
покруглее,

Я хотел бы дожить —
Дожурчать этот быстрый ручей.
И созвездие Овена,
несколько звезд Водолея

Различать невзначай
На роскошном атласе ночей.

И далеко за полночь ключами звенеть у калитки.
С ветки ягоду скусывать, — как вдохнуть, — как в четырнадцать лет.
А над белой зимой — только эти дрожащие слитки! —
Слушать музыку звезд
И протяжные звуки планет.

И, топчась у порога в рассеянном клубе мороза,
Словно с веток — с усов
Леденцы с бубенцами ронять.

Это проза?.. О да!
Быстротечная — вечная проза!
Это только мгновенье,
Которого нам не понять...

Евгений Евтушенко

ПРОЩАНИЕ С ФИЛЬМОМ

Над Угрой на рыжих склонах
рев мосфильмовских машин.
На деревьях оголенных —
девственный пушок вершин.

А художник ловкой кистью
старит свежие кресты
и нейлоновые листья
нацепляет на кусты.

Снег идет. Мы все пропали.
Но весенне дышит высь,
будто листья не опали,
а еще не родились.

И туман с реки наносит
грусть, с которой не усну,
потому что эта осень
так похожа на весну.

Фильм уже почти закончен.
Это радость и беда.
Ну а вдруг он сам захочет
не кончатся никогда?

Декорации сжигают.
Дым большой. Конец «кину».
Но заранее сжимает
ностальгия по нему.

Не уходит что-то с дымом,
не кончается с концом.
Расставанье наше с гримом
пострашнее, чем с лицом.

Как предчувствует забытость
наша башня у реки!
Складывается «небритость»
в спичечные коробки.

Было горько — будет горше
без ругни и без грызни...
Дай мне, девочка-гримерша,
из пипетки две слезы!

Осветитель — милый «светик»,
что взгрустнул? Не отвечай.
Как он сладок — напоследок
экспедиционный чай.

Нежно-хмурая погода.
Теплый цвет у туч тугих.
Дорога мне несвобода
от себя и от других.

Мне нисколько не мешает
то, что жизнь меня всю
унижает, возвышает
или держит на весу.

В жизни я не знал безлюбья.
Не такой уж я злодей,
если любят меня люди,
если я люблю людей.

Все они во мне остались,
постепенно стали мной.
Ничего, что мне достались
все они такой ценой.

Их обидами убитый,
от людей я не бежал.
Если я кого обидел —
ненарочно обижал.

Я скажу без всякой позы,
без какого бы вранья,
что не сосны, не березы,
люди — Родина моя.

АРМЯНСКАЯ ЛОЗА

А. Бабаджаняну

Я прикрываю
 тайные сомнения,
я прикрываю тайную слезу,
как прикрывают от зимы
 в Армении
землею
 виноградную лозу.
Когда землей
 при жизни засыпают,
то силы тайные во мне не засыпают.
Кто любит землю ту,
 что стала Родиной,
тот даже под землей —
 непохороненный.

Пускай распалось тело, опустело:
земля —
 теперь мое второе тело,
и сердцем сделался
 земли живой комочек,
проросший к небу
 стебельками строчек.
И я не умер.
 Под землей я зрею.
Не потерял я под землей лица.
Землею
 я прикрылся лишь на время,
как вечная армянская лоза.

В воспоминаниях современников

Константин Поздnev

«В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ С ОТКОСА»...

В Нижнем Новгороде — в конце 20-х — начале 30-х годов — излюбленным местом отдыха молодежи был Откос. Именно Откос, а не откос.

И когда говорили: «Пойдем погуляем на Откосе», — все понимали, что имеется в виду не столько крутой скат правого берега Волги (откос — в буквальном смысле этого слова), сколько набережная на Дятловых горах, строго отграниченная от самого откоса парапетом и простирающаяся от стен Нижегородского кремля до Сенной площади.

Позже этой набережной присвоили имя А. А. Жданова, и постепенно старое ее название перестало осмысляться как имя собственное. А раньше — и в прошлом веке и до 30-х годов нашего века — осмыслялось. М. Горький писал: «...я встретил его на Откосе, около Георгиевской башни...» (очерк «Н. Е. Каронин-Петропавловский»). И еще: «...обойдя горд подем, я пришел к Волге, на Откос...» (повесть «В людях»).

Были еще в Нижнем Новгороде и Пески. Правда, это не столь «узаконенное» название, как Откос, но в речи многих нижегородцев и оно бытовало. Песчаных кос и песчаных мысов на Волге много. Но так именовали вполне конкретное место: наносы песка в той части Волги, что неподалеку от Сенной площади. И открывались взору эти Пески не с любого отрезка набережной, а лишь в самом ее конце, где она обрывалась оврагом.

Теперь обратимся к книгам Бориса Корнилова, и вот что мы там найдем:

В Нижнем Новгороде с откоса
чайки падают на пески...

Один только раз публиковалось это стихотворение при жизни поэта — в его сборнике «Книга стихов» (Ленинградское отделение издательства «Молодая гвардия», 1933). Редактору сборника и корректорам, видимо, не было известно то, что известно нижегородцам, и они переименовали имена собственные Откос, Пески в нарицательные. Так с тех пор и пошло: повсюду стихотворение воспроизводится с этим отклонением от его нижегородской специфики. Ох уж эта верность каноническим текстам!

...В 1927—1935 годах Борис Корнилов ежегодно ездил из Ленинграда на побывку в Семенов, где жили его мать — Таисия Михайловна, отец — Петр Тарасович, сестры — Лиза и Шура и где раньше жил он сам.

В каждый из этих приездов он обязательно заглядывал — хоть ненадолго! — и в Нижний, а там неизменно встречался со своими «первопечатниками» — работниками комсомольской газеты «Молодая рать» и молодыми писателями.

— Пойдемте, ребята, гулять на Откос! — говорил он.

И мы с охотой шли.

Разумеется, в разные приезды Корнилова и группы тех, кто отправлялся гулять на Откос, были разными: все зависело от того, кто оказывался в это время в городе. Мне запомнились рядом с Корниловым на Откосе Павел Штатнов, Борис Рюриков, Михаил Шесте-

риков, Федор Жиженков, Федор Фоломин, Иван Рогов. Впрочем, полагаю, что бывали там вместе с Корниловым также и Николай Кочин, Борис Пильник, Нил Бирюков, Алексей Елисеев, Илья Симаненков, Александр Зарубин, словом, любой из молодой поросли нижегородских литераторов той поры: Корнилов всех нас знал, всех нас — по комсомольской привычке — называл ребятами, парнями...

Особенно прочно запала в мою память одна из прогулок, и она, как мне всегда представлялось, самым непосредственным образом связана со стихотворением «В Нижнем Новгороде с Откоса...». Шел 1931 или 1931 год. Буйно цвели на Откосе кусты сирени и вековые липы (а их там великое множество!). Близился вечер. Догорал закат. Мы ходили (нет, дефилировали!) по набережной туда и обратно. Читали стихи. Вели, как любил выражаться Корнилов, «разные разговоры». Даже какие-то песенки напевали. Корнилов начал было рассказывать что-то из своей жизни в Ленинграде и вдруг, неожиданно оборвав рассказ, показал рукой под гору, на Волгу: «Парни, смотрите, какая красота!» Мы не сразу поняли, о чем речь. А он, словно поясняя, что его поразило, произнес: «Как чайки-то падают! Прямо на Пески!..» И тут мы тоже все увидели поразительную картину полета чаек в предвечерье. Высматривая мелких рыбешек на отмелях, они, казалось, действительно «падали» на Пески.

Трудно сказать, было или не было бы создано Корниловым стихотворение «В Нижнем Новгороде с Откоса...», если бы не наш выход на берег Волги. Возможно, было бы. Но для меня несомненно одно: образ птиц, «падающих на Пески», родился у Корнилова именно в тот раз. И когда стихотворение появилось в «Книге стихов», когда я его впервые прочитал, я столь отчетливо «усмотрел» в нем нашу прогулку по Откосу, что и до сих пор не могу отрешиться от соблазна связывать с ней историю рождения этой лирической жемчужины.

Пахнет липой, сиренью и мятой,
небывалый сплит колорит...

Тут всё, как и тогда...

Парни ходят —
картуз помятый,
папироска во рту горит...

Это вроде бы и не о нас, а вроде бы и о нас...

Влажным ветром пахнуло немного,
легким дымом,
травой сырой,
снова Волга идет, как дорога,
вся покачиваясь под горой.

Было это, было! И влажный ветер, и дымок, и ощущение, что Волга похожа на покачивающуюся дорогу!

Наши разные разговоры,
наши песенки вперебой...

А это уже точно о нас!

Иван Дремоз

— Иван Афанасьевич, в этом году Вам исполняется семьдесят лет. Что хотели бы Вы сказать читателям «Дня поэзии»?

— Я хочу вспомнить друга своей молодости, талантливого поэта Федора Канатова, которого нынче совсем забыли. Хочу немного рассказать о нем и познакомить с его стихами.

Родился Федор Канатов в 1908 году в рабочей семье одного из пригородных поселков Орехово-Зуева. Я встретился с ним в Москве осенью 1929 года в стенах литературного рабфака имени М. Горького, куда он, так же как и я, приехал учиться. Но поступить на рабфак ему не удалось — не выдержал экзамена по математике и какому-то другому предмету. Покинув временное рабфакское общежитие, он снял частный угол-койку и стал жить в темной проходной комнате ветхого дома поблизости от Преображенской площади.

В течение трех лет, пока я учился на рабфаке, мы с ним виделись почти ежедневно — читали друг другу стихи, делились замыслами и мечтами. Будучи человеком слабого здоровья, в быту он был крайне неустроенным и непрактичным. Жил случайными заработками. Например, летом 1930 года, когда у меня были каникулы, мы с ним вместе около двух месяцев работали чернорабочими на Электрозаводе. Некоторое время он был и рядовым певцом в хоре Пятницкого.

Однако все его помыслы были постоянно заняты поэтическим творчеством. Свои стихи и песни он писал в основном сидя на своем скрипучем топчане или на скамейках скверов и бульваров. Несмотря на труднейшие условия своего быта, он никогда не ныл, не жаловался и не хандрил. Не было намека на уныние и в его произведениях. Юношеским пафосом героизма первых Пятилеток, романтикой классовой борьбы и строительных будней, горячим порывом в будущее проникнуты все его песни и стихи.

В июле 1937 года, перед отъездом на учительскую работу на Север, я решил на прощанье повидаться со своим другом. На квартире мне сказали, что Канатов тяжело заболел и находится в больнице. В больнице я застал его в бессознательном состоянии, он не узнал меня, и этот июль был его последним июлем.

Стихотворения Федора Канатова «В дороге» и «Поезд», которые здесь публикуются, хранят в себе и жар времени, когда они рождались, и несомненную печать таланта их автора.

Федор Канатов
1908—1937.

•
Наши
публикации
•

В ДОРОГЕ

Мы камни кололи и клали рядком,
И камень стонал под стальным молотком,
И руки гудели, и двигались ноги
Вперед по буграм, по песчаной дороге.

Мы камни кололи за шумной Коломной,
Работой себя нагревали,
Мой старый товарищ, и добрый и скромный,
Пел песни на тихом привале.
Он пел, улыбался и радостно звал
На светлую пристань, на свежий привал,
Туда, где вставали крылатые дни
В бряцанье железа и меди.
Он бил, и под грузной кувалдой кремни
Гревели о нашей победе.

Над сохлым болотом, за синей рекой
Он смял мою руку мохнатой рукой,
Сказал, отбиваясь от едкой пыли:
— Мой друг по сезонным работам,
Мы много с тобою дорог провели
И тачек повымыли потом,
Но эта дорога строительных дней
Значительно больше и много трудней.

По мшистым оврагам, бурьянам и пням,
Потемки столетние скомкав,
Ее мы должны проложить к деревням
Для наших идущих потомков.
Быть может, я скоро, мой искренний друг,
Умру вот у этих рабочих округ,
Умру — не бросай этот пост строевой,
Работай и пой «трудовую»,
А если не хватит камней в мостовой —
Мой череп вложи в мостовую.

Я выслушал жадно и руку его
Потряс и ответил: — Мой брат боевой,
Не бойся, твой труд не пройдет в стороне,
Не рухнет зачатый фундамент,
Я песню твою понесу по стране
И пафос и твой темперамент.
И если умрешь ты на этом пути,
Я место тебе постараюсь найти.
И чтобы тебя в бесполезном гробу

Не грызли обрюзглые черви б,
Я сердце твое в валунах погребу
И твой героический череп.
Мы сделаем все, мой взыскательный друг,
И знамя борьбы не уроним из рук.
Мы вдаль свой проложим воинственный след
От зданья к бетонному зданью,
И чувствовать будет старый скелет
Бегущих машин трепетанье.

1930

ПОЕЗД

За городом поле,
За городом лес,
За лесом несется тяжелый экспресс
По глинам, по золам
Со свистом веселым
Горячему ветру наперерез.

Над шпалами дым
И сиреневый чад,
Вагоны грохочут,
Гремят и стучат,
Друг друга зовут от вокзальных дверей:
Скорее, скорее,
В просторы скорей.
Трах-тарá,
Трах-тарá,
Мы везем трактора, трактора!

Машинист —
Коммунист —
Гонит вверх,
Гонит вниз
По буграм, по мостам,
Черноземным местам.
Он торопит коня,
Рычагами звеня.

Меж коротких платформ
И широких полей

Ты лети к посевной,
Мой скакун вороной,
Ну скорее, скорее, скорей.
Трах-тара,
Трах-тара,
Мы везем
Трактора,
Трактора.

По рельсам, по гайкам,
По крепким заклепам
Несется бригада
Железным галопом...
Через Дон, через плес —
Только ветры свистят
У граненых колес.

Вагоны хохочут, поют и кричат:
Нам вечно плескаться тепло бы,
По этим просторам бежать и качать
Печати и теплые пломбы.

Но вот остановка
И крашенный столб,
Гудок принадулся губами.
Кондуктор — за тормоз,
И стоп!
И поезд затих у Кубани.

1930

*Года к суровой прозе клонят,
Года шалунью рифму гонят,—*

одарил нас Александр Сергеевич Пушкин строками, ставшими афоризмом. Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Бунин пресли путь от поэзии к прозе, создав замечательные произведения в обоих жанрах. Но закон ли это? Гоголь, Достоевский, Толстой не оставили нам томиков стихотворений. С другой стороны, художественная проза не заняла особого места в творчестве Тютчева, Блока, Маяковского.

Вопрос взаимоотношений прозы и поэзии представляется чрезвычайно интересным. Как сосуществуют они? Сильны ли их внутренние связи? Как прозаики относятся к поэзии? Какую роль поэзия играет в жизни и творчестве прозаика?

С этими вопросами редколлегия обратилась к мастерам современной советской прозы, попросив их высказаться, как говорится, «положа руку на сердце».

Виктор Астафьев

ЧУВСТВО ЗВУКА И СЛОВА

Мы привыкли к расхожим понятиям, они становятся для нас не только обыденны, но и удобны. Вот привыкли говорить: «Сначала было слово». Однако слово-то происходит из звуков, стало быть, сперва был звук, и звук этот растворен в природе, и никому не подвластно услышать его, перенять у природы и передать людям, кроме поэта и музыканта. А может быть, прежде звука было чувство? Может быть, всем, что есть вокруг нас и в нас, и прежде всего — мыслью, движет чувство. Оно-то и есть первородство звука и самого слова и, стало быть, вытекающего из них вечно святого и светлого истока поэзии, который, набирая мощи, полнозвучия, а в наше время широты и шума, вот уже много веков мчится, не иссякая, будоража человеческое сердце, наполняя его восторгом и печалью, подымая бури страстей и улаждая тихой музыкой.

Вечна загадка поэта, и вечно наше желание отгадать ее, пробиться сквозь какую-то невидимую преграду или пелену и постичь то, что за строкой, то есть душу поэта, но когда это произойдет, поэзия утратит смысл и «секрет», стихи станут возможно изготавливать каждому мало-мальски грамотному человеку, как сейчас учащиеся средней школы на станции юных техников с помощью простых инструментов, из обыкновенных материалов могут выточить и собрать электромузыкальный прибор, радиоприемник и даже ракету и любые вещи, так недавно еще поражавшие воображение и повергавшие нас в изумление своей непонятностью и недоступностью.

Верую, с поэзией этого не произойдет, во всяком разе не произойдет до тех пор, пока не оформится человеческая душа, не сделается стандартной, подобно

кирпичу, хотя поползновения, и явные, к этому имеются, и есть люди, стремящиеся к тому, чтобы все было одинаково — дома, леса, дороги, одежда и человеческая мысль.

Поэзия всегда восставала против бездушия и стандарта, она всегда стремилась возвысить человека, и в этом ее непреходящее величие и, воспользуясь бытовым словом, — постоянная польза для всех нас, а привораживать человека, околдовывать его словом, точно старинным складным наговором, это ее милая игра с уставшим человеком, которая, с букваря начавшись, открыв глаза ребенку на мир, постепенно втягивает его в серьезный разговор, становится строгим и высказательным собеседником. Как это необходимо в наш суетный век, когда все «секретное» вроде бы рассекретчено, когда после «прелестей» общезнания человека все чаще и чаще тянет побыть наедине с собой, предаться созерцанию и осмыслению своей, а значит, и всей нашей жизни.

*Женщина плачет в вагонном окне
Или смеется — не видно в вагоне.
Поезд ушел. И осталось во мне
Это смешение счастья и горя...*

Чем увлекают меня, читателя, эти бесхитростные и совсем «простые» строки? Отчего так защемило мое сердце при звуке их? И сам сделался какой-то незащищенный, открытый сладкой печали? Почему повторяются и повторяются во мне эти строки, хотя, может быть, я не запомнил их наизусть?

Кабы я знал?! Но кабы я знал, то, стало быть, и написал бы их сам.

Если поэт начинает говорить о вещах вечных — это не всегда от дерзости, чаще от наступившей зрелости, житейской заряженности и душевного груза, а то и перегрузок. И если он часть своей тяжести перекладывает на читателя, это не значит, что у него есть стремление облегчить себя, нагрузить нас своими страданиями, чтоб не страдать самому.

Нет, не для того горит и мучается сердце поэта! Оно всегда бескорыстно, всегда устремлено к свету разума и добра, и в непосильной работе оно часто сго-

рает или разрывается, отдавая все, что в нем есть, до последней горячей капли крови людям и искусству.

Поэзия всегда стремилась открыть в мире прекрасное, и своими муками доказали поэты, как долг и тяжёлый путь к красоте и постижению смысла жизни.

Поклонимся же низко за эту благородную работу стихотворцу и пожелаем ему того, чего желали странники Востока друг другу: «Торопись обрадовать добрым словом встречного, может быть, в жизни не придется больше повстречаться».

Владимир Костров

ЛЕБЕДИ

1

В сутолоке мнений и людей,
где бульвар сбегает к Трубной, горбясь,
прямо над Нарышкинским подворьем
я вчера увидел лебедей.

Я не знаю, от какой беды
дети света, пасынки метели,
белые сфероиды летели,—
может быть, на Чистые пруды.
Вздвогнув в суетливости своей,
мудрецы, дельцы, юнцы, растяпы
задирали головы и шляпы,
пятерню держали у бровей.
И летела, сердце пробивая,
к доброте и правде призывая,
красота высокая, ничья,
и на хмурых лицах, как улики,
проступали детские улыбки —
смыслом наполнялась толчея.
Все рвалось.

Все устремлялось в небо:
светофоры, башни, булки хлеба,
часовая стрелка на часах,
пожилая женщина с авоськой,
некий деловитый гость заморский —
что-то там читали в небесах.
Я смотрел: мои слезились вежды,
этот миг во мне рождал надежды,
нежность к людям утверждал во мне.
И, пока последний лебедь таял,
я как бы дыханием протаял
лунку в замороженном окне.
Я еще подумал поневоле,
на болоте мшистом,
в чистом поле,
в волчьей глотке,
в соловьином горле
в роще, у Кудыкиных ворот,
в сердце человеческого доселе

тяга к слову доброму живет.

— В шалаше, в избушке, в доме новом
живы мы единым добрым словом,—
мама говорила. И права!

Убедился я, что бор заречный,
шелудивый пес, сверчок запечный
понимают добрые слова.

В переулке нашем Астраханском,
и на рыбном плесе Астраханском,
ночью, утром, в середине дня,
в гарнизоне авиационном,
в русском поле гравитационном,
добрым словом подари меня!

Это слово, право, не напрасно
ориентировано компасно,
пробивает и туман и гнусь.
Потому-то в радости и грусти
я, совсем как лебеди и гуси,
к Северу любимому тянусь.
Что мы без него с тобой могли бы?
Шарики в крови у нас магнитны.
Точно ощущаем ты и я:
на границе голоса и слуха
некий есть масштаб,
пространство духа,
сфера разрешенья бытия.

2

Пожинаю я то, что посеял.
Потому от мороки и лжи
я сошлю свою душу на Север,
в царство елей, морошки и ржи.
...Слышь, повеяло мощью и силой,
дрогнул бор и осели пруды.
Это Север угрюмый и милый
сор сдувает с седой бороды.
Сор сдувает. Листва полетела.

Закряхтев пошатнулась изба,
 и ямщицкую песню запела
 с черной вьюшкой печная труба.
 Дрогнет сердце. Судьба замаячит.
 И старинный напев не забыт.
 Словно мать деревенская, плачет
 уходящий и памятный быт.
 Он прощает и просит прощенья.
 И придет, как прощенье, зима.
 И такое начнется вращенье,
 и такая пойдет кутерьма.
 Искры грянут: тоска испарится.
 Призрак леса качнется струясь,
 ляжет нам бахрома на ресницы,
 а на окна — славянская вязь.
 Вспыхнут щеки твои на морозе,
 на веревках запляшет белье.
 И в безумные белые розы
 обернется дыханье твое.
 Да катанье. Да с крепкою шуткой.
 Да еще и весна впереди.
 Да под жаркою беличьей шубкой
 жаркий выдох девичьей груди.
 Свет сусальный да иней хрустальный,
 синих теней несметные тьмы.
 Звон сосульный, как звон поминальный,
 да стоящие прямо думы...

3

На выставке,
 где все, чего достигли,
 отражено достойно и вполне:
 арбузы, колбаса, ракеты, тигли
 и желтый зной в июльской синеве,—
 где автобан, и пиво, и качели,
 летящие едва не до небес,
 тому назад в четверг, на той неделе
 на лавочке с мальчишкой мы сидели,
 уставшие от всяческих чудес.
 В пустом бассейне, возле уток ржавых,
 остатную разбрызгивая грязь,
 два слесаря, угрюмых и поджарых,
 работали, куря и матерясь.
 Работали, на белый свет ворчали,
 упоминали бога и судьбу.
 Звенели молотки, ключи бренчали,
 и пот похмельный проступал на лбу.
 И, подвижны неясной внешней силой,
 все наши чувства отступали в тень.
 Была лишь наша лень,
 да труд унылый,
 да звон ключей,
 да светлый божий день.
 Но тут старшой соединил кусачки,
 в последний раз простукал главный ствол,

на бортик влез, в бассейн сплюнул смачно,
 кому-то вдалеке махнул:
 «По-о-шел!»
 Мальчишке стало интересно это —
 он «робко попытался закурить».
 (И тут строку русского поэта
 я вынужден почти что повторить.)
 Пробулькнуло...
 Потом заскрежетало...
 Пропало...
 Вновь откуда-то взялось...
 Приподнялось...
 Сверкнуло...
 Засверкало...
 Наполнилось...
 Рассыпалось...
 Взвилось!
 Живи сто раз, в сто первый раз воскресни,
 в мед или в грязь по уши окунись,
 я вам скажу: нет ничего чудесней
 безудержной воды, летящей ввысь.
 Зашелестел и зазвенел, играя,
 сперва вот здесь, потом уже вот там,
 не тонкая слеза Бахчисарая —
 классический сиятельный фонтан.
 Он ликовал,
 он падал коромыслом,
 он свет вращал,
 он возвещал — смутись!
 Он хохотал над нашим здравым смыслом,
 прозрачный весь
 и призрачный, как жизнь.
 Был чист,
 как будто в первый день творенья,
 кипуч без пены, без иглы колюч.
 И всю неповторимость повторенья
 он открывал и закрывал на ключ.
 Казалось, струи брэнность пробивали.
 Он наши души изгибал дугой.
 В его обманной сути танцевали
 тугой атлет с танцовщицей нагой!
 Он в этот миг был мне дороже брата,
 важней земли и вин хмельных хмельней,
 возникший вдруг из ржавых труб и мата
 прекрасной бесполезностью своей.
 Он только брал,
 он не служил наживой,
 был духом света,
 отрицавшим тьму.
 И женщиной,
 прекрасною и лживой,
 служил наградой сердцу и уму.
 Как человек,
 он восставал и падал,
 в нем был резон,
 он рушил немоту.
 И не поймешь, смеялся или плакал
 мальчишка с сигаретою во рту.

Он был неотвратимым,
как расплата,
за то, что мелко прожил жизнь, коря...
Ах, все-таки душевные ребята,
ядрена мать, в России слесаря!

4

Я описал фонтан и лес,
но вижу, что для интереса
поэме не хватает беса.
Итак, ко мне явился бес
эфирный. Как с других планет,
в антенне, тоненькой как волос,
родился некий внешний голос,
утешный, как сказал поэт.
Он был как будто за стеною,
как бы сочувствием влеком,
отменным русским языком,
совсем как барин с мужиком,
лукавый говорил со мною.
С неправдой правду соразмерив,
но приглашал меня туда,
где даже рыбку из пруда
любой поймает без труда.
И ждал, что я ему поверю.
Он укорял и возвещал
и был исполнен благородства,
сулил наладить производство
и легкой жизнью смущал.
За ним Америка стояла.
И сам, бессмертный как Кощей,
ломился в уши мир вещей,
и сытость наглая сияла.
О, этот голос продувной,
он звал.

Он требовал доверья.
И мне привиделась деревня
и мужики на посевной.
И хлябь, и зной, и те дожди,
и гул машин над большаками,
и мать с огромными руками
на неживой уже груди.
Ах, голоса! Ну, голоса!
Вы б возвестили с чистым сердцем,
что слишком легок хлеб у немцев —
вам немцы плюнули б в глаза.
Любому на земле нелеп
спаситель с бритвой безопасной,
над головою нимб колбасный,
в деснице — стыдный легкий хлеб.

5

Она сейчас в вечерней мгле,
Россия, давшая нам солнце.
Крик петуха, и свет в оконце,
и место на большой земле.
Я перед ней не погрешу
и у простора дымового
благополучья дармового
и легкой жизни не спрошу.
Наоборот, в одной судьбе,
перед любой вселенской бурей,
как мы живем, какими будем —
давай предъявим счет себе.
Давайте спрашивать с себя.
Какою ты болел заботой,
как ты любил,
как ты работал,
давайте спрашивать с себя.

Юрий Беличенко

* * *

По вечерам, когда его просили,
хоть старым был и за день уставал, —
колхозный сторож Ващенко Василий
военные иконы рисовал.

Еще казались вдовы молодыми.
Еще следили за дорогой мы.
Еще витала в сумеречном дыме
печаль вещей, покинутых людьми.

А дед Василий — памятники строил.
Он выпивал, но дело разумел.

Он как художник — ничего не стоил,
но ключик от бессмертия — имел.

По имени погибшего солдата
он брал сюжет. И посреди листа
изображал Николу с автоматом,
и рядом с ним — с гранатой — Христа.

Оно, конечно, странно это было,
но вот стоишь — и глаз не отвести,
увидев меч в деснице Гавриила
и орден Славы на его груди...

ПРОЩАНИЕ НА САРАТОВСКОМ
АЭРОДРОМЕ

Там тучи идут над степью
Тяжелые, как возы.
Там бьет по дороге цепью
Бодливый бычок грозы.
Там град налетит, и тут же
Растает в траве стекло...
К осколку гусиной лужи
Склонилось мое село.
Утихла погода злая.
Не стану считать утрат.
Прозрачно, как спирт, пылая,
Полынь обесцветил град.
И даже родная бабка,
Молясь на божка в углу,
Как сбитая ветром шапка,
Все дальше летит во мглу.
...Лихая моя судьбина,
Чужие — мои года,
Вы крепко солили сына,
И хлебом была — вода,

И посохом были — слезы,
И ветер бывал — сумой.
Не символ — степные грозы,
Но мне ли прийти домой?
...Числом своих лет искомым
Завет высоты храню:
Аэродромным громом
Отталкиваю родню.
И связи под корень рушу.
И все-таки неспроста,
Как стебель, питает душу
Жестокая высота.
Стучится в крылатом доме,
Как жилочка на виске,
Так память о черноземе,
О супеси и песке.
Заветный итог приемлю,
Которого суть одна:
Летят над землей
И на землю
Крылатые семена.

Виктор Боков

* * *

Черная графика зимнего сада.
Тяжесть свинцовых, опущенных век.
Яблок не видно, нет листопада,
Падает снег.

Падает снег.
Сад мой в сумерках глохнет,
Крыша под снегом, как совесть, чиста.
Снегом меня засыпает, и слов нет,
Сжаты уста.

Только синица вещает о чем-то.
— Пинь! — уронила и смотрит с куста.
— Как у тебя, дорогая, с ночевкой?
Есть ли места?

— Есть! —
И решительно перелетела
С ветки на ветку, с крыльца на крылец.
С жалобой лезть ко мне не захотела,
Вот молодец!

Ах! Какая зима молодая,
Как прямехонек в небе дым!
Как по снегу мы изголодались,
Как он жизненно необходим.

Ветки яблони припорóшил,
Мягко выстелил скаты крыш.
Взял в ладони его осторожно:
— Как живется тебе, малыш?

* * *

Я был у лета заезжим гостем,
Я был у лета залетной птицей.
Наслушался я песен вдосталь,
И мне пришла пора проститься.

Прощай, пригорок с земляничкой,
Прощай, ручей с водой хрустальной,
И лес, издревле знаменитый
Боровиками и гриздями.

ДАНАЯ

Однажды в садах, где-то рядом с Рязанью,
Когда я отправился на сеновал,
Так ярко светила звезда без названья,
Что я ее именем женским назвал.

Сияла, светила, дрожала в затоне,
Хоть лодку бери, отправляйся спасать,
Черты этой звездочки так я запомнил,
Что кистью подробно бы мог написать.

* * *

Все умирает под белым безмолвьем зимы,
Зелени взять бы мне где-то взаймы,
Цвета мать-мачехи и чистотела,
Чтобы природа умолкла — ты не хотела!

Скована льдами река, не играет волна,
Ты говоришь, что она не вольна,
Правильно, друг мой, ты слышишь, синица
запела?
Чтобы умолкнула иволга — ты не хотела!

Он не думая сразу растаял,
И ладонь моя как озерцо.
Очевидно, водица святая,
От нее загорелось лицо!

Сколько свежего скрипа и хруста,
Сколько звона в пространстве тугом.
Столько счастья, что на сердце грустно,
Столько грусти, что тихо кругом!

Прощайте, тихие поляны,
Нога в болотине увязла!
Где было ясно, там туманы,
Где было чисто, стало грязно.

Где было буйство летних красок,
Дрожит лесная паутина.
И пишет серое ненастье
Такую грустную картину!

Я в сено залег, но в соломенной крыше
Увидел — горит и зовет: — Приходи! —
И долго немолкнувший голос я слышал,
И чистое счастье теснилось в груди.

Не ты ли была это, радость земная,
И я не тебя ли разыскивал днем?
Не так ли к Рембрандту явилась Даная,
Перстами любви обожгла, как огнем?

Ты не хотела, просила: — О лето, продлись,
Птичий, пронзительный щебет исполни на
«бис». —

Роца листву уронила, осиротела,
Чтобы такое случилось — ты не хотела!

Ты не хотела! Просила: — Зима, подожди! —
Но зарядили надолго дожди,
Время и снегу явиться на землю пришло —
Ты не хотела!

Александр Николаев

Д'АРТАНЬЯН

Скачут кони,
их мышцы упруги,
под ногами упруга земля,
и упруги копыта, подпруги,
стремена, удила, трензеля.

На гнедом, вороном и кауром,
на саврасом,
аллюр три креста,
самым бешеным в мире аллюром —
через мост,
через пост у моста.

Каждый всадник,
насевший на шпоры,
от весеннего воздуха пьян —
три разведчика,
три мушкетера,
впереди молодой Д'Артаньян.

У печей кочегары,
как черти,
копошились у них на глазах.
Пролетели по лагерю смерти
армянин, украинец, казах...
Лагерь смерти стоит под расстрелом,
а на средневековый редут
три охранника женщину в белом
под охраной овчарок ведут.

Отвлечен, оглушен, ошарашен
крепостной гарнизон у бойниц,
что глазели,

как призраки,
с башен,
темнотой опустевших глазниц.

Так ли было все это,
не так ли,
но я так в сорок пятом году
видел все в черно-белом спектакле
в двухнедельном бреду,
как в аду.

И кровавое то воскресенье,
лагерь, вышку, фашистов на ней
и чудесное это спасенье
под расстрелом стоявших людей.

Но нелегкой ценою добыто
их спасенье.
Под шквалом огня
наш разведчик упал под копыта
своего боевого коня.

Мы его на плечах выносили,
кровь уже не сочилась из ран.
— Кто спаситель наш,
юный мессия? —
нас спросили.
— Ашот Вартамян.

Был салют над разведчиком смелым,
был закат, от пожаров багрян.
И скорбящая женщина в белом
повторяла в слезах:
— Д'Артаньян...

Вениамин Бутенко

ОБЕЛИСКИ

В небе, грозно и печально
Прорезая воздух,
Отражаются ночами
Обелисков звезды.

Звезды памяти военной —
Обелиски...

Обелиски...
Смертью, словно автогенном,
Озаряли мир мальчишки,

Рядовые и комбаты,
Задыхаясь горько,
В сорок первом, в сорок пятом —
Все четыре долгих года.

Пол-России, пол-Европы —
Где солдаты брали силы?—
Перерыли на окопы
И на братские могилы.

Давид Самойлов

ПАМЯТИ ЮНОШИ

Жаль юношу Илюшу Лапшина,
Его война убила.
За что ему столь рано суждена
Солдатская могила!

Остались письма юноши домой.
Их суть прекрасна.
А та, что не успела стать вдовой,
Его ждала напрасно.

Он был когда-то маменькин сынок
И перцу до войны не нюхал.
Но был мечтатель с головы до ног,
А вышел крепок духом.

И, вылетев из доброго гнезда,
Он привыкал к недолям.
И понимал, что горняя звезда
Горит над ратным полем.

А кто сказал, что с самых нежных дней
Полезней опыт слезный
И что высокий дух всего верней
Воспитывают розгой?

В профессорской квартире, где он жил,
В квартире деда,
Бывало, сизой тучей дым кружил
И за полночь текла беседа.

Мы прямо в сад сигали из окна,
Минуя двери.

* * *

Усложняюсь, усложняюсь —
Усложняется душа,
Не заботясь о прошедшем,
В будущее не спеша.

* * *

Что за радость! Звуки шторма
Возле самого окна.
Ночь безумна и просторна,
Непонятна и черна.

Море — тыща колоколен,
Ветер — пуще топора,

Я помню откровенность Лапшина,
Признанья в общей вере.

Вокруг весна, рассветная Москва,
Восторженные прозелиты.
Зарю поддерживали деревья,
Как темные кариатиды.

Здесь за забором и сейчас —
Тишайший Институтский,
А в двух шагах, торжественно светясь,
Ампир располагался русский.

Здесь улицы и парки Лапшина,
Здесь жил он, здесь учился в школе.
Но черной тучей близилась война.
И мы расстались вскоре.

Расстались. Как ровесники мои —
Навеки расставались.
И я не ведал о судьбе Ильи,
Покуда не отвоевались.

Прощай, Илья, прощай, Москва тех лет,
Прощай, бульжник Божедомки,
Больничный сад, где на воротах лев.
Весны блаженные потемки.

Прощай и ты, рассветная звезда,
Подобная сияющему глазу.
И все прощай, что прервалось тогда,
Жестокое, может быть, но сразу!..

Умножаются значенья,
Расположенные в ней.
Слово проще, дело проще,
Смысл творенья все сложней.

И готов валить под корень
Вековые тополя.

Что за радость! Непогоды!
Жизнь на грани дня и тьмы,
Где-то около природы,
Где-то около судьбы.

Прогулка по Москве

Татьяна Кузовлева

* * *

Москва возводит этажи.
Все приземленное — нелепо!
Стальными тросами свяжи
Груз, поднимающийся к небу.

О, как мне суть твою постичь?
Века сплетаются с веками.
Плита — к плите.
Кирпич — в кирпич.
И руки сведены с руками.

Москва, Москва,
Я дочь твоя,
Во мне твой века и камни.
Твой древний говор затая,
Роняю слог — и речь легка мне!

И уживаются во мне
Соседство терема с бетоном,
И алый флаг на том холме,
Где встал мой предок в веке оном.

Со лба откинувший шелом,
Отерший пот тыльцом ладони,
Он видел реку под холмом
И неба тихое бездонье.

Валететь бы соколом с холма,
Задеть крылом волну речную...
Но тверд был жест —
И терема
Раздвинули страну лесную.

Веков крутые виражи
Раздвинули немое небо.
Лети, душа моя,
Спеши!
Все приземленное нелепо!

Верши прекрасные дела,
Пока любовь над миром властна,
Пока еще запас тепла
Не израсходован напрасно.

Дина Терещенко

А В МОСКВЕ ВЕСНА ТАКАЯ

...Неспокойно что-то в мире. Землю словно лихорадит.
Нелегко смятенной лире. Тяжело моей тетради.

Где-то плачи. Кровь. Без крова где-то старики и дети.
Свое сердце, кров иль слово раздала бы всем на свете.

Лихорадит, лихорадит человечество большое.
Тяжело моей тетради, будто я всему виною.
Лихорадит всю планету, лихорадит, лихорадит...
Пулемет строчит ли это или радио?
Холостыми, огневыми, поздними да ранними,
Нашу землю пулевыми всю изранили.

О, как землю лихорадит! Неспокойно что-то в мире.
Нелегко смятенной лире. Тяжело моей тетради.

...А в Москве весна такая выдается ранняя!
Я тюльпаны покупаю, полыхаю пламенем.
В день субботний, в день апреля, посажу рябины куст.
Пусть растет. Пусть рдеет. Выстоит пусть!

* * *

На Садовой своей, спозаранку,
разнесчастная я горожанка,
позабыла, как птицы поют.
На балконе настурции чахнут
и настурциями не пахнут,
не поймешь — цветут не цветут.

Что бы значило бабье лето,
ведь уходит без слова привета?
Иль обиделось лето мое,
что не встретила честь по чести?

...На балконе сохнет белье
с облаками белыми вместе.

Булат Окуджава

ЕЩЕ ОДИН РОМАНС

В моей душе запечатлен портрет одной прекрасной дамы.
Ее глаза в иные дни обращены.
Там хорошо, там лишних нет, и страх не властен над годами,
и все давно уже друг другом прощены.

Еще покуда в честь нее все так же хор звучит хвалебно,
и музыканты все в парадных сюртуках.
Но с каждой нотой, боже мой, иная музыка целебна,
и дирижер ломает палочку в руках.

Не оскорблю своей судьбы слезой поспешной и напрасной,
но вот о чем я сокрушаюсь иногда:
ведь что мы сами, господа, в сравнение с дамой той прекрасной,
и наша жизнь, и даже дамы, господа?

Она и нынче, может быть, ко мне, как прежде, благосклонна,
и к ней за это благосклонны небеса.
Она, наверно, пишет мне, но... постарели почтальоны
и все давно переменялись адреса.

Игорь Кобзев

НОВЫЙ ЖИЛМАССИВ

Строительство жилищного массива
Пришлось, по плану, на второй квартал,
Когда в поселке пышно и красиво
Вишневый сад, запенься, зацветал.

Бурлил бетон. Жилища воздвигались.
Кого-то ждал счастливый переезд.
А между тем слезами обливались
Все девушки, все девочки окрест.

Что ж! План есть план! Бульдозеры и краны
Чужды порывам праздничной поры:
В молочный дым вонзились котлованы,
По жемчугам хлестнули топоры.

И, горечи хлебнувшие в излишке,
Мрачнели взгляды пожилых мужчин.
И горбились старухи. И мальчишки
Дрались все чаще. Даже без причин.

Леонид Латынин

ОСЕННИЙ ТАКСИСТ

Покатилось усталое лето
За зеленые с синим леса,
И поставлена горькая мета
На твои и мои голоса:

Хрипотцой, и отчетливой лаской,
И вниманием. Боже спаси,
Деревенской дорогой с опаской
Пробирается к дому такси.

И куда нас шофер вороватый,
Взглядом ворона черным сверля,
В меру мудрый и в меру крылатый,
Повезет, развалясь у руля.

Как дорога крута вдоль оврага,
В стеклах тускло качается мир,
Не поможет ни ум, ни отвага,
Коли званье твое пассажир.

Только все же наш ворон дотянет
До московских крутых фонарей,
В меру выпросит, в меру обманет
У старинных заветных дверей.

И умчится, ничем не терзаем,
И исчезнет дурачить других.
Ну а мы никогда не узнаем,
Кто служил нам от сих и до сих.

Раз мы дома — какая забота,
Сколько стоит и кто перевез?
Просигналит за окнами кто-то,
И забудется даже вопрос —

О распутице, в общем, приличной,
О ночной беспшабашной езде,
О зеленой неяркой, столичной,
На дожде догоревшей звезде...

Алексей Королев

* * *

Как канатоходец по канату,
я иду по старому Арбату,
у белиберды на поводу
я иду и ухом не веду.

Ни единым словом не перечу
девочке, шагающей навстречу,
у которой встреча не со мной
на Смоленской площади Сенной.

Стало быть, иду и в ус не дую...
Просадил я молодость впустую
в этих достопамятных и стах
столь же примечательных местах.

Понапрасну теплится и мнится
околесица и небылица,
удали и невидали след
на исходе трех десятков лет.

Вот и околачиваюсь здесь я,
чтобы не утратить равновесья,
а не то нырну в дыру двора —
и не через час, так полтора

попаду, всего скорее, снова
в Ясенево либо Бирюлево,
по которым сколько ни броди —
не на что позариться, поди,

памяти... Зато повергнут сразу
в состоянье, близкое к экстазу,
дюжие жилые этажи...
А поди попробуй предложи

первой встречной — жизни половину
и на Среднерусскую равнину
широко открытое окно,
скажет — спятил. То-то и оно.

Юрий Поляков

ПРОГУЛКА ПО МОСКВЕ

Как неярким апрелем припрятанный снег
От лучей посторонних,
Я ищу девятнадцатый век
В подворотнях.
Старый дом. В нем уже не зажжется окно:
Новоселье — поминки.
Мне шагать через век — от Бородино
До Ходынки.

Есть в модерне какой-то предсмертный надлом...
Переулки кривые.
Революция за поворотом. Потом —
Сороковые.
Где-то рядом автомобили трубят,
И дрожит мостовая.
Мне в глаза ударяет высокий Арбат.
Я глаза закрываю.

Юрий Шавырин

* * *

Весна в середине апреля,
Ночная гроза над Москвой
Как отзвук бескровной дуэли
Меж небом и грешной землей.

А я, недоверчивый слишком,
Заслышав таинственный гром,
Внезапно подумал о вспышке
За чьим-то далеким окном.

Да, той, затмевающей солнце,
Которой и город — мишень,

Впечатавшей тело японца
В асфальтовое клише.

Когда он, еще не калека,
Следил с любопытством за ней...
Да, грозы двадцатого века
Небесных стихий пострашней!

Послышалась вновь еле-еле
Далекого грома возня.
Весна в середине апреля,
Как ты напугала меня!

Лариса Румарчук

* * *

Мой ангел-хранитель смежил голубиные крылья
и голову спрятал от сполохов резкого дня.
От грохота века оглох он, ослеп, обессилел
и крепко уснул, забыв охранять меня.

Не знаю я слов, что спасли бы меня от обмана,
не знаю путей, помогающих зло обойти.
Послушайте, люди, одна я иду, без охраны:
мой ангел-хранитель уснул у меня на груди.

Все в мире как прежде: реклам разноцветные спектры,
ночных площадей и строительных кранов размах.
Сквозь атомный век я иду по гудящим проспектам
с усталым младенцем, со спящим ребенком в руках.

Валентин Катаев

ПОЭЗИЯ — ЭТО МУЗЫКА

Какое влияние оказывает на меня, как на прозаика, поэзия?

Постараюсь не слишком пространно ответить.

Я, как и большинство прозаиков, начинал со стихов. Стихи пописываю и до сих пор. Однако это ничего не объясняет. Писать стихи — это еще не значит быть поэтом. Писать прозу — это еще не значит быть писателем.

Стихотворство и поэзия понятия не равнозначные. Быть версификатором — это еще не значит быть поэтом. И наоборот. Часто прозаик более поэт, чем признанный стихотворец.

Поэзия — это то, что необходимо присутствует во всех видах литературного творчества. Или, вернее, необходимо должно присутствовать, потому что без поэзии литература уже не литература, а лишь пародия на литературу.

Поэзия — это внутренний ритм. Это особое видение мира, это творческое самочувствие, похожее на состояние сомнамбулизма, когда художник подчиняется таинственным, непознаваемым законам воображения, наконец поэзия — это музыка.

Все лучшие образцы мировой поэзии и прозы пронизаны музыкой.

Таким образом, можно сказать, что разница между прозой и стихами не так уж велика. Разница чисто формальная. А по сути дела разницы, собственно, нет.

Каждый хороший, подлинный романист, новеллист, драматург — прежде всего поэт.

В Художественном театре во времена Станиславского и Немировича-Данченко авторов театра обычно называли — поэт. Поэт нашего театра. Независимо от того, писал ли он в стихах или в прозе.

Толстой назвал Чехова Пушкиным в прозе. Толстой сам был поэт в прозе, не говорю уже о Гоголе. Даже Достоевский, наиболее прозаический русский романист, был поэт, потому что в самой пучине его прозы всегда слышалась великая музыка скрытой поэзии.

Я бы, конечно, мог развить эти отрывочные мысли, придать им более стройности и убедительности. Но для чего? Для истинного поэта мои мысли должны быть совершенно ясны. А версификатор их все равно если и поймет, то сделает вид, что не понимает.

* * *

...и вот Москва — сплошная рана.
Иду. Еще сыро и рано.
Бульвар. Он забинтован весь,
Как возвращающийся с Шипки,
Весь в марле. Весь в крови. И здесь
За мной бредут мои ошибки
По розовеющим следам
На перевязку. Мимо. Рана.
Афиша. Мимо! Рана. Храм,
Где Пушкин обвенчался... Рана.
Здесь, в ресторане... Рана. Там
Дом на Никитской. Рана. Мимо!
Мимозы на стекле, и дым,
И розы на щеках любимой.
И Тимирязев... Рана. Мимо!
Рысак и снежный столб над ним...

1922, Москва

САМОГОН

Неповоротливая как медведь,
Зима обсасывает лапу тут,
Где примусов пожарных блещет медь
И розы синие, гудя, цветут.

Спиртовый запах — острые шипы,
И над шипами — радуга стрекоз,
И сонный сахар брагою шипит
К кадушке под подушкою взасос.

И среди сада цинковых реторт
Под смуглым окошком-потолком
Не Мефистофель, а московский черт
Над хмелем вертит шерстяным хвостом.

Царевна Софья, самогон готов!
Тащи бидоны, ведра волоки!
Под свист и грохот пьяных соловьев
Осоловели весело зрачки.

И розы вянут. Только за окном
Над Чистыми прудами ночь светлей.
Морозным пламенем охвачен дом
И соловьи стеклянные саней.

Как мне уйти от этого огня?
Как в этих синих розах не сгореть?
Метель спиртовая, носи меня,
Я все равно не перестану петь!

1922, Москва

СОЛОВЬИ

В половине шестого утра
разбудили меня соловьи:
— Полно спать. Подымайся. Пора.
Ты забыл, что рожден для любви.

— Ты забыл, что над люлькой твоей
зеленел упоительный рай.
А тебе говорили: «Убей!
Не люби! Ненавидь! Презирай!»

— И покуда ты спал не дыша
без желаний, без чувств и без слов,
как слепая блуждала душа
по обугленным улицам снов.

— Как слепая таскалась она,
оступаясь на каждом шагу.

«Я была для любви рождена —
не могу убивать, не могу!»

В половине шестого утра
разбудили меня соловьи:
— Полно спать. Подымайся. Пора.
Ты забыл, что рожден для любви.

Я проснулся и тихо лежал,
на ладони щеку положив.
О, как долго, как страшно я спал
и как странно, что я еще жив!

И как странно, что я не сражен,
что над миром царят соловьи,
и что мир не для смерти рожден,
а для счастья, добра и любви.

Переделкино, 5 июня 1945 г.

Сергей Марков

КИНЕМАТОГРАФ «ХИВА». ГОД 1920

И толпа по-своему права —
Подавай ей громкие картины,
У кинематографа «Хива»
На плакатах скачут бедуины.

...Мгла пустынь, похожая на сон,
И нашивки черные пилотов,
Бравый Иностранный легион
Целый день лежит у пулеметов.

Темной кровью землю обогрив,
Уползая за кусты мимозы,
Умирает благородный рифф,
Льются глицериновые слезы.

Пошlostью заезженных легенд
Веет от потертого экрана,
Над тобой сейчас висит Ташкент,
Холст заката, рваного как рана.

И напротив у больших дверей —
Портупей начищенные пряжки,

Бороды хивинских главарей,
Шлемы и зеленые фуражки.

Ведь эпоха гордостью детей
До краев наполнится, как соты;
Строгий вход в Иллюзион Страстей
Сторожат клинки и пулеметы.

И плакаты дела и борьбы
Утверждают право человека
Славу исторической судьбы
Уложить в одной двадцатой века.

Перечтет история сама
Все дела от Пянджа до Аракса!
Пленного высокая чалма
Склонена перед портретом Маркса.

Жителям ущелий и пустынь
Зов газет нетерпеливей моря —
Новая, гортанная латынь
Воскликает: «Побежденным — горе!»

КРОПОТКИН В ДМИТРОВЕ. ГОД 1919

Князь анархистов, древен и суров,
И лыс, и бородат, как Саваоф,
Седой зиждитель громоносных сил,
На облаках безвластия парил.

А город древен... На его холмах
Бывал, быть может, гордый Мономах,
Степных царевен легкие шатры
Алели у подножия горы.

На крепостной зубец облокотясь,
Стоял, гордясь, русоволосый князь,
И сизая горящая смола
На вражеские головы текла.

И город слышал половецкий вой,
Не дрогнув золотою годовою,
Спокойным сердцем отражал напасть...
В каком столетье начиналась власть —
Власть разума над черною бедой,
Власть спелых нив над темною ордой?

...Скрипит разбитый уличный фонарь,
Тревожится уездный секретарь:

Князь анархистов — видит весь народ —
По Гегелевской улице грядет!

На нем крылатка, на крылатке львы,
Венец волос вокруг львиной головы.
Он говорит: «О граждане, молю,
Скажите мне — где улица Реклю?»¹

Сегодня ночью, в буре и грозе,
Приснился мне великий Элизе,
Он прошептал, наморщив мудрый лоб,
Два слова: «Чекатиф», «Церабкооп».

И я проснулся... Страшно и темно,
Стучит ветвями яблоня в окно,
И, половину неба захватив,
Пылает в тучах слово «Чекатиф»!

Внезапно гром промчался и умолк,
И шар земной окутан в черный шелк;
Анархия — могучая жена
В полночный шелк всегда облечена!

¹ Элизе Реклю — известный французский географ, автор Всемирной географии «Земля и люди», русская часть которой составлялась при участии Кропоткина.

Пошлю письмо в холодный Петроград,
Там шлиссельбуржец — мой седой собрат,
Отгадчик тайн, поэт и звездочет,
Он письма на полные прочтет!»

Но тут вмешалась баба, осердясь:
«Совсем заврался, недобитый князь!
Не знает, что такое «Церабкоп»!
Там выдают по праздникам сироп,
Овес толченый и морковный чай,
А сам проговорился невзначай,
Что справил бабе шелковый салоп...
Ты лучше б ордер выправил на гроб».

Воскликнул князь: «Святая простота!
Моя жена могучая — не та,
С которой дни я вместе коротал,
Я образ облакаю в идеал!»

«Протри свои бесстыжие глаза,
Не кутай в одеяла образа,
Когда народ сидит без одеял,
Когда кругом разут и стар и мал!

* * *

Где-то падают метеориты.
У поэтов не хватает ни чернил, ни слов.
А вы живете и спокойно и сыто
В Омске на улице Красных Орлов.

Где-то в океане гибнут канонерки,
Многих отважных и юных нет в живых,
А вы ежемесячно ходите к примерке,
Благодетельствуя бедных портных.

И пожалуй, вовсе не было б хуже,
Если бы в вашу жизнь ворвался разлад,

И улицу ты ищешь неспроста.
Уж мы-то знаем здешние места:
Проспект Демьяна — вот он, напрямик,
Налево — Пролеткультовский тупик,
Пустырь, что раньше звался Разлетай,
Теперь бульвар товарищ Коллонтай.
А от бульвара первый поворот
На улицу Утопии ведет».

...В толпе проходит высоченный поп,
С ним конвоир. Поп вытирает лоб
И говорит, лопату опустив:
«Я знаю, что такое Чекатиф!
Я славлю мудрость переходных лет.
Служитель культа — он же культпросвет.
Дни провожу-с в смиренье и труде
И коротаю срок свой в ИТД.
Да здравствует Камилл Фламарион!
Мне в брэнной жизни помогает он.
Отбуду срок, на пасеку уйду
Покоить старость в пчелах и в меду.
Окрепнув, станет милосердной власть,
Она не даст и волосу упасть!»

Если бы вас соблазнил усатый омский
хорунжий
Этак лет пятнадцать назад.

Пусть бы вы его не забыли долго —
Усы, погоны, дым папирос...
Но вы не нашли такого предлога
Для тайных вздохов и мучительных слез.

1930

КУЛИСЫ

Я слышал, как пенье, брожение
И голос темных кровей...
Божественное вырождение
И родинки у бровей.

Блестят пеньковые путы,
В лесу веревочных струн
Кривляются лилипуты
И бродит стройный плясун.

Здесь можно навек затеряться
Среди размалеванных морд,

В лохматой листве декораций
Скулит опереточный черт.

Тревога приводит к удушью,
Скорее бы дождь и гроза!
Зачем тяжелою тушью
Ты обвела глаза?

Быть может — прости Создатель
За смертную маету —
Высокий шпагоглотатель
Похитит мою мечту?

ЯЗЫК ДЕТЕЙ

Шумят сады, и солнечные пятна
Горят слюдой на голубом песке,
И дети говорят на непонятном
Нам, взрослым, океанском языке.

Я слушаю, не находя ответа...
Кому, скажите, понимать дано
Косноязычье светлое поэта
И детский лепет, темный как вино?

Арсений Тарковский

, * * *

В последний месяц осени, на склоне
Горчайшей жизни,
Исполненный печали, я вошел
В безлиственный и безымянный лес.
Он был по край омыт молочно-белым
Стеклом тумана; по седым ветвям
Стекали слезы чистые, какими
Одни деревья плачут накануне
Всеобесцвечивающей зимы.

И тут случилось чудо:
на закате
Забрезжила из тучи синева,
И яркий луч пробился, как в июне,
Как птичьей песни легкое копье,
Из дней грядущих в прошлое мое.
И плакали деревья накануне
Благих трудов и праздничных щедрот
Счастливых бурь, клубящихся в лазури,
И повели синицы хоровод,
Как будто руки по клавиатуре
Шли от земли до самых верхних нот.

* * *

Душу, вспыхнувшую на лету,
Не увидели в комнате белой,
Где в руках милосердых колдуний
Нежно теплилось детское тело.

Дождь по саду прошел накануне,
И просохнуть земля не успела:
Столько было сирени в июне,
Что сияние мира синело,

И в июле, и в августе было
Столько света в трех окнах и цвета
Столько в небо фонтанами било
До конца первозданного лета,
Что судьба моя и за могилой
Днем творенья, как почва, прогрета.

* * *

Влажной землей из окна потянуло,
Уксусной прелью хмельнее вина,—
Мать подошла и в окно заглянула,
И потянуло землей из окна.

— В зимней истоме у матери в доме
Спи, как ржаное зерно в черноземе,
И не заботься о смертном конце.

— Без сновидений, как Лазарь во гробе,
Спи до весны в материнской утробе,
Выйдешь из гроба в зеленом венце.

* * *

Сколько листвы намело... Это легкие наших деревьев,
Опустошенные, сплюснутые пузыри кислорода,
Кровли птичьих гнездовий, опора летнего неба,
Крылья замученных бабочек, охра и пурпур надежды
На драгоценную жизнь, на раздоры и примиренья.

Падайте наискось наземь, горите в кострах, дотлевайте,
Лодочки нищих сульфид, у нас под ногами.

А дети

Северных птиц улетают на юг, ни с кем не прощаясь.

Листья, братья мои, дайте знак, что через полгода
Ваша зеленая смена оденет нагие деревья,
Листья, братья мои, внушите мне полную веру
В силы и зренье благое мое и мое осязанье,
Листья, братья мои, укрепите меня в этой жизни,
Листья, братья мои, на ветвях удержитесь до снега...

Виктор Кочетков

ХЛЕБ ВОЙНЫ

Колючая вьцветь морозного дня.
Январь сорок третьего года.
На «тридцатьчетверке», в разводах огня,
В Оскол привели мы свободу.

В стремительной сшибке отброшен был враг.
Утихло неистовство грома.
И старый, истыканный пулями флаг
Взметнулся над зданием райкома.

Продрогшие пленные жались к стенам,
Проход очищая для танков.

И старая женщина вынесла нам
С поклоном ржаную буханку.

И всех нас, любви материнской полна,
Дрожащей рукой осеняла.
На черный свой хлеб вместо соли она
Счастливые слезы роняла.

Бессонною памятью жив человек.
Былое — как минное поле.
Я хлеба того не наемся вовек
С кристаллами жгучими соли.

* * *

В белой роще птица откочала.
Белый сад забылся кратким сном...
Вот оно, судьбы моей начало,—
Низкий дом с калиной под окном.

Старый дом, сосновый пятистенок,
С тяжким скрипом ходких половиц,
С гулким мраком выстуженных сенок,
С тонким писком мышек-полевиц.

Я давно знаком здесь с каждой вещью.
Этой жизни я изведал вкус.
Дедовского посоха навершье
Приткнуто к дверному косяку.

Печь с высокой задоргой,
Полати.
Стол дубовый. Флоксы на окне.

О Христе и Понтии Пилате
Пять наклеек старых на стене.

Зеркальце, мигающее слепо,
Да печной заглушки медный круг.
И неистребимый запах хлеба.
Вечный запах материнских рук.

Тонкою провздернута струною,
Занавеска выцвела давно.
Горечью полынною, земною
Тянет в приоткрытое окно.

Отчий дом!
Никак не надышусь я
Этим горьким запахом земли.
Бури века, что прошли над Русью,
Выдуть этот запах не смогли.

Глеб Еремеев

ЗАКОНЫ ТВОРЧЕСТВА

Я слушал ветер, слушал воду,
Я слушал гром и тишину,
Шагал из ведра в непогоду,
В небытие потом шагну.

Достигну солнечной короны,
Постигну сердца тайный стон,
Все изнутри взорву законы,
Как неба голубой бутон.

Поверил я, что все возможно,
И невозможного ищущу
И все, что странно, все, что ложно,
В действительное превращу.

По звуку цвет, по цвету запах,
А звук по запаху прочту.
Вселенная мою мечту
На звездных вынянчила лапах.

Геннадий Русаков

РОДСТВО

Сладко мне пожилось-попилось,
голытьбе, продолжателю рода,
на железной земле поспалось
под присмотром большого народа!

Русаковы, скупая родня!
Отзовитесь — охрипну от воя:
«Кто-нибудь — отыщите меня
в детприемнике под Лозовою!

Я от плача осип в детдомах,
я в раздаточных пайки ворую.
У, как скудно в моих закромах —
я гнилыми жмыхами пирую.

Кто я вам — пятиуродный брат?
Однокровник по ветке убогой?
Тридцать лет и три года назад,
отыщите меня, ради бога!»

Тем не нужно — молчат, ни гугу.
Из могил не услышат другие.
Сколько жил, а теперь не могу —
дорогие мои, дорогие...

Где я вас растерял по земле?
Где золою родство наше стало?
Хоть ладони погрею в золе...
Опоздал — и ее разметало.

Михаил Синельников

ПЕСНЯ ДОЗОРНОГО

На белой отмели песков,
У плеса синих вод
Встает высокий город Псков,
Как башен хоровод.

Безлюдья голос ветровой.
Богатство наготы.
И веют прахом и травой
Потайные ходы.

Сухие улицы кривы́.
И куполов кули,
И храмов белые грибы
Растут из-под земли.

И город прочно в почву врыт,
Кремнистый, костяной.

И лето красное горит
За крепостной стеной.

Я с башни вижу синеву
И далее пелену.
И пусть стрела пробьет траву.
Весло качнет волну.

Но пусть скорей пронизет боль
От сердца до бедра.
И польский раненый король
Привстанет у одра.

Большого неба не обнять,
Не тронуть облака.
И, засыпая, не понять,
Куда течет река.

Виктор Фёдоров

АТАКА

Нам ясен долгий путь!
А. Блок

1

Это было не просто
отдавать ни за грош.
Это было не просо
и не клевер, а рожь.
И ее на привале
мы,
в поту и пыли,
как попало топтали,
а потом подожгли.
Не вчера ли о злаках
нам давался урок?!
Как же сердцу не плакать —
выпал этакий рок!
Шел мальчишка с Плющихи
среди дыма, огня,
а повсюду гречихи
«кудри белые дня».
Он в бою двухнедельном
бился словно во сне,

наступая под Ельней,
отступая к Десне.

2

По врагу стреляли первыми
с воздуха штурмовики,
их атаки были верными,
нам — длиннее марш-броски.

Наступали все стремительней,
шли из боя снова в бой.
По полдня у истребителей
в небе цели ни одной.

Пункты щерились опорные,
в них все щели на засов,
были там бои упорные
и по нескольку часов.

Пушки грохали набатом,
долго землю била дрожь.
Вспоминали мы с комбатом
дальний бой, родную рожь.

Сергей Красиков

* * *

Течет звезды серебряное пламя.
Звонит тугой серебряный камыш.
И ты посеребрёнными губами
Серебряные речи говоришь.
А степь блестит, как шкура горносталя,
И хочется навеки уберечь
Ночной звезды серебряное пламя,
Родной души серебряную речь.

Эдуард Балашов

ПЕТУХ

Тихие дали. Темные дали.
Где же дороги мои запропали?
Поле рабочее. Скошенный луг.
Снова от сна отряхнется петух.
Снова я встану босой на дощак.
Снова ударюсь виском о косяк.
Вышибу двери и рухну под клеть.
«Здравствуй,— скажу,— я пришел умереть!»

Тихие дали. Темные дали.
Где же вы сердце мое закопали?
Поле рабочее. Скошенный луг.
Пашню мою разгребает петух.
«Стой, не кричи, не кричи мне зарю!
Клюй мое сердце, клюй!» — говорю.
Вскинул петух заревой гребешок.
Жизнью моей окровавлен восток.

Тихие дали. Ясные дали.
Там вы нашли меня, где потеряли.
Поле рабочее. Скошенный луг.
По двору ходит вразвалку петух.
«Ты разбудил меня в полночь?» В ответ:
«Ку-ка-ре-ку! — прокричал.— Тебя нет».
«Ты ли склевал мое сердце?» В ответ:
«Ку-ка-ре-ку! — прокричал.— Тебя нет».

Тихие дали. Ясные дали.
Нету во мне ни тоски, ни печали.
Поле рабочее. Скошенный луг.
Облако пашет сверкающий плуг.
Кто там за пахаря? Мне он знаком!
В белой рубахе идет босиком.
«Здравствуй! Я смерти найти не могу!»
«Нет тебя! Нет тебя! Ку-ка-ре-ку!»

Владимир Осинин

* * *

От развороченного пирса
Большак ползет куда-то ввысь.
Вдруг грузовик остановился:
— Куда, прохожий, ты? Садись!..

Мне помогли забраться в кузов.
Шоферу крикнул кто-то: — Жми! —
Не сомневаюсь, я не узнаю
Своими кровными людьми.

Ползет машина вперевалку,
Словцо соленое и смех.

Наплась приветливая чарка
И колбасы ломоть — на всех.

На них и роботы и бахилы.
Не говорит никто про жизнь.
Как фараоновы могилы,
Курганы торфа поднялись.

О вы, ребята-работяги!
Я понял все — недаром сед.
И не найду в себе отваги
Сознаться, что я ваш поэт.

Степан Щипачев

— Степан Петрович, какие стихи Вы хотите опубликовать в «Дне поэзии» в год Вашего восьмидесятилетия?

— Отрывки из поэмы, где как раз размышляю о книгах, поэтах, о месте и значении поэзии.

У КНИЖНЫХ ПОЛОК

Топчусь возле полок, у книжной
 негромкой державы моей.
 На полках — от верхней до нижней —
 томам все тесней и тесней.

Расплывчатый дождика росчерк
 на окнах, и ветер продрог.
 Давно уже голые рощи
 печально стоят у дорог.
 Ни золота в полдне, ни меди.
 Тускнеют и книг корешки...
 Поэма, нетрудно заметить,
 без правил, всему вопреки.

Штыками на всех перекрестках
 щетинятся дни Октября.
 На ленточках черных матросских
 блестят на ветру якоря.
 Сигнал с Петропавловской. Зимний
 оглох от пальбы и замолк.
 Не скоро рассеялся синий
 на царском паркете дымок.

«С историей это согласно», —
 Джон Рид записал. У костра
 с солдатами в отблеске красном
 он будет стоять до утра.

В Россию влюбленный до боли,
 Не Блок ли, сутулясь, идет?
 Метель разыгралась на воле,
 по строчкам поэмы метет.
 Не ветер, а время по реям,
 И Горький с волной говорит,
 где «Песня о Соколе» реет
 и кровью на скалах горит.

Есть книги — как дождик по крышам,
 как милый приветливый кров,
 и книги, которые дышат
 простором на стыке ветров.
 Счастливые книги, в которых
 несмолкшее время хранит
 и гул орудийный «Авроры»,
 и гул, где взрывали гранит,
 где пахло железом и потом,
 судьбой котлованной земли
 и шпалами, что по болотам,
 по дебрям таежным прошли...

На полках условный порядок,
 но главное все ж под рукой.
 Те книги, которые рядом,
 все ж важно, какая с какой.
 Живой Маяковского голос
 не смят, не спрессован в томах:
 то в залах огромных, то в школах
 напомнит о смолкших громах.
 Есенин, как чудо, как диво,
 идет, но не слышны шаги.
 Строфу из «Персидских мотивов»
 усыпали роз лепестки.
 Он так и остался в пехоте,
 наш Теркин. Минули года,
 а он по страницам проходит
 все тот же, как в роте тогда.
 Стихов пастернаковских грани —
 как в небе над дачей звезда,
 как первые в утренней рани
 за дальним леском поезда.
 Строкою Багрицкий приветил.
 Он в ней птицелов и горнист:
 услышим и сабельный ветер

и пеночки утренний свист.
А эта на полку попала
недавно, но мне дорога.
В ней шапкою Янка Купала
все машет мне издалека...

Все книги как книги. Но эти
на полке особо стоят.
Им родинки — кто не заметит —
оставила муза моя.
Она и сегодня покоя
не знает, и сон ей не в сон,
когда над счастливой строкою
светлеет неюным лицом.

Но что о себе? Я не молод,
но в чем-то еще и не стар,
в крутых переделках не молот,
хоть вышел давненько на старт.
Оглянешься — мета за метой,
а где-то — и год и число.
Песками горячего лета
следы мои не занесло.
Я свыкся и с белой зимою.
Пусть в жестких поземках она,
замет дорогих не размочит
на сердце ее белизна.
А теменью вечность нахлынет,
в секунды последнего дня
забытая горечь полыни
из детства дойдет до меня.

Что время! Неважно, с какого
истока событий река.
От века до века другого
дорога совсем недолга.

Шекспира тяжелая слава
лежит на тяжелых томах,
и томиком тоненьким справа
прижалась к ним скромность сама.
В старинный сафьян переплета
чернильное вьелось пятно.
Не стерлась еще позолота,
но слава слиняла давно.

Ой, сколько их музу любил!
Но мало осталось таких,
чью к берегу славу прибило
волнами столетий других.
Безжалостна мертвая Лета.
Был трепет и мысли полет,
и все-таки имя поэта
плитой придавил переплет.
Не знаю, круты иль пологи
у мертвой реки берега.
Незримая из мифологий
течет она через века.
Над нею ни звезд, ни туманов,
не меряна и глубина,
от груза стихов и романов
не стала, так станет мутна.

Ах, есть она, тихая радость
вдруг вспомнить нестершийся стих!
Тома за стеклянной оградой.
Добро потоптаться у них.
Добро со словами привета,
как дверь переплет отворить,
то к Блоку зайти — попроведать,
то к Тютчеву поговорить.

1975

Алексей Шитиков

* * *

Затоскуешь по родине —
И натянется трос
Между прожитым в городе
И селом, где ты рос,
И какая-то трещина
Поползет по душе —
И желанная женщина
Не спасает уже,
И работа не ладится,
И стремленья пусты,
Словно лопнула матица
Самой главной мечты...

А ведь что там, на родине?
Рай там, что ль, е мое? —
Все на той же колодине
Треплют бабы белье,
По буграм вереницею
Растянулись дома,
Старики седолицые
Всё вздыхают: «Корма!..»
Та же хлябь на болотине —
Не пробить колею...
Что за сила на родине
Тянет душу мою?..

В воспоминаниях современников

Михаил Квливидзе

«УШБА»

В начале 50-х годов я, аспирант тбилисской Академии художеств и никому еще не известный грузинский поэт, приехал в Москву, чтобы здесь жить и работать. У меня уже была семья — жена и ребенок, но не было еще жилья и работы. Все нужно было начинать сначала и прежде всего — обратить на себя внимание окружающих, а для этого найти кого-нибудь из русских поэтов, кто согласился бы перевести хоть одно мое стихотворение. Но ни с кем из русских писателей я тогда не был знаком, знал только их фамилии. Одна из них звучала для меня особенно громко — Заболоцкий! Я часто слышал это имя в Союзе писателей Грузии, его любовно произносили с трибуны наши маститые литераторы Симон Чиковани, Георгий Леонидзе, Бесо Жгенти... Мне даже казалось, что я где-то видел знаменитого русского поэта и нашего переводчика: то ли в городе Мцхета, в Светицховели, на храмовом празднике, когда он вместе с Леонидзе разговаривал с крестьянами, то ли в доме Симона Чиковани, в каком-то застолье... Во всяком случае, я хорошо помнил высокого старца с белой, как вата, бородой, одетого в холщовую «толстовку» и с суковатой палкой в руке. Почему-то мне казалось, что это и есть Заболоцкий — переводчик «Витязя в тигровой шкуре», поэм Гурамишвили и Важа-Пшавела...

Смелость, граничащая с нахальством, всегда свойственна молодости. Спросите любого молодого поэта, кого он считает своим учителем, и он назовет вам кого-нибудь из великих классиков, но никак не своего современника... Мне тогда тоже казалось, что если кто и может перевести мои стихи, то только человек, переводивший Руставели... и я, разувая в отделе кадров Союза писателей адрес Заболоцкого Николая Алексеевича, отправился на Беговую улицу, прямо к нему, не позвонив по телефону и не предупредив его о своем визите.

Дверь мне открыл сам хозяин, и... я остолбенел! Вместо старика с бородой, которого я мысленно представлял себе всю дорогу, передо мной стоял небольшого роста, коренастый человек с короткой шеей и круглым, бритым лицом. Человек был одет в полосатую пижаму. На носу его поблескивали похожие на дупы, толстые стекла очков. На щеках, как от мороза, лежал розовый румянец.

Я представился.

Заболоцкий обрадовался, как только услышал слова «Грузия» и «Тбилиси», и пригласил меня в дом. Он был один. Пошел на кухню и, по-стариковски шаркая ногами, принес оттуда бутылку телиани. Протянул мне штопор (помню, это была вырезанная из дерева кошка с винтообразным металлическим хвостом). Потом мы заговорили о московской погоде, о наших общих знакомых в Грузии, о живописи... короче, обо всем, кроме стихов, и я понял, что хозяин догадался о цели моего прихода и нарочно уводит разговор в сторону. Уже больше часа сидели мы за столом и говорили о русской живописи XVIII века: о Левицком, Боровиковском, Антропове, Рокотове... (У Николая Алексеевича в ту пору резко ухудшилось зрение, и он, как мне ка-

залось, говорил о картинах с каким-то странным воодушевлением.)

Наконец тема разговора иссякла, и я, воспользовавшись затишьем, вытащил из кармана подстрочник своего стихотворения «Ушба», сделанный мною же самим.

— Нет-нет,— сказал Заболоцкий, выслушав мою просьбу.— Я сейчас работаю над «Словом о полку Игореве» и ничего не перевожу!

— Даже посмотреть не хотите? — спросил я.

— Какой смысл? Все равно не смогу перевести.

— Ну хорошо,— сказал я, вставая и собираясь уходить.— Давайте сделаем так. Я оставлю вам подстрочник. Вы на досуге прочитайте его. Кто знает, может, понравится и переведете... Я вам и телефонный номер записал... Если что,— позвоните... А не позволите, я пойму. Спасибо за все.

Через несколько дней Николай Алексеевич позвонил мне и недовольным голосом велел зайти к нему.

Повторилось то же самое, что и при первой встрече: был стол, бутылка телиани, известный мне штопор в виде кошачьего хвоста и разговор о Грузии, об общих знакомых, о живописи... обо всем, кроме того, ради чего я пришел. И вдруг неожиданно хозяин меня спросил:

— А много у вас стихов?

— Штук двести,— ответил я и сразу же пожалел о том, что из скромности уменьшил цифру.

Маленькие глаза Заболоцкого за толстыми стеклами очков сощурились, превратились в две светящиеся точки:

— Так много?.. А у меня и пятидесяти не наберется. А ведь я вдвое старше вас...

Мне стало не по себе, а Заболоцкий, заметив мое замешательство, вдруг заговорил о том, как трудно писать вообще, а особенно с годами, когда всякий уважающий себя поэт должен наконец перестать «клеивать воздух обоями» (он процитировал Пастернака с одобрительной улыбкой) и заняться всерьез делом, тем самым, которыми занимались Баратынский и великий Тютчев (я запомнил, что он назвал именно этих двух поэтов). Потом Николай Алексеевич встал и вышел в свой кабинет. Вернулся он с двумя листками бумаги, на которых было что-то напечатано.

— Вот, послушайте...— сказал он, усаживаясь напротив меня и смущенно отводя от меня взгляд.— Я тут перевел, не знаю, что получилось...

И он начал читать мою «Ушбу».

«Ты задремала, забыв над кроватью свет погасить, и раскрытая книга брошена возле кровати, и ветер трогает шторы на окнах открытых...»

Это был замечательный перевод.

На другой день я отнес стихи в редакцию. Редактор прочитал их и сказал:

— Будем печатать, только попросите Николая Алексеевича перевести их рифмованными стихами.

— Но ведь они написаны белым стихом,...

— А я не люблю белые стихи.

Я позвонил Заболоцкому. Господи, как он рассердился! И не столько на редактора, которого обозвал «тупицей», сколько на меня за то, что я пошел на поводу у редактора и уже готов был согласиться с его предложением... Кончилось дело тем, что стихи напе-

чатал другой редактор (в журнале «Октябрь») и в таком виде, в каком они были переведены.

Это короткое воспоминание о Н. А. Заболоцком, наверное, похоже на любительскую фотографию, — оно мимолетно, расплывчато, но все-таки может заинтересовать читателя тем, что достоверно.

Евгений Долматовский

ОН ВОЕВАЛ СТИХОМ И ПЕСНЕЙ

В 1942 году я приехал повидаться со своей семьей в городок Чистополь, ставший ненадолго крупным литературным центром. В Чистополе находились тогда в эвакуации старые писатели и семьи многих писателей-фронтовиков.

Чистополь был тогда невелик, и не мудрено было, что в день приезда я встретился на улице с Пастернаком и Исаковским. Оказалось, они живут в соседних домах. Я получил приглашение на чаек и постучался вечером к Исаковскому. Оказалось, что у него за столом уже сидит Борис Леонидович Пастернак. Перед ними на тарелке лежали медовые соты. Человеку, не представляющему себе обстановку военных времен, может показаться странным сочетание этих двух писателей, но я не удивился. Я знал, что недавно уехавший из Чистополя Александр Фадеев соединил здесь своей дружбой самых разных людей.

Во всяком случае, Исаковский и Пастернак сидели за столом в бревенчатой избе, в той части, которая в деревнях именуется залом. За дощатой перегородкой тихо разговаривали женщины.

Нет сомнения в различии, во всяком случае — биографии и эстетических позиций, этих двух крупных советских поэтов, но у них были такие общие черты, как предупредительность и внимательность к людям, — вот они и были друг к другу внимательны.

Исаковский пригласил меня за стол, пошутив, что соты на базаре он купил исключительно, чтобы ускорить приобретение пилотажного самолета или танка для фронта. Потом и Михаил Васильевич и Борис Леонидович попросили меня рассказать обо всем, что там — под Москвой и Харьковом. Пастернак вздыхал, мычал и ахал, а Исаковский проявил удивительное знание фронтовых дел, куда более подробное и точное, чем мои впечатления.

Понимание военной обстановки было для слабого здоровьем поэта как бы заменой невозможности пребывания на фронте. Но была у него и другая возможность воевать, и он ее блестяще использовал. Он воевал стихом и песней. Я знаю, что многие читатели-воины и читатели в тылу полагали и уверенно считали, что Исаковский находится на фронте.

Песни были его представителями на всех фронтах и в тылу. Можно еще сказать, что у Исаковского был на войне свой личный представитель. Конечно же речь идет о Твардовском. До меня Твардовский успел побывать в Чистополе, и Михаил Васильевич рассказывал Пастернаку и мне, какой радостью была для него встреча с другом.

А теперь его волновало — как там на фронте Саша Твардовский?

Мне запомнилось стереоскопически: изба, освещенные лучами лампы лица Исаковского и Пастернака. Рассказываю «чистопольцам» о фронтовой жизни...

У нас в редакции газеты «Красная Армия» был

один общий мифический герой — «купянский дед». Уж не помню, кто первым пустил в оборот образ старика, выходящего по утрам на платформу станции Купьянск (она оставалась в разграничии нашего фронта) и беседующего с проезжающими в теплушках к фронту и в санитарных поездах — в тыл — красноармейцами.

Купьянский дед задавал им вопросы, но только сам на все вопросы и отвечал. Он позволял себе весьма острые суждения и нелицеприятную критику. Не только противнику доставалось от него, но и своим.

О «купянском деде» рассказывали все, но Твардовский уверял, что это мировой старик, что он один с ним подружился и ведет наиболее важные и пророческие беседы только с ним.

Если кто-нибудь из сотрудников газеты «Красная Армия» задавал товарищу сложный вопрос, ответ был один: «Спроси у купьянского деда!»

Когда я рассказал Исаковскому и Пастернаку об этом нашем возмутителе спокойствия и утешителе, Михаил Васильевич сразу определил: «Сашина работа! Неужели вы не узпали в образе этого купьянского старика деда Данилу, любимого героя Твардовского, «сквозного» персонажа многих его стихов? Вот вы говорите, что Твардовский называл «купянского деда» мировым стариком. А в стихах про Данилу это уже было:

Потому-поскольку —

Мировой старик».

И Исаковский прочитал на память еще несколько строф из «Данилы».

Позже, в 50-х годах, я напомнил Михаилу Васильевичу о «купянском деде» и Даниле. А он улыбнулся: «Все одно к одному: конечно, фольклорный Данила был у Твардовского разгоном для Теркина. Помнишь, как они оба, по воле поэта, парились в бане?»

Может быть, читающему эти строки покажется странным: встречаются не очень близко знакомые друг с другом поэты в суровое время, а занимаются рассказыванием баек, шуток и анекдотов?

Да, да, да, именно так было. Встречи поэтов не совещания, не симпозиумы, не коллоквиумы, а были бы они таковыми — не стоило бы писать воспоминания.

Еще об Исаковском и Пастернаке. В ту пору одному из них шел только пятый десяток, а другому — шестой. Оба были почти насильно увезены от опасности, считали, что с ними поступили несправедливо, тяжело переживали свою физическую немощь и удаленность от событий войны. И это их сблизало. Что касается взглядов на литературу, эстетических принципов, то не надо представлять Исаковского скучным примитивистом, а Пастернака — злостным усложнителем. Если бы реже поэтов раскладывали по разным полочкам и противопоставляли друг другу, куда больше пользы было бы для литературы.

Валентин Кузнецов

РАЗЛИВАЕТСЯ СВЕТ

Разливается свет под рубахой,
Щекотливый бежит по руке.
Лес стоит под еловой папахой
Весь в черемухе, как в молоке.

Проступают родимые пятна
На его на усталом лице.
Это солнышко. Это понятно.
От него и теплынь на крыльце.

Ты прозяб, мой давнишний дружище,
От костров на боках твоих гарь.
Ты в мое загляни-ка жилище
И за чаем про жизнь погутарь!

Ты на время забудь про гнездовья,
Ведь еще не окрепла листва.
Почему под тяжелою бровью
У тебя залегла синевая?

И большая слеза навернулась
И ослабла высокая речь?
Может, птица твоя не вернулась,
Та, что море пыталась зажечь?

Сам я знаю, о чем твоя дума,
Чем душа изнывает, поверь...
До весны. До зеленого шума
Невозможно прожить без потерь.

УЛИЦЫ ВЕДУТ К ТЕБЕ

Все улицы ведут к тебе,
Все тупики, откуда нету выхода,
И переулки все ведут к тебе,
За исключением Кривоколенного.

Асфальт, посоленный с утра,
Вокзальный зал, набитый чемоданами,
Сквозняк, живущий в комнате моей,
Все это мне принадлежит, любимая.

Все дети тянутся к тебе,
Для них ты солнце в шапочке и ботиках.
И на снегу бумажные цветы
Живыми, глядя на тебя, становятся.

Трамвай, отбегавший свой век,
На свалке лет, забытый пассажирами,
Всю молодость возивший на себе,
Кого напоминает он, любимая?

Обернутые в боль слова
И грубые слова, как выстрел резкие,
Не для тебя лежат в моей душе,
Пока живу на свете я, любимая.

И если грянет горький час,
Во гнев и ненависть вся плоть оденется.
Ведь это славно умереть за то,
Чем жил,
Что пел
И чем дышал, лю-би-мая!

Николай Тряпкин

ИЗ БЛОКНОТА

1

Раскисли, как тесто, поля и дороги,
Зашлепаны грязью машины и дроги,
В жибель погрузилось родное селенье,
И очень подмокло мое настроенье.

Вода прибывает, идет на посевы.
Куда-то пропали и старцы и девы.
И в срочном порядке спасать кукурузу
Гоноу я свою безответную музу.

2

Храни геройское бесстрастье
И не кляни природу зря.
В любую стужу и ненастье
Горит парнасская заря.

Румяный Феб идет с приветом,
И Музы пляшут и поют
И к нам сияющих поэтов
Из дома творчества ведут.
1958

* * *

Черная, заполярная,
Где-то в ночной дали,
Светится Русь радарная
Над головой Земли.

Над глухотой арктической
И над гульбой стилияг
Крутится тот космический,
Тот заводной ветряк.

Невидадь ты ушастая!
Гаечный нетопырь!
Громко тебе приятствую
Или твержу псалтырь.

Пусть ты не сила крестная
И не исчадь зла.
Целая поднебесная
В лапы твои легла.

ЛЕБЕДИНАЯ ПЛЯСКА

Друг, посмотри,
Друг, посмотри:
Раз-два-три!
Раз-два-три!

Звончатый, злой, голосистый лед.
Скрипка ликует, скрипка поет,
Два тамбуриста подначивают,
Три гармониста подшучивают.
Рраз! —

и коньки поворачивают,
Тройки, восьмерки выкручивают.
Раз-два!
Раз-два!

Ах ты, юность русская,
Рукавичка узкая,
Стрижечка заморская,
Девочка загорская!
Раз-два!
Раз-два!

А конечки-лебеди!
Хлопцы, мать их вдребеди,
С Волока да с Виледи —
На единой выледи!
Раз-два!
Раз-два!

Русь ты моя глобальная!
Знаю твою беду:
Скрипкою величальною
Дьявола не отведаю.

Бредится иль не бредится,
Только у той скирды
Чую Большой Медведицы
Огненные следы...

Сторож Млечного пояса!
Свято твое копые.
Стонет радарным полюсом
Бедное сердце мое.

Пусть я не тварь господняя,
Но и не червь земли.
Небо и преисподняя
В песни мои легли.

Звончатый, злой, голосистый лед,
Сверху — горящий вселенский свод.
Юность, юность! Лебяжий пляс!
Дай не померкнуть в такой вот час!

Дай мне закатной роздыми,
Солнышка на юру!
...Сколько их там пред звездами
Встало, открыв кобуру!

Пусть их стоят — бездарные,
В руки зажав стилет.
С девочками шикарными
Спляшем земной балет.

С дружескими поклонами
Спросим у бога так:
Звездами иль патронами
Райский набит чердак?

Звездами иль патронами?!
Дай прямые слова.
...Эй вы, коньки с пижонами:
Рраз-
Два!

Лев Смирнов

* * *

Человек пришел в этот дольний мир
Не затем, чтоб выть на звезду в ночи,
А затем пришел, чтобы справить пир,
Золотой испечь каравай в печи.

От железа он соловья спасет
И не даст пропасть родникам живым.
От медвяных трав, от пчелиных сот
Отведет рукой ядовитый дым.

Журавлиху он не спугнет с гнезда
Колесом своим, шестерней своей,

И, когда в руках заблестит звезда,
Не взомнит себя всех отцов мудрей.

Не по книге он свой построит дом,
Золотую дверь не запрет на ключ.
Будет тайна жить под стенным углом —
Еле слышный скрип укрошенных туч.

Не построит жизнь он себе во вред,
В красный угол он не посадит смерть.
Не распашет холм, не растратит свет,
Не развеет прах, не разымет твердь.

ЗВОННИЦА ПОД ГРОЗОЙ

Звонница кружится перед глазами,
Тяжкие ливни шатают ее.
Тучи идут из Перми и Рязани,
Чудится в близком, в родном — не свое.

Без молодого воскресного звона,
Без перламутров и без бирюзы
Звонница, словно царица без трона,
Под золотыми бичами грозы.

Молнии прыгают в щели оконниц,
Гром на дверях отмыкает засов.

Звонница, вздрогнув от близости звонниц,
Тянется к ним из-за хмурых лесов.

Ветошь чащобную рвет непогода,
В пасмурном небе свистит небосвод.
Белая звонница в круг хоровода
Нежно вступает и павой плывет.

Целые дни, побратавшись с громами
И неживым изменивши богам,
Кружатся звонницы между холмами,
Белые лица подставив дождям.

* * *

На земле книга лежит из цветов и трав.
Что ты понял, дитя, эту книгу перелистав?

Не встречались ли тебе между зеленых страниц
Черные тени потревоженных бурей птиц?

Не смутил ли тебя на листьях серый налет —
Пепел древних стоянок, круживший века напролет?

Не обжег ли ты руку об огненный чертополох —
Цвет чистилища, затерявшийся между эпох?

Когда в шорох травы ты детским вникал умом,
Не слышал ли стука подков за полынным холмом?

По руке твоей, что касалась стеблей тугих,
Не лилась ли кровь позабытых предков твоих?

Ты листал эту книгу над рекою склоненных трав, —
Ты услышал ли скрип ковчега у фронтовых переprav?

С корнем выдернул ты из земли стебелек голубой, —
Ты почувал ли дьявольский гуд над своей головой?

Павел Антокольский
1896—1978

Наши
публикации

О СЕБЕ

Я старше двадцатого века на четыре года, в июле 1976-го мне исполнится восемьдесят лет. Я помню слишком многое, чтобы оно могло здесь уместиться. Помню, как восьмилетним мальчиком впервые с родителями приехал из Петербурга в Москву и услышал крики газетчиков о трагедии Цусимы и о смерти Чехова. Через год, в декабре 1905 года, в переулке рядом с домом, где мы жили, выросла баррикада, а на следующее утро она была разбита царскими войсками. Так непроизвольно вторгалась история в детство... Время шло отнюдь не с той скоростью, к которой мы привыкли в конце века. На окраинах великого города тоскливо перекликались тяжелые паровозы, а по утрам к ним присоединялись фабричные гудки. В гимназии я учился посредственно, хотя и любил уроки литературы и латынь. К началу первой мировой войны был нерадивым студентом юридического факультета, а втайне мечтал о театре, так что со второго университетского курса забросил государственное и римское право ради драматической студии в одном из московских переулков. Ею руководил Евгений Вахтангов. Поскольку актера из меня не вышло, весь избыток духовных сил целиком ушел в поэзию. И стихи извергались из меня как из помпы. Мне предстояло найти свое лицо. Этому помогли два обстоятельства. Первое было в самом явлении Александра Блока. Через его поэзию я понял значение м е т а ф о р ы, как некоей волшебной силы, преобразующей мир. Еще важнее и насущнее была в 1918 году встреча и дружба с Мариной Цветаевой. Она была старше меня на четыре года. От нее первой я услышал не только одобрение моим стихам, но и пронзительную их оценку: Марина угадала во мне такого же мастерового, каким была сама, а я понял, что не боги горшки обжигают, что кроме таких высоких категорий, как вдохновение и восторг, существует простая, поденная работа. Так начиналась жизнь поэта. В 1921 году мои стихи впервые были напечатаны в альманахе, который

редактировал Валерий Брюсов. Через год вышла первая книжка моих стихов, за нею пошли и другие. Но моя связь с театром не обрывалась, так что в 1923 году я вместе с вахтанговцами побывал за рубежом, в Швеции и в Германии. Послевоенный, голодный и страшный Берлин произвел на меня сильнейшее впечатление и оказался отправной точкой для многих будущих поисков и находок. Время было горячее, да и молодость в самом разгаре. Еще в студии я писал романтические пьесы, одна из которых пошла на сцене, а сцена, по словам Шекспира, была «пригодна лишь для боя петухов», так мала была она. В дальнейшем, уже в театре имени Евг. Вахтангова, я поставил «Коварство и любовь» Шиллера, потом в Горьком на автозаводе с комсомольской молодежью «Женитьбу Фигаро», «Ромео и Джульетту», «Лес» Островского, а также ряд современных пьес. В те времена с повелительной силой заявляла о себе принадлежность к определенному поколению — поколению 20-х годов, которое волей истории начало нашу поэзию. Не ища друг друга, мы встретились далеко не случайно, как сверстники и соратники, — Багрицкий и Тихонов стали моими друзьями, несколько позже к нам присоединились те, что моложе, — Луговской, Светлов, Кирсанов. До рези в глазах было очевидно, что каждое десятилетие нашего века окрашено резко по-своему, у каждого своя неповторимость, свой музыкальный напор в мировом оркестре. Так было в 30-х, 40-х, 50-х годах и дальше вплоть до сегодня. Для меня, в частности, это означало, что как поэт я служу трубачом и пропагандистом истории, творимой на наших глазах и в ничтожной степени каждым из нас. Для поэта этого достаточно, чтобы расти и изменяться, как говорится, «до полной узнаваемости». В 40-х годах я усиленно работал как журналист и как военкор в армии: война ко многому обязывала. Дальше меня ждали непоправимо трагические утраты. В 1942 году смертью храбрых пал мой восемнадцатилетний сын Владимир

Антокольский. В 1968 году, под самый Новый год скоропостижно угасла моя жена и возлюбленная, подруга всей жизни Зоя Бажанова. Как известно, трагедия может вывернуть человека наизнанку, но в конечном счете человек поклонится трагедии в ноги за громовой урок о торжестве жизни. Такой вывод не оптимистичен. Вообще оптимизм мировоззрение плоское, равно как и пессимизм. Они, как два зеркала, стоят друг против друга: что в одном справа — в другом слева, только и всего! В продолжение всех лет, оставшихся здесь за кадром, я продолжал странствовать и по необъятным просторам нашей родины, и за ее рубежами. От Парижа до Пекина, от Стокгольма до Вьетнама, от Новосибирска и Томска до Югославии — расстояния огромны. Но не географическими расстояниями характерна в наше время жизнь художника. Существует и четвертое измерение — ВРЕМЯ в его загадочной сущности. Мои странствования по времени перекрывают все другие странствования. Осмелюсь утверждать, что был

рядом с Робеспьером накануне десятого термидора IV года республики, что в пятнадцатом веке нашей эры бедствовал и погибал вместе с Франсуа Вийоном. Еще раньше, в IV веке нашей эры, был в триклинии у Диоклетиана. А если говорить о совсем незапамятной дали веков, то я вспоминаю встречу с Нефертити за четырнадцать веков до нашей эры. Пускай только не заподозрят здесь шарлатанскую мистификацию в духе старика Калиостро. Дело обстоит проще и заключается в способности поэта, художника, артиста к перевоплощению. Других секретов не существует. На этом я могу кончить. Здесь многое недосказано. Оно остается на совести автора. Но дело облегчено тем, что все досказано в моих книгах. Современная жизнь характерна рекордными скоростями, ускорением этих скоростей и ускорением самих ускорений. Вот отчего каждая отдельная жизнь есть не что иное, как фрагмент, оборванный на полуслове.

[1976]

ПРОБУЖДЕНИЕ

Никогда Тебя я не увижу,
Никогда не встречу на земле.
Только будут ангелы все ниже
Пролетать за окнами во мгле...

Ах, как грустно... И никто не знает,
И никто не может утешать.
Только видит: время ускользает
И грустит взволнованная мать.

Я пройду, как все мы, не оставив
На пути и малого следа,
И мечты о женщинах и славе
Канут в мир, как падает звезда.

Злая боль снедает дни и годы,
Я навеки Твой. А Ты — ничья.
И в лицо безжалостной природы
Брошен поздний вызов: это — я.
Зима 1915 г.

* * *

О, это утро — Твой подарок
Всем, кто целуются и пьют.
Старинный Город — чист и жарок.
Девчонки розы продают.
Ты возникла над кроватью —
Сквозь груды книг, сквозь пепел роз
В серебротканом пышном платье,
В короне золотых волос.
Я знаю — жар чугуновой розы
Закован в башне облаков.

И молния — копьём угрозы —
Свисает к трубам чердаков.
Но над окраинами — выше —
Над перьями свистящих рощ —

Танцуешь Ты на плоской крыше,
Моя возлюбленная — Дождь!
Кнуты стреляют по оврагам,
Скрипят мосты под конским шагом,
Трещит качелями ольха,
И песня выдает злодея,
И мальчики пускают змея,
И ведьма режет петуха.
И пьяного портного стойко
Удержит от мечты дурацкой
Утюг, припрятанный в карман,
А то бы над ночной попойкой
Взлетел за скрипку кабацкой
К тебе на свадьбу — в твой туман.
Лето 1918 г.

* * *

Петербург. Арка Штаба разбита.
Дует ветер над серой Невой.
Только цокают в полночь копыта
По торцовой сухой мостовой.
И в каналах в гранитные глыбы
Бьется проседь понтонной реки.
И в садках заморожены рыбы.
И на верфи бушуют станки.
Там — Путилово, Сормово, Тула...
Там — ремни приводные снуют.
Там — как флейты, ружейные дула
Отвечают на пушек салют.
Там — слезящийся глаз карборунта
Крик из глотки заводов исторг,
Будто радиус Красного Бунта
Размахнется в Берлин и Нью-Йорк.
В центре Города — треском петарды

Рассыпаются тени карет.
Августейшие кавалергарды
Прозевали фельдмаршальский бред.
Смотрят вверх площадей истуканы,
Видят — флаг, и на флаге — Орла.
Как последней попойки стаканы,
Эрмитажа звенят зеркала.
Не глухим гренадером разбужен,
Не прощен и солдатским штыком,
Павел Первый на призрачный ужин
Входит с высунутым языком.
И, вставая сиреной кронштадтской,
Льется бронзовый грохот Петра —
Там, где с трубками, в буре кабацкой,
Чужестранные спят шкипера.

Лето 1918 г.

БАЛЛАДА МУЗЫКАНТА

Ты уж не леденеешь от скрипок и люстр
И от ярости, сжатой мехами в органах.
Только слушаешь музыку зим ураганных,
Прочный ход механизмов, их старческий хруст.

Сколько было на свете свиданий концертных.
Их нарядная пена давно улеглась.
Люди медленно дышат в пустующих центрах,
Расплывается пир умирающих глаз.

Вот опять загорелся описанный точно
До мизинца разыгранный город...

И там
По горячим следам, по сгоревшим мостам,
Под стеклом ювелира и в желобе сточном,
Между льющихся лиц и лежалых вещей
Посвети напоследок, найди мою старость,
Дай мне руку!

Скриплю я, как дохлый Кощей, —
Но и ты ведь в одних зеркалах разблесталась.

Посмотри!

Вот ползет красноглазый старик,

Заштрихованный снегом на скользком бульваре.
Есть и флейта у этой трагической твари,
А у флейты от холода скрюченный крик.

Это Тореадор и пролог из «Паяцев».
Узнаешь? Это я.

Но еще не конец!
Можешь спать и не спать, целовать и смеяться.
Он не спутник тебе, не жених, не отец.
Он когда-то согрел тебя в грубых ладонях,
Посвети, не качайся, лихой огонек.
Видишь?

Вот уже время свернулось у ног.
И кончается песня.

Ты медленно тонешь.

Расплывается пир умирающих глаз
В белых пятнах и перьях, в сиянье морганья.
Сжавши душу, как музыка сжата в органе.

Спи, не бойся.

1977

Публикация Н. П. Антокольской

Валентин Распутин

МНЕ ЧУДИЛАСЬ ПОЧЕМУ-ТО ЛАСТОЧКА

Старое, порядком истасканное, но не истинное ли оно — сравнение поэзии с чудом и тайной полета над грешной землей. Таким всегда, с самых ранних лет, когда я еще не знал букв, было у меня ощущение от расходящегося и снова сходящегося, как взмахи крыльев, рифмованного слова. Уже первая строка возносила в небо, ритмика и энергия стиха придавали птице определенный образ и наделали ее заботой, радостью ли, с какой она устремлялась в полет.

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя... —

и мне чудилась почему-то ласточка (то, что ласточки улетают на зиму в теплые края, не имело значения), которая, изнемогая от усталости, летит встречь тому ветру к своему гнезду и, попеременно то подныривая под жестокие его порывы, то снова взмывая вверх, в конце концов благополучно добирается до теплого и тихого своего пристанища и под слова: «Выпьем с горя: где же кружка? Сердцу будет веселей», — накрывается крылом и утомленно закрывает глаза.

Гораздо позже без всякого затверживания, одним прочтением я запомнил и не мог не запомнить известное фетовское:

Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнию твоей.
Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна — любовь, что нет любви иной,
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.

И с тех пор много лет я пытаюсь рассмотреть незнакомую мне, высоко над головой парящую птицу, незвонко и внятно выводящую в счастливой истоме свою Песнь Песней. Но мне не дано разглядеть ее: человеческие глаза для этого слишком слабы, а она не в состоянии опуститься ниже своего волшебного горизонта.

Не зря издавна существует этот образ — «крылья поэзии», означающий, очевидно, легкость, звучность, выразительное богатство и емкость стихотворного слова.

Но поэзия меняется и, как мне кажется, в последнее время тяжелеет. Если у нынешней поэзии есть крылья, то они чаще всего металлические, на которых способно доставлять грузы на наши великие стройки, высекать жар путевых впечатлений («нынче здесь, завтра там») и вливать свой ритмический гуд в общее могучее гудение прогресса. И когда вспоминает поэзия, что и зачем она есть, она уже не в силах вернуть себе животворное, богом данное сердце вместо вставленного «пламенного мотора» — и ее мучительные, чаще всего безуспешные попытки в этом смысле хорошо заметны.

Но это, разумеется, не вся поэзия. Это основное течение, правило, из которого не может не быть исключения. Литературу же двигали вперед всегда именно исключения. Хотя — если говорить про общую направленность — похоже, что литература давно уже, пускай и с остановками, с внушающими порой надежду дальними обходами, спускается тем не менее со своих высот вниз, и пики Пушкина, Фета, Тютчева и Блока в поэзии, как и пики Гоголя, Достоевского и Толстого в прозе, никогда не будут взяты.

Анатолий Тихомиров

* * *

Склонился жаркий день к закату,
коснулся скошенной травы,
и горизонт приял отраду
его лучистой головы;
и женщины, плывя над сеном,
сгребли шуршащие валки,
собрали грабли и степенно
пошли к излуцине реки;
вполголоса заговорили,
о чем-то о своем смеясь...
Спираль нагретой нежной пыли

вокруг лодыжек обвилась.
И водомерка наблюдала
из-за листка во все глаза,
как через прутья чернотала
волной цветистого обвала
перекатилась, пробежала
живая женская краса.
Ее вобрал, широк, осанист,
как завершающий труды,
осокорей тяжелый танец
над красным лезвием воды.

Татьяна Сырыщова

* * *

Лейтесь, лейтесь, небесные слезы,
струи плавленого хрустала!
Разгуляйтесь, июльские грозы!
Покажи свой характер, земля!

Ведь не все же с глубоким поклоном,
если мимо идет кто-нибудь,
костянику на блюде зеленом
ставить под ноги: не обессудь!

* * *

Я покупаю семена,
зародыши зеленого.
Ладонь моя полным-полна
народца затаенного.
Он мелок, неказист и прост,
и что уж тут хорошего?
А сколько вспыхнет ярких звезд
из точечного крошева!

Я покупаю семена,
толкаемая жаждою:

* * *

Там, где дружат с дубами птицы,
где и в зной зелена трава,
стала мне являться — не сниться —
говорящая голова.

Я лишь слепок такой видала:
гор и пропастей плотный ком,
будто шар земной из металла,
и глаза под высоким лбом.

Сколько знает и сколько помнит!
Обо всем ли скажут слова?
Груз большой человеком поднят.
Целый мир — одна голова.

* * *

На руках ветвистые набухали жилы,
кожу всю изрезала складчатая сеть...
Как же эти сморщенные руки я любила! —
зная, что недолго мне на них смотреть.

Эти руки век свой прожили не праздно,
не чурались черного, чистого труда.

Люди думают: ты терпелива,
много вынесешь, не закричишь.
Взвейтесь, розовых молний извивы,
разорвите примолкшую тишь!

Небо, выплесни все свои слезы,
дай почувствовать грома размах
там, где вдруг потемнели березы
на цветущих под ливнем холмах.

пусть будет сплошь заселена
жильцами клумба каждая.
— Прохожий люд, — скажу я, — рви! —
я запаслась терпением.
От прадедов в моей крови
привязанность к растениям.

Я покупаю семена,
без счета деньги трачу я.
Мороз, а на душе весна —
цветистая, горячая.

В ней события, судьбы, лица,
длится шествие книг, картин,
и цветут на каждой странице
кадмий, киноварь, крон, кармин.

Трудно с музою быть в разлуке.
Пусть не рвется и эта нить! —
самых сложных симфоний звуки
тоже в памяти могут жить.

На древесные ветви-плечи
плещет брызгами синева.
Улыбаясь идет навстречу
говорящая голова.

Руки безобразные были так прекрасны,
что глаза слезами наполнились тогда.

Молча вспоминала я, у постели стоя,
как меня — ребенка — в доме берегли.
Бабушкино старое сердце золотое
солнцем опускалось к темноте земли.

ИЗ ЦИКЛА «МИФЫ»

1. МЫСЛЬ

...враги филистерства, то есть все
мыслящие и страдающие люди.

К. Маркс

Иоанн постиг умом софиста:
истина сурова и проста
в час, когда открыл он триединство
в белоснежном облике Христа.
От копья еще саднила рана.
Люди еще жили наобум.

С той поры по воле Иоанна
связаны страдание и ум!..
Проходя неуловимой гранью,
человек берет за пядью пядь,
подчинясь священному желанью
в этом мире мыслить и страдать.

2. ДОМ

Соблазн опять велик задуматься глубоко,
как Пенелопа ждать, как Пенелопа пряхь,
и в гулкой тишине живую тайну бога,
зевнув с трудом в ладонь,
негаданно украсть,
но к днищу корабля уже давно налипли
медузы и рачки неведомых морей.

И вот уже давно толкуют на Олимпе:
— Куда ты, Одиссей? Вернись домой скорей,
чтоб чашу воспринять с ладони домочадца,
чтоб головой кивать с жужжащей прялкой
в лад!..
Но Одиссей домой не хочет возвращаться,
давно простор морской надежней во сто крат.

3. МАНОН

Уже опять двоится все в округе.
И ты двоись, да и меня раздвой!
И вот уж в милой, да и в лучшем друге,
Манон Леско,
я вижу облик твой!
Двадцатый век не знает постоянства,
на всем лежит двуличия печать...

Мне страшно!
Век, лукавя, постарался
запутать все и все перемешать.
Одна лишь шпага Де Грие прямая!..
А сам упал перед тобою ниц.
И век упал, все выше подымая
шпионов, и актеров, и блудниц.
Париж

4. КАФЕ

Я видел раз в простом кафе нарпита,
как человек корпел над холодцом,
трагическую маску Эврипида
напоминая сумрачным лицом.
И видел, как, быть может, взявший ссуду
и к чашке кофе заказавший ром,
сидел старик, похожий на Иуду,
подсчитывая сдачу серебром.
А раз видал, взяв порцию салата
и взглядом обведя жужжащий зал,
как человек массивным лбом Сократа
на столике небубранном лежал.

КУКУРУЗНОЕ ПОЛЕ

Даже горькой порою улыбнусь поневоле,
Видя перед собою кукурузное поле.
Много песен пропето про пшеницу и жито,
Только ты не воспето, только ты позабыто.
Было в давние годы: налетят янычары —
Все в домах опустеет — чердаки и амбары.
Все бы с голоду пухли и в могилы осели.
Хорошо хоть, что турки мамалыгу не ели!
Чтобы души утешить при турецкой неволе,
Ты как жизнь зеленело, кукурузное поле.
Только иго не вечно — нету вечного ига!
Ты ж спасла молдаван — вечной будь, мамалыга!

Нелегко было в детстве поднимать мне мотыгу.
Но под вечер легко мне было есть мамалыгу.
Да и детство не вечно... К сельской маленькой школе
Ты меня провожало, кукурузное поле;
Но и там, что ни осень, оставляя тетрадки,
Собирать мы ходили золотые початки.
Жаль, и школа не вечна. Дорогими полями
Уходил я в солдаты с вещмешком за плечами,
Грустно солнце кружилось, как телок на приколе,
Над созревшим тобою, кукурузное поле...

В карауле полночном я стоял не с мотыгой,
Все ж луна мне казалась золотой мамалыгой.
Но и это не вечно — караульное бденье:
Есть и в жизни солдатской отдых — день увольнения!
Я бродил по дорогам, очутившись на воле;
Вдруг вдали показалось кукурузное поле!
С незнакомой дороги я сорвался стрелою,
Чтобы в массе зеленой утонуть с головою!
Но под этим прохладным, бедным северным летом
Ты меня привечало невеселым приветом:
Слабо выросли стебли — по колени, не боле,
На песчаной земле, кукурузное поле...
И побрел я в казарму, огибая рябину,
К своему замполиту, к своему карабину.

И припомнил я юность, лето пыльное, в зное,
И тебя — молодое, и тебя — золотое.
Каждым утром росистым я вставал спозаранку,
И на диком проселке я встречал молдаванку.
Вместе с ней... ну, ты помнишь... лебеду мы пололи.
Кукурузное поле! Кукурузное поле...

Павел Шубин
1914–1951

Наши
публикации

Стихотворения Павла Шубина широко известны и любимы читателями. В архиве поэта сохранились произведения, до сих пор не опубликованные. Предлагаем их вниманию читателей «Дня поэзии 1979».

ЛЕНИНГРАД

Этот город бессонный, похожий на сон,
Где сияющий шпиль до звезды вознесен,
Город башен и арок и улиц простых,
Полуночный, прозрачный, как пушкинский
стих,
Снова он возникает из мглы предо мной,
До безумия — прежний, до горя — иной.

Перерублен садовых решеток узор,
Под ногами валяется бронзовый сор,
Вечный мрамор Атлантов в подъезде дворца
Перемолот, дымится под ветром пыльца;
И на жгучую, смертную рану похож
Жаркий бархат оглохших михайловских лож.

Что мне делать теперь? Как войти мне теперь
В этот раненый дом, в незакрытую дверь?
Здесь глаза мне повыколют жилы антенн,
Паутиной обвисшие с треснувших стен,
Онемят фотографии мертвых родных
И задушит зола недочитанных книг.

Ничего, я стерплю. Ничего, я снесу
Огневую — от бешеной боли — слезу.
На камнях площадей, на могилах друзей,
Всей безжалостной силой и верою всей,
Молча, зубы до хруста сжимая, клянусь:
— Ленинград, я к тебе по-иному вернусь!

По степям и болотам не кончен поход,
Над землею проносится огненный год,
На обломках Берлина ему затухать,
На развалинах Пруссии нам отдыхать.
И да будет, ржавая на наших штыках,
Кровь врага оправданием нашим в бегах.

Там, в проулках чужих городов-тайников,
В час расплаты отыщут своих двойников
Каждый дом, каждый листик с чугунных оград,
Каждый камень твоих мостовых, Ленинград!

Кто посмеет упрёком нас остановить,
Нас, из братских могил восстающих, чтоб
мстить?

Слишком мало обратных дорог у солдат.
Но возникнешь пред тем, кто вернется назад,
Воплощением наших надежд и страстей,
Ты — внезапный и вечный в своей красоте,
Как бессмертная сказка на снежной земле,
Как мгновенный узор на морозном стекле.

Февраль 1944 г.

* * *

Унося к Магнитогорску
Жалостный дымок берез,
Углей розовую горстку
В ночь просыпал паровоз.
Это мне дымок и пепел,
Стадом пахнувший вокзал:
Губ твоих дыханья не пил,
Не прощался и не звал.

Пред тобою птичьи дали,
Звезд бессонные посты,
За тобой прохотали
Одинокие мосты.

Только пепел мне остался,
Да и тот похолодел:
Не знакомился, не знаясь,
Только издали глядел.

С полки скорого вагона
Ты родному, своему
Так беспомощно и сонно
Улыбаешься во тьму.
Я во сне летучем не был,
И отныне мне близка
Поседевшая, как пепел,
Непонятная тоска.

15.IV.45

* * *

Кипящая хлябь Данигала,
Атлантики бешеный рев,
Где юность моя пробегала
Дорогою белых ветров, —
Опять вы на гребнях отвесных
Меня вознесли до звезды,
И мачты на гневную бездну
Кладут за крестами кресты.

— Напрасно: не будет спасенья,
Молчи, не моли, не зови!..
Так вот она, повесть осенней
Последней и горькой любви!
Как просто и страшно, как близко
Конец под ночью волной!
Но все ж упоение риска
Еще на мгновение — со мной,
И все же в моей еще власти
Любить, ничего не тая,
И ты, моя песня о счастье,
Последняя мука моя!

5.IV.47

Публикация А. П. Шубина

В воспоминаниях современников

Яков Козловский

УРОКИ МАРШАКА

...Маршак работал, писал статью о Твардовском. Лицо его казалось посвежевшим, ворот накрахмаленной до твердости рубахи был широко распахнут, обнажая морщинистую, худую шею. Рубаха топорщилась, заправленная в брюки «под ремень». Я сказал:

- Вы, Самуил Яковлевич, ясновидец.
- В каком отношении?
- Вы предсказали Твардовскому его будущее.
- Это правда, голубчик. Я когда-то сказал ему: «Вы будете первым поэтом нынешней России». Так оно и вышло!

Письменный стол был завален рукописями, письмами, книгами, и в этом хаосе мог ориентироваться только сам Маршак. В соседней комнате стучала на ундервуде машинистка.

Сколько достойнейших людей побывало в этой небольшой комнате, заваленной книгами на русском и английском языках, в комнате, редко проветриваемой, под потолком которой почти всегда висело марево табачного дыма. Маршак был заядлым курильщиком. На стене перед письменным столом портрет Пушкина из первого посмертного издания, с приложением руки «магушки цензуры». На противоположной стене — олеографическое изображение Бернса с лубочными картинками на сюжеты его стихов. Этот портрет был отпечатан еще в середине прошлого века и прислан в дар Маршаку одним шотландским крестьянином. На столе букет гладиолусов, на подоконнике — букет полевых цветов.

...— Мне повезло в жизни, — говорит Самуил Яковлевич, — она меня сводила со многими интересными людьми. Со Стасовым, который родился еще при Пушкине и знал Гоголя, с Алексеем Максимовичем Горьким, с Блоком, Шалапиным, Алексеем Толстым. Вспомнил, как какие-то борзописцы обругали Шалапина. Федор Иванович, огорченный, пришел к Владимиру Васильевичу Стасову. Стасов стал его успокаивать и сказал: «Вот я им покажу!» Через несколько дней появилась статья Стасова, в которой он в пух и прах разделал хулителей артиста.

...Я смотрю на портрет Стасова, что возвышается над креслом Маршака, и вспоминаю фотографию, запечатлевшую в 1902 году острогожского гимназиста, юного «Сама» (так ласково Стасов называл Самуила Маршака) и седобородого патриарха русской общественной мысли, великого художественного и музыкального критика. Мне довелось читать письма Стасова к Маршаку (сейчас они хранятся в Институте русской литературы Академии наук СССР). «Эко вечно мне везет! Все вот поминутно каких людей мне случается узнавать, видеть и слышать — то Мусоргского, то Бородина, то Гартмана, то Глазуна, то вдруг теперь этого маленького Сама», — писал в одном из писем Стасов Маршаку. А в письме от 15 августа 1902 года Стасов пишет о том, как он со скульптором Ильей Гинцбургом посетил Льва Николаевича Толстого, и, в частности,

сообщает Маршаку: «...среди всех наших разговоров и радостей, я нашел одну минуточку, когда стал рассказывать ему про новую свою радость и счастье, что встретил какого-то нового человека, светящегося червячка, который мне кажется как будто бы обещающим что-то хоршее, чистое, светлое и творческое впереди.

Он слушал, но с великим недоверием, как я вперед ожидал и как оно и должно быть. Он мне сказал потом с чудесным выражением своих голубых глаз и своею мощною, но доброю улыбкою: — Ах, эти мне «wunderkinder»! Сколько я их встречал и сколько раз обманулся! Так они часто летают праздными и ненужными ракетами! Полетит, полетит, светло и красиво, а там и скоро лопнет в воздухе и исчезнет! Нет! Я уже теперь никому и ничему между ними не верю! Пускай наперед вырастут и окрепнут и докажут, что они не пустой фейерверк!..

Я и сам то же самое думаю, и я тоже не раз обманывался. На этот раз немножко защищал и выгораживал своего новоприбылого, свою новую радость и утешение. Я рассказывал, что на мои глаза тут есть какое-то в самом деле золотое зернышко. И мой Лев как будто склонил свою могучую гриву и свои царские глаза немножко в мою сторону.

Тогда я ему сказал: — Так вот что сделайте мне, ради всего святого, великого и дорогого: вот, поглядите на этот маленький портрет, что я только на днях получил, и пускай ваш взор, остановясь на этом молодом, полном жизни лице, послужит ему словно благословением издалека!

И он сделал, как я его просил, и долго-долго посмотрел на молодое начинающее жить лицо ребенка-юноши.

Теперь же я тебе скажу, чего я тебе желаю, чего боюсь и на что надеюсь: первое, что ты никогда не переменишь своей веры, какие бы ни были события, обстоятельства, люди и отношения; второе, что ты будешь искать все больше и больше правды жизни, и будешь все больше и больше чуждаться риторики, красивых, но праздных слов и картин, пустых фейерверков и цветных иллюминаций; третье, что никакой успех и расхваливания не сдвинут тебя с настоящей дороги и не затемнят твою голову фольгой самомнения и мишурой нравленья толпы...»

Как далеко смотрел могучий Стасов, каким пророком был, как высоко ценил художественное истинное начало в человеке, одаренном от природы, какой нравственный урок преподавал своему юному ученику! Ни один писатель не может научить своего молодого ученика писать, но преподавать ему уроки жизни, уроки мастерства и, что главнее всего, уроки порядочности и доброты он не только может, но и обязан, если он сам истинный творец.

... А как умел чувствовать отеческий язык Маршак. Как умел смаковать он слово, любоваться тончайшими его оттенками, гранями, самым его звучанием.

— На английском или французском, — говорил он

мне, — может писать стихи любой профессор, а язык русский молодой, его стилистика чрезвычайно гибкая; все в нем почти девственно и первозданно. Заметьте, к примеру, какое удивительное слово «хо-хо-тать», как точно выражает действие, как непосредственно, словно в устах дикаря. А какое емкое слово «беда», вернее «бядя». Это книжники изобрели слова-синонимы: «горе», «печаль», «тоска», а крестьянин раньше говорил «бядя», и была в этом слове такая безысходность, что, кроме тяжкого вздоха, после этого слова ничего не могло звучать...

Яков Шведов

ОБРАЗ ФАТЬЯНОВА

Алексей Фатьянов. Сейчас ему было бы всего лишь шестьдесят, но нельзя говорить в прошедшем времени о нем и его песнях. Жизнь Фатьянова продолжится в песнях, потому что в них так ощутима судьба рядового советского человека.

Мне все нравилось в Алексее. Нравилась его статья, походка и даже бахвальство. Высокий ростом, широкоплечий, с румянцем «во всю щечку до височка», как у доброго молодца из русской песни, он был аристократичен в самом лучшем понимании этого слова. Впервые я встретился с ним в серенький зимний день у подъезда Дома композиторов. Он стоял на ветру, широко распахнув полы нарядного пальто с большим и очень пыльным бобровым воротником. И в это мгновение был похож на кустодиевского Шалаяпина.

Осталась в памяти и встреча с Фатьяновым на праздновании годовщины Дня Победы — 9 мая 1946 года. В так называемом дубовом зале нашего Дома писателей были покрыты столы, от света хрустальных люстр в графинах синела водка, на бутылках с винами дрожали багряные и оранжевые пятна. В зале — не протолкнешься. Алексей Сурков читает еще не опубликованное стихотворение о собственном корреспонденте. Фронтвики долго аплодируют ему.

— А теперь, товарищи, послушайте меня! — кто громко говорит с антресолей. — Я написал сто песен. Сейчас в честь Дня Победы я спою сто первую.

На левой стороне антресолей все увидели розовощекого Алексея Фатьянова. В зале наступила тишина. Фатьянов лукаво и молодо запел еще никому не известную тогда песню о летчиках, у которых «первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом».

Он допел свою сто первую до конца. Возбужденный аплодисментами, спустился в зал и легко нашел место за чьим-то столиком...

Как-то пришлось мне обедать вместе с Фатьяновым, Павлом Радимовым, Василием Сидоровым в нашей писательской столовой. Мы не спешили расходиться. Алексей оглядел нас троих так, будто не знал до этого, и несколько заносчиво сказал:

— Я написал новые стихи. Сейчас прочту. Слушайте. Начинаю! — И прочитал нам поэтическую миниатюру о начальнике станции, которого зовут... Катенькой.

— Хорошая может быть у тебя новая песня, — сказал Павел Радимов. Его поддержал и большой друг Алексея Фатьянова поэт Василий Сидоров. Я поспешил поздравить автора с удачей:

— Какая строка: «Краше нашей станции в мире не найдешь!» Пока ты живешь на белом свете, всегда будут у нас новые песни, фатьяновки,...

...В последние годы жизни Самуил Яковлевич Маршак редко появлялся в Союзе писателей на литературных вечерах. Он жадно работал, понимая, что времени остается все меньше. Последний раз в Союз писателей для выступления он, кажется, приехал 11 декабря 1959 года, когда открывал совещание молодых переводчиков. А с людьми встречался ежедневно дома, в больнице, в Ялте, в гостях, в Барвихе. Когда-то Гамзат Цадаса сказал: «Люди — моя библиотека». В этом отношении Маршак был обладателем прекрасной и огромной «библиотеки»...

Алексей призадумался.

— Писал стихи — опять вышла песня. Когда же будут стихи? Когда же?..

...В 1957 году поэтическая секция поручила Марку Лисянскому и мне срочно подготовить издание советских песен. Время шло к Международному молодежному фестивалю в нашей столице. Все переговоры с издательством взял на себя Лев Ошанин. Быстро определили состав редколлегии. В нее вошли Лев Ошанин, композитор Анатолий Новиков, Алексей Фатьянов и Геннадий Корнев, в прошлом один из зачинателей советской военной поэзии.

За самый малый срок мы дружно подготовили содержание будущего сборника. И самым требовательным и строгим из редколлегии, к всеобщему удивлению, стал Фатьянов. Он знал песни не только по названиям, но чувствовал душу каждой из них. Он писал авторам письма и просил, чтобы они как можно скорее прислали свои песни, время не терпит. А когда узнал, что в издание вошла лишь одна песня покойного Павла Шубина, то напомнил нам, что у этого хорошего русского поэта есть еще песня о станичном подростке, просившем председателя-казака дать жеребенка, которого он вырастит и поедет служить в буденновскую конницу. Вместе с песней Шубина он принес несколько песен Твардовского.

Все мы еще раз приятно были удивлены фатьяновской работоспособностью, точностью его критических замечаний. Редколлегия вместе с нами, составителями, провела несколько рабочих заседаний на ошанинской квартире. И сборник вышел в срок, к началу фестиваля. Подводя итоги, Лев Ошанин сказал:

— Мы часто говорим, какой должна быть в наше время советская песня, а Фатьянов вместо разговоров выдает одну песню за другой. И каждая из них по-своему замечательна. И этот беспечный с виду человек выходит на первое место и уже стал признанным мастером. Горюем, что нет песен о рабочих, а Фатьянов их уже написал, они прозвучали с экрана, и молодежь полюбила его песни.

Он имел в виду фильм «Весна на Заречной улице».

Алексей Фатьянов знал, что многим его песням суждена долгая жизнь. Время подтвердило эту веру.

Как-то знакомая мне и Фатьянову особа ради праздного любопытства спросила его, кого из советских поэтов он считает первым, кого вторым и третьим. И Алексей, озорно сверкнув глазами, сказал ей, что считал и будет считать первым поэтом нашей Родины Александра Твардовского, вторым — Михаила Исаковского, а третьим — он лукаво улыбнулся — безоговорочно себя,

Петр Семынин

— Петр Андреевич, как Вы хотите встретить свое семидесятилетие на страницах «Дня поэзии»?

— Неопубликованными стихами. Хочется думать, что коли есть неопубликованные стихи, то, значит, есть и «порох в пороховнице».

СТАРЫЙ ТОПОЛЬ

Приятельствуя с тополем седым
 (Я с ним знаком, считай, уж четверть века,
 Весной одетым в серебристый дым,
 А осенью, как наш маляр из жэка,
 В цветной халат), я, распахнув окно,
 Ему стихи читаю в птичьем гаме,
 Хотя знаю, что старик хитрит давно,
 Умея спать с открытыми глазами.
 Но я не обижаюсь — все же он
 Мой первый слушатель и мой читатель,
 И если не всегда он умилен,
 То, верно, виноват стихов слагатель.
 Тем более что собственных забот
 У тополя хватает по макушку:
 Пристроить весь летающий народ —
 И галку и малюхонькую мушку.

И я, вздохнув, перемарать спешу
 Написанное мной стихотворенье
 И вновь читаю все, что напишу,
 Пока не получаю одобренья.
 Вы спросите: а как я узнаю,
 Доволен ли приятель мой? Не знаю,
 Но неудачу всякую свою
 Я чувствую, когда ему читаю.
 Недавно я уехал от него.
 Живу у Ботанического сада.
 Но кругосветной флоры торжество,
 Розарии и чистая прохлада
 Затмить не могут память добрых дней,
 Того, с кем рядом столько строк заветных
 Я написал и кто душой своей
 Их осенил...

КОТЕЛ

У темных амбразур старинной лавры
 В стене-музее слушал я рассказ
 Про воинские подвиги и лавры
 Монахов, отличавшихся не раз.
 — А для чего наклонные бойницы? —
 Спросил я у рассказчика потом.
 Экскурсовод — монашек худощавый
 Чуть усмехнулся редкозубым ртом.
 — Отсюда лили на гостей незваных
 Горячую смолу и кипяток... —
 Среди крюков, цепей каких-то рваных
 Я разглядел котла угрюмый бок.
 Котел был в выбоинах, как от града,
 И со следами копоти густой

И выглядел вполне издѣлом ада,
 Подаренным обители святой.
 Я без труда себе представил полночь,
 Костры и рясы на верху стены,
 Осаду, заблудившуюся помощь
 И вареву крутое сатаны.
 Должно быть, это сходство с преисподней
 Лишь укрепляло бранный дух отцов,
 И ополченцы крепости господней,
 Лия смолу, плясали у костров.
 О правда жизни, ты — хитросплетенье
 Всего, в твоём привычном естестве
 Слились и красота, и преступленье,
 И даже святость с дьяволом в родстве.

* * *

Березы и осины глухо ропщут —
Их тронул иней нынче поутру;
Огнем сентябрьским поджигая рощу,
Боярышник пылает на ветру.
Мы тихо бродим меж кустов зажженных,
Чьи листья раскалились докрасна.
Я слышу, кто-то говорит смущенно:
— А впрямь ведь на миру и смерть красна.

ПОЭТ.

Я прохожу желтеющим бульваром.
Вот этот двор. На всем осенний свет.
Я трогаю звонок, вдруг обдан жаром.
Мне открывают. Здесь живет поэт.
Я вижу в темной комнате настенный,
Увешанный оружием ковер, —
Играя, словно камень драгоценный,
Он сразу завораживает взор.
Стволы кремневых ружей и пистолей
И сабли из дамасской синевы
Таят немало роковых историй —
Они всегда таинственно-новы.
На книжных полках, сквозь стекло мерца
Позеленелой бронзой, серебром,
Виднелись боги Индии, Малайи
И ваз этрусских благородный лом.

Поэт и сам, живя в такой оправе,
Стал собственною статуей своей,
Должно быть, он считал себя не вправе,
Как с песней мужества, расстаться с ней.
О каждой вещи у него в запасе
Была история на добрый час.
Я начинал лишь ездить на Пегасе
И слушал, с мэтра не спуская глаз.
Осанка гладиатора и голос,
Рокочущий басовою струной,
В нем не было сомненья ни на волос —
Он пел героев и пустыни зной.
Мне говорят теперь: в нем было много
Фанеры и бенгальского огня.
Но я судить его не смею строго,
Он первым был, кто ободрил меня.

Михаил Скуратов

НА ЕНИСЕЕ

То ли речка угорела —
Так и сяк вихляет, взглянь.
И тайгою пахнет прелой, —
Вся в жарках цветет Елань.

Плещет хариус в речонке.
Взмыли утки-крохали.
Мы плывем себе в лодчонке, —
Эй, братан, ловчей рули!

Звезды россыпи на небе
Порассеяли свои.
Комарье, как на бесхлебье,
Стало жадным до крови.

Месяц всплыл в вершинах леса
Серебристым хайрюзком.
Гнус — как плотная завеса —
Обложил простор кругом.

Речки синенькая жилка
Бьется вдоль виска земли.
И костер сжирает пылко
Корни, сучья и комли.

Радость кратка, преходяща,
Но красе износу нет...
Здравствуй ты, родная чаща, —
Шлем сыновний наш привет!

Александр Штирт

* * *

Я войну прочел от доски до доски,
Все до самых познал глубин.
Я закончил войну возле Шпрее-реки,
На которой стоит Берлин.

Я не раз бывал под навесом огня.
Думал — вот улечу к небесам.
Но осколки и пули жалели меня
(Иль боялись — не знаю сам).

И в родимый дом я вернулся, солдат,
Милый край обнесен тишиной,
Нету взрывов гранат, не трещит автомат
И спокойная синь надо мной.

И только во сне я опять на войне,
Она всю продолжается ночь,
И от этой войны не избавиться мне —
И тут уж ничем не помочь.

Валентин Берестов

ЩЕЛЬ

И вновь сквозь стены вой сирен.
Скорей из ненадежных стен!
С узлами, не застлав постель,
На новоселье мчмся в щель.
(Ее, чтоб отвести беду,
Недавно вырыли в саду.)
Еще в ней запах нежилой,
Землею пахнет и смолой.
Сидим впотьмах, семья к семье,

На нескончаемой скамье.
Еще мой малолетний брат
Гадает, приключенью рад,
Что — зажигалка иль фугас? —
Сейчас обрушится на нас.
Украдкой покидаю щель.
Фашистский «юнкерс» ищет цель,
Жужжит меж звезд. Зенитки бьют.
В траве кузнечики поют.

ИГРА

Садилась мы за шахматы, бывало.
Одной доски стратегам было мало.
И гордая отточенная рать
Судьбою человечества играть
Спускалась на пол, в мир простых игрушек:
Корабликов, коробок и катушек.
И вот на трон садятся короли,
А пешки — в танки и на корабли.
Парады. Смотры. Заговоры. Смута...
Чего-то кто-то не простит кому-то.
И корабли бросают флот на флот,
На войско войско, на народ народ.

Из-под духов один флакончик brave
Хоть хрупок был, но воевал со славой.
Где дух геройский — там геройский вид.
Он был при всем при войске перевит
Зеленой, желтой орденскою нитью...
Народ, уставший от кровопролитья,
Свергает королей и воевод.
Последний бой. Последнее восстанье.
Великое всемирное братанье.
В стол — шахматы, флакончик — на комод.
И по двору бегут вприпрыжку двое,
Покончивших с войною мировую.

ИЗ СОФИЙСКОЙ ТЕТРАДИ

I

Тебе обещал я деревья,
Которые будут зимой
В Софии, красивой издревле,
А то и на Шипке самой.
Но весть о внезапной кончине
Меня позвала одного.
И вот я в Болгарии ныне
Один ни с того ни с сего.
Один — в серебристую темень, —
Слегка от дороги устав,
Брожу под деревьями теми,
На похороны опоздав.

Тебе обещал я деревья,
Которые будут зимой
В Софии, красивой издревле,
А то и на Шипке самой.
Здесь очень короткие зимы,
Не то что в России у нас.
Поэтому неотразимы
Снега, что со мною сейчас.

Деревья стоят, как скульптуры
В огромной живой мастерской,
Где лепят натуру с натуры,
А радость мешают с тоской.
Ведь можно из южного снега
Такое слепить небесам!

А он это делает сам,
Свалившийся с самого неба...
Снег лепит себя на деревьях.
Он лепит тебя и меня.
И всех, как в старинных поверьях,
Доживших до светлого дня.
Мне кажется — в белой гвоздике
Могилы и клумбы сейчас,
Где снег не большой, а великий,
Идут, суеты сторонясь.

Я тоже поэт повседневно.
Как снег я летаю зимой.

Тебе обещал я деревья,
И эти деревья — за мной.

II

Так ничего я и не написал
В тот мой приезд прощальный...
Каштаном над скамьей нависал
Налет зимы хрустальный.

Стихи стояли около меня,
Когда смежал глаза я.
Оглядывался — в сутолоку дня
Сбегали ускользя.

В пустом воскресном Докторском саду,
Где памятник врачам, погибшим
В седом освободительном году, —
Я был кустом поникшим.

Большие галки стряхивали снег
На ветки и на руки.
Я все ловил минувший день и век
В любом случайном звуке.

Все понапрасну. Камень все равно
Молчал любую гранью.
Подкатывало к сердцу лишь одно
Далекое страданье.

Я улетел, оставив там стихи
Бродяжничать безгласно.
И мучат душу эти пустыки...
Не пустыки! Напрасно.

Я думаю, их кто-нибудь найдет
И даст им оболочку.
Согреются и скажут в свой черед
За строчкой строчку.

И от меня в далеком далеке
Заговорят несмело.
Пусть не на русском даже языке,
Не в этом дело...

* * *

Здесь нет ни радости, ни горя,
А что-то русское и древнее,
Где, как хождение за три моря,
Поездка в ближнюю губернию.

Уж не такая это доблесть
Знать, канув в книжное варяжество,
Что я Калининскую область
Люблю, как князь Тверское княжество.

Бродить бы мне в скрипучих валенках
Снегами неисповедимыми,
Со стариками на завалинках
Дымить задумчивыми дымами.

Колоть морозное полено.
Гулять на озеро к ракитине.
Дышать. И сочинять поэму
Об Афанасии Никитине.

* * *

Небольшой мокрый снег. Гололедица.
Мгла над нивами, холодом сжатыми.
Белый куст, как большая медведица
С затаившими дух медвежатами.

Возле дачи с забитыми ставнями,
Окруженной живущими дачами,
Ты стоишь, размышленьями давними
Остановленный и озадаченный.

Нет, так просто душа не развяжется
С тем, что мучит и в воздухе носится.
Все-то думается, все-то кажется...
Но с тебя еще многое спросится.

С нерешительным вьюги не водятся.
Он пустыми сединами метится.

Две лыжни осторожно расходятся,
Чтобы встретиться или не встретиться.

* * *

На остановке автобусной,
В черном осеннем пальто...
Не понимаю я — что бы с ней
Связывало? Да ничто.

Так почему же по городу
Осенью, а не весной,
Еду в обратную сторону
Я у нее за спиной.

Так отчего же, встревоженный
Косвенно чувствуя взгляд,
На остановке непрошеной
Я выхожу наугад.

И в молодой неизвестности,
В лиственный канув обвал,
Долго шатаюсь по местности,
Где никогда не бывал.

НЕИЗБЕЖНОСТЬ СТРАННОГО МИРА

В ряду наиболее странных произведений русской поэзии зыблется «Ангел» Лермонтова:

По небу полуночи ангел летел,
И тихую песню он пел;
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.

Повинуясь каким-то не очень-то, наверное, ясным ему законам и силам, вводил, ввергал ангел в мир юную душу.

Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез;
И звук его песни в душе молодой
Остался — без слов, но живой.

И жил некто на свете, смятенно и смутно помня об исходе из небесного мира; душа жила, маялась.

И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

Надо же было додуматься, доглядеться художническим оком в устройство бытия так, чтобы жизнь предстала явлением, открывающимся человеку не рожденному еще, не существующему, а лишь рождающемуся, имеющему существовать! Чтобь промелькнула в стихах некая «тризна наоборот»: земля с ее заботами и печальями предстает в виде своеобразного «того света»; и не «отсюда туда» проводили душу, а «оттуда сюда».

«Ангел» Лермонтова овеян воззрениями высокого сентиментализма. Медленно, противоречиво, обогащая очень серьезные суждения смягчающей их иронией, сентиментализм осознавал причудливую пограничность поэтического слова, призванного звучать на рубеже, на сходе миров различных и разнокачественных: сущего, умопостигаемого и трансцендентного ему, сокровенного, ощутимого только сердцем. Вновь выплывал вопрос принца Гамлета: «Быть или не быть?» И вновь искали ответ на него.

Был промышленный переворот конца XVIII столетия. Была связанная с ним рационализация сознания. А тут же, наперекор ей, — стремление сделать какой-то новый шаг к тайне души человеческой, причем понятие «душа» не было тождественно современному понятию «психология», «внутренний мир».

И Баратынский спустя несколько лет после

«Ангела» Лермонтова создает уж и вовсе странное, в чем-то даже вызывающее стихотворение, где речь ведется от лица ребенка, которого не было, нет и не будет:

Я из племени духов,
Но не житель эмпирея,
И, едва до облаков
Возлетев, паду, слабей.
Как мне быть? Я мал и плох;
Знаю, рай за их волнами,
И ношусь, крылатый вздох,
Меж землей и небесами.

Это — что-то, не ставшее кем-то, мечется на границе мертвого и живого, в бытийной неразберихе. Но для поэта и этот неопределимый обломочек бытия — душа, наделенная и взглядом и голосом. И вселенная дана с его точки зрения:

Обращусь ли к небесам,
Оглянусь ли я на землю:
Грозно, черно тут и там;
Вопль унылый я подъямлю.

Не рожденный, скрытый от мира, он видит нас и что-то про нас как будто бы знает. И кажется, спросимы его о чем-нибудь, он непременно ответит, хотя ответит он нам на своем, тайном, невразумительном языке.

Это стихотворение написано Баратынским тогда же, когда были написаны и становящиеся все более знаменитыми начальные строки его стихотворения «Последний поэт»:

Век шествует путем своим железным,
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.

Странное стихотворение о не родившемся и не умершем было актом полемического диалога с веком, поглощенным промышленными заботами: он благоустроен, разумен; но где-то над ним витает младенческая душа — нечто, отброшенное им, излишнее в его нравственном обиходе. И в стихах поэта — боль и сарказм: не мы первые, очевидно, задумываемся о научно-технической революции, об ее ходе, о приобретениях, даруемых ею, и об утратах, которые ей сопутствуют. Много лет тому назад — размышления, сходные с нашими радостями и тревогами. И приводили они к решениям достаточно оригинальным: образ неба откристаллизовывался в поэзии; и небо было многоступенчатой

сложной метафорой. Обратить взгляд к небу — значило и к человеку взгляд обратить, дабы в нем, в человеке, небо прозреть.

НТР — все еще неожиданность, все еще огромная новость, распадающаяся на брызги новостей поменьше, день за днем бомбардирующих наше сознание. Первая реакция на нее — публицистическая, реакция радостного гимна, настороженного памфлета, едкого фельетона: там-то гибнет лес, там-то донельзя засорили воздух.

Но для литератора НТР и поэзия — проблема, естественно, духовная, литературная. НТР трансформирует художественные жанры, возрождая те, которых, казалось бы, не возродить, и в споре с железным веком еще в прошлом столетии вдруг по-новому зажила рожденная еще до нашей эры элегия; НТР ведет к многозначительным скрещениям стилей. А стиль — достояние не только литературы, не только поэзии, замкнутой в кругу литераторов-профессионалов. Он — явление общественной жизни на самых различных ее уровнях, вплоть до тех, которые, возможно, почитаются не заслуживающими внимания, периферийными, — до уровня повседневно быта с его неупорядоченностью, суетой и неуклонным тяготением устроить человека покомфортабельнее, поудобнее.

Быт поэтичен. Поэтичен в том смысле, что явления его эстетически значимы и идеологически содержательны. Быт полон предвестий, симптомов, намеков. Специфические для времени образы и заложённые в них оценки действительности зарождаются и разрушаются в незначительных мелочах, в быту; и творят, переосмысливают их люди, не подозревающие в себе художников слова, поэтов.

Очень трудно объяснить — самому себе объяснить, — что поэзия это же не стихи только, написанные от руки, перестуканные на машинке, томительно долго млеющие в столах рецензентов и, наконец, отредактированные, набранные, отпечатанные; люди полиграфической, книжной культуры, мы аксиоматически мыслим поэзию как ряд текстов. Но представим себе, что стихи почему-либо прекратили не только печатать, но и писать, сочинять их. Что их просто не стало: исчезли они. Неужели не ясно: поэзия все равно останется, приняв, правда, не столь завершённые формы. Она сохранит себя в письме, даже в деловом документе, в житейской молве или в одном из тех молчаливых взглядов, которыми мы украдкой обмениваемся в бойко рысающем по прямолинейному проспекту автобусе или в спрятанном от лучей дневного света вагоне метро. Будет она жить в наших поступках — в самых обыкновенных, и

в эксцентрических: в проделках школьника, в массовых развлечениях, в буднях и в праздниках. Да так, впрочем, и бытовала поэзия исторически очень недавно, до полиграфии, до распространения грамотности и письма: стар и млад, пастухи, землепашцы, ремесленники, монахи и ратники как бы походя слагали гениальные поэтические произведения, не подозревая о том, что сочинения их гениальны и что это — фольклор, остатки которого будут по словечку исследовать академики. Не было ни «Художественной литературы», ни «Советского писателя»; не было «Библиотеки поэта», но поэзия-то была: поэзия всюду, где сходятся двое. Два человека. Или даже человек и вещь, созданная им, сопутствующая ему: вещь — уже высказывание, идея и образ. Она исторически детерминирована и социально направлена; она — оценка, отклик на ту или иную общественную ситуацию.

Где мы живем и что мы едим, с какой скоростью предпочитаем передвигаться? Как мы пишем?

Мы пишем, положим, пером. Но «перо» — слово, употребляемое по инерции: стальное приспособление, с младенческих лет втиснутое нам в руки, менее всего похоже на живое перо, позаимствованное из крыла благодушного гуся, — уж какой-никакой, а все-таки птицы. Да и стальное перо исчезает; все заполнили шариковые стерженьки, туго набитые каким-то подобием гуталина: исписался стерженек — выброси его не жалея.

Техника развила в нас наглово отважный жест: бросить, швырнуть.

Бросаем сгоревшую спичку, окурок.

Бросаем оберточную бумагу.

Вопреки праведным стенаниям плакатиков, развешанных у прилавков, бросаем хлеб.

И жест человека повторяют машины, заводы и фабрики: отходы, отбросы, отшвырки ползут, струятся, текут.

Что-то отбрасывается, что-то рвется: связи, навыки и привязанности.

Рвется и связь человека с небом; и быт наш вопиет, глаголет об этом на каждом шагу.

Уходят под крышу стадионы. Архитектура ратует за крытые города: удобно, практично. Ратует она и за города под землей, под водой. И будут — гигантские стоячие субмарины, батискафы с толпами проживающих в них. Что ж, чему быть, того не миновать. А настаивать можно лишь на одном: изменение технологии письма, изменение планировки жилого дома или спортивного комплекса, бытовой жест, — все это значимо и все говорит о том, что образ неба в нашем сознании словно бы деформируется, отчуждаясь от нас.

Небо НТР — небо практиков, и стиль НТР — это стиль не Гамлета, а Прометей. «Быть или не быть?» — вопрос-экспонат. Когда он звучит с театральных подмостков, получается как-то так, что маялся им один только странный, хотя и уважаемый нами юноша в черном трико. Вопрос был как бы всего лишь его индивидуальной выдумкой, достаточно от нас отдаленной. А Прометей — ближе, понятнее и доступнее: он знал насущные нужды людей, он любил их по-своему, и он согрел их, дав им новые виды энергии. Диалога с небом он не искал. Расспросами небо не донимал. Он рассекретил небо; деэстетизировал его, и тем-то он и хорош.

Говоря о деэстетизации неба, я имею в виду сложный комплекс сдвигов в осознании мира, в интерпретации его, в его понимании. Деэстетизируется небо — исчезает благоговение перед тайной.

Мир полн тайн, вне, внутри нас! Паук иной — Тайна! Как же вертеть две-три темы? —

заклинал Валерий Брюсов. Но если паук иной — тайна, то, наверное, не перестал быть тайною и человек. И «внутри нас» есть свое небо. И спор не решен: нет оснований считать его решенным, законченным: душевное небо человека будет непрерывно открываться поэзией. И открываться, возможно, будет оно на периферии окружающей нас повседневности, в области чего-то такого, что лежит на виду, но именно в силу своей заурядности пребывает в пренебрежении: в отвергнутых литературных стилях, в выброшенных за ненадобностью вещах или в духовном творчестве, скажем, детей.

Жесту бросанья, отшвыриванья неизменно противостоит по-другому направленный жест: что-то собирают или даже, неуклюже нагибаясь, подбирают, подскребают с земли; что-то отыскивают, выискивают. Характерно: болтая с забулдыгой могильщиком, Гамлет, по сути дела, вместе с ним рылся в грустных останках. Среди отброшенного, отрешенного выискал Баратынский, Гамлет русской поэзии, образ сурового своего стихотворения, и не он первый, не он последний обнаруживал причастное небу начало в том, что считалось нравственной рухлядью, заботою разве что паталогоанатомов, но никак не поэтов.

В окружающем нас быту полно рухляди, ценность которой не введена нам. В сознании нашем творится, быть может, то же — что-то швырнули, бросили за ненадобностью, изжили. А изжитое, оно-то и есть смутно искомая ценность.

Что мы знаем о детях? Мелькнул среди нас едва ли не великий, по моему мнению, поэт — Сухомлинский. Нечто начал. Но он имел дело с большими. А самые-самые маленькие? Тайна сия велика есть; но она же — рядом, и стоит лишь открыть дверь в соседнюю комнату, тайна воззовет нас к себе, нежданно-негаданно прояснив что-то в наших художественных исканиях, и казавшееся непонятным придвинется, прояснится.

Убежден, например, что лирическое творчество не всем понятного и действительно духовно неоднозначного Бориса Пастернака может стать хрестоматийно ясным при уразумении простой истины: необычность взгляда поэта на мир, аспекта, в котором рассматривается обыкновенное, была пережита каждым из нас, хотя впоследствии сгладилась, зашлифовалась. Это — необычность детства; необычность, связанная с первыми шагами, с первыми знаниями о земле, об окружающем, о близких людях и о заурядных вещах.

Что было бы, если бы та молодая душа, которую нес в мир пригрезившийся юноше Лермонтову ангел, сама, на свой страх и риск, заговорила бы о себе? Не о ней рассказали бы нам, а она о нас рассказала бы? А было бы нечто, напоминающее Пастернака, кстати, бережного почитателя поэзии Лермонтова.

А как выглядела бы классическая книга Корнея Чуковского «От двух до пяти», написанная его героями, детками малыми? А если бы написали книгу те, кому и до двух годиков далеко? Расскажи они о том, что они видят и знают, мы, возможно, осыпали бы их упреками в приверженности к каким-нибудь праздным и далеким от жизни художественным течениям.

С какого возраста мы помним себя? У нас, у каждого из нас есть огромный жизненный опыт первооткрывателей. Он не снился ни Колумбу, ни Магеллану: был открыт не остров, не материк; был открыт целый мир, представший перед нами в его единстве и множественности, в его хаосе и гармонии.

Вспомним о себе, себя вспомним: не эпизоды, не отдельные кадры, а мир, открывшийся перед нами когда-то.

Сейчас, когда годы деловитой рысцой бегут от меня, скрываясь за горизонтами прожитого, я вспоминаю мир, который предстал передо мною тогда, когда я в полном смысле слова «свалился с небес на землю», «с Луны свалился»; потом, словно повинуюсь нелепой силе какой-то, я о нем нигилистически позабыл. Знаю, что он был полон... чудовищами: не то чтобы обязательно злыми, хотя это не были и чудовища-добряки. И они обступали меня, говорили о чем-то. Все было живым: помню, что я на полном серьезе

беседовал со... стружкой воды — она текла из какого-то блестящего крана. С каким-то свертком беседовал, и я даже звал его как-то: названий, имен нарицательных не было, были только имена собственные. Диковины да чудовища, чудовища да диковины. А удивление, ошарашенность — нормальное состояние.

Позже — слова! Диковина — каждый отдельный звук. Он тоже что-то живое, обладающее вкусом, запахом, цветом. Волшебная жизнь междометий: одни — кубические, другие, как мячики, — круглые. Были желтенькие, лиловые, алые. И каждое междометие хотело обозначить сразу весь мир; они боролись одно с другим, теснили друг друга и спорили о том, кто выкажет о мире точнее, правдивее.

Небо и земля не были разделены: мир громоздился вокруг таким, каким, надо полагать, был он до первого дня творения. И везде, везде было небо: универсализм восприятия мира как чего-то нерасчлененного и единого, отсутствие оскорбительного ощущения времени. Не скажу, что мир был хорош. Он просто был. В нем я плавал, летал, пресмыкался — формы передвижения по нему тоже еще не дифференцировались.

Расскажи я про этот мир на громоздком и рационализированном языке взрослых, из уст моих, разумеется, исторглось бы что-то вроде бормотания средневековых блаженных. Но ежели бы я почему-нибудь умер тогда? Неужели бы я умер круглым невеждой и из жизни ушла бы лишь некая сплошная ошибка? Да нет же, большее знание ушло б из нее!

И много лет спустя, читая поэта, пытаюсь прийти к нему не извне, не от выученного, а от себя самого, я постепенно стал узнавать у него и этот, забытый мной мир.

В трюмо испаряется чашка какао,
Качается тюль, и — прямой
Дорожкой в сад, в бурелом и хаос
К качелям бежит трюмо.

Там сосны враскачку воздух саднят
Смолой; там по маете
Очки по траве растерял палисадник,
Там книгу читает тень.

(«Зеркало»)

Зеркало — это конечно же удивительно: точное повторение окружающего, а в то же время — преобразование его, причудливая мистификация. Исчезают объемы, запахи. Мир становится странно неосознаем: он здесь, рядом, но его в то же время и нет; тянешься к нему, а руки упираются в лед стекла. Этот мир, кажется, очень хрупок: стукни по зеркалу, и исчезнет, сгинет он, пропадет; но все, что теснится вокруг,

соприкасаясь и ударяясь одно о другое, вне его, почему-то его не затрагивает.

В стихотворении Пастернака «Зеркало» множество чего-то такого, что бьет, ударяет, «саднит» и «ломится»: удар — это, увы, первое, с чем мы соприкасаемся, вступая в жизнь, его мы боимся (ребенок зашибся, ушибся). И удар — первое наше агрессивное действие по отношению к миру.

Огромный сад тормозится в зале,
Подвостит к трюмо кулак...

Но мир стихотворения — мир каких-то диковинных, как бы недействительных ударов. И сад грозит зеркалу кулаком,

Бежит на качели, ловит, салит,
Трясет — и не бьет стекла!

И страшно, как страшна всякая угроза. И — не страшно; мы под какую-то доброй защитой, вне досягаемости для грозящего, утешающего. Мы — в двоимирии: в реальности и в стране зеркал; мы и на земле, и на небе.

Сложность, кажущаяся изысканность — оттого лишь, что нам непривычен человек, не позабывший о том, каким видел он мир, когда-то придя в него. Человек, соединяющий взрослое знание с детским. Но как раз отсюда у поэта — умышленное столкновение вещей игрушечных, специфически детских со специфически взрослыми: ребенок ничего не знает о «месмеризме», взрослому как-то нечего делать на качелях, он не станет другого взрослого «салить», слегка, но все же достаточно ощутимо ударяя его по плечу: уж ему-то, наверное, не в диковину всякого рода удары. Поэт — мост, связующий современного взрослого интеллигента и кроху малую. Человек, рассказавший про сад и про зеркало, движется во времени; но он не изживает, не отбрасывает того, что знал вчера и позавчера, он как бы несет с собою давние знания, присоединяя к ним знания новые. И это — свобода. Свобода от власти времени, глоток небесной свободы.

От сознания какой-то новорожденности, что ли, — и характерное для Пастернака ощущение тела, плоти мира. Тело, плоть — прежде всего словно бы какая-то новость. Оно тяготит. В нем неудобно. Оно громоздко, как громоздок впервые надетый протез. Но оно и необычайно легко: трюмо бежит, кварц струится, скачет чиж и вообще мир словно вприпрыжку живет. Люди и вещи у Пастернака хореографичны; на одной и той же сценической площадке собраны и тяжелые, топчущие движения и легкие, очень легкие.

Тело всеохватывающее: оно стремится распространиться, ответить от себя другие тела.

Чашка какао источает пар; у палисадника вырастают глаза, а на глазах появляются очки — еще одно, дополнительное, рукотворное тело. Но от тела отделяется и бесплотная тень, читающая бесплотную книгу; и хотя нигде прямо не названо солнце, оно присутствует здесь: коли есть тень, есть, наверное, и оно.

Взрослый ребенок — один из излюбленных героев русской классической литературы. От Петруши Гринева из «Капитанской дочки» А. С. Пушкина до князя Мышкина из романа Ф. М. Достоевского «Идиот», а далее — до героя романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Образ взрослого ребенка сопряжен с другим образом, трагически сопутствующим ему, — с образом младенца убитого, убиенного: опять-таки Пушкин, Достоевский, Л. Н. Толстой, «Плач детей» и «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова. И образ убитого младенца не равен себе самому, он тяготеет к метафоричности: убийство — не только однократный акт, но и длящийся во времени процесс, нескончаемый и мучительный. Страшно, когда помещик травит собаками малыша и когда свиньи сжирают крестьянского мальчика Дёмушку. Но когда детство убивают в себе? А пожирание детства как духовное зверство — оно же есть тоже; и начинается оно с того момента, когда подросток, бравировав взрослому разумом, изрекает в кругу приятелей: «Я был маленьким, и я думал, что...» Далее излагаются две-три глупости, которые новоявленный взрослый думал когда-то; и младенец изъят из жизни, отброшен привычным жестом отбрасывания. Время пожирает его, вынося ему приговор устами своего юного невольника и раба, твердо усвоившего: быть взрослым — это значит не быть ребенком.

Традиция заступничества за детство не могла не привести к тому, что в поэзии произошел перспективный сдвиг: трансформация ребенка из объекта в субъект художественного повествования. Конечно, нечто детское есть в любом стихе, от классики до сочинения графомана. Но совершенно закономерно, что именно в начале столетия наша культура дала миру поэтов, сумевших не потерять в себе младенчества, возвращающих его взрослым.

Акт этот был, несомненно, достаточно ясно осознан: недаром же одна из героинь поэмы Пастернака «Спекторский» говорит любимому:

О мальчик мой, и ты, как все, забудешь
И, возмужавши, назовешь мечтой
Те дни, когда еще ты верил в чудиц?
О, помни их, без них любовь ничто.

О, если б мне на память их оставить!
Без них мы прах, без них равны нулю...

Герою предсказывается ампутация детства, убиение былого. Да, без былого нет любви, нет и поэзии.

Людей, несущих в себе свое детство, наверное, много, целые толпы; да в конце-то концов полная ампутация детства все-таки и невозможна. Оно прорвется и в самом холодном рационализме: начнет рационалист бравировать своим рационализмом, эпатировать им, и с радостью видишь в нем играющее дитя, малыша: именно в браваре, в эпатаже он и проглянет. Но НТР, разумеется, потеснила взрослых детей, понудила их адаптироваться: язычник-крестьянин, ощущающий окружающую его природу как живое, персональное, взирающее на него и говорящее с ним, — все-таки уже раритет. Но поэзия взяла на себя миссию аккумуляции мироощущения взрослых детей. И сам принцип здесь несколько не нов; новое — лишь в радикальности, с которой принцип реализует себя.

Велимир Хлебников — какой-то взрослый ребенок, вдруг очутившийся в мире,

Где камень временем,
А время камнем.

Время — главное из чудовищ, преследующих его сознание. А вокруг громоздятся другие чудовища; и поэт улавливает тотальный гиперболизм детского сознания. Вряд ли маленькие знают о том, что они — маленькие; ощущая мир как нерасчленимую органическую огромность, ребенок и себя сознает кем-то огромным. Топот первых шагов по полу, по земле слышится малышу топотом титана какого-то, его собственный рев — гласом труб иерихонских.

Сознание наше, несомненно, становится однолинейно экстенсивным: не вглубь, авширь; узнать бы не новое, а о чем-нибудь новом. НТР делает нас охотниками за новостями, холодное любопытство экстенсивного знания гонит нас, например, искать на земле пришельцев из космоса. Но есть они или нет — это, в общем-то, не проблема. Не тайна, а разве что инженерный секрет. Мы — тайна; и вспомнишь себя — громгласный пришелец из космоса вырастает в воспоминаниях. Топочет он. Трубит он всемирно. Знает он, что он бессмертен и вечен. И открытие его, встреча с ним будет, может стать, первейшим из следствий диалога, спора, состязания поэзии и науки.

Волна воспоминаний катится ныне по долине поэзии. Поэзия стала поприщем соревнования на глубину, точность и широту воспоминания,

на доподлинность реконструкции отошедших событий, переживаний, стилей минувшей жизни.

Стихи вспоминают историю — от недавней до раннесредневековой; поэты вспоминают поэтов — от Твардовского до Бояна.

Вещи, разумеется, тоже ударились в воспоминания. Электрическая лампочка спохватилась и вспомнила, что живет в ней или керосиновая добротная лампа или свеча; она стала стилизовать себя, притворяясь подсвечником. Шариковые стерженьки, будто и они вспомнили что-то, стали лукаво делать вид, что они — гусиные перья: многовековое детство вещей вкрапливается в их теперешний индустриальный облик. Понятен и «кич»: отрешенное, отвергнутое, приговоренное к уничтожению ожило, заговорило, стало забавлять, неопределенно утешать нас. Словом, все и вся соревнуются в умении вспоминать, оживлять.

Это естественно, и наносное в этом соревновании минует, пройдет. Останется суть. Останется стремление от воспоминаний о чем-то заметном, о выдающемся, броском перейти к воспоминаниям о не очень-то явном, о трудно уловимом и не имеющем границ, очертаний: так, вспоминая детство, младенчество, лучше вспоминать не эпизоды, штрихи, а сразу весь образ мира, картину мира, отверзшуюся перед нами тогда.

Можно любить события некие. Но можно любить и менее уловимое: стиль минувшего. Архитектурный стиль. Стиль одежды. Стиль речи, письма.

Стиль — это человек,
Замечено не вдруг.
Но это также — век,
Но это также — круг,—

пишет Олег Дмитриев в стихотворении «Альбом из сундука».

В старомодном сундуке найден альбом со смешными стихами:

Прелестный, но, увы,
Несовременный слог:
«Зачем сломали вы
Любви моей цветок?
И нежности ростки
Примяли каблуком?»

Нашел поэт, разрывая хлам, рухлядь, этот альбом,— вызывает он в памяти тени забытых предков. И дорого в его стихах то, что воплощено в них словесный жест: не от себя, а к себе; не отбросить, а подобрать, пригреть на ладони.

Одна молоденькая мама со смехом жаловалась мне как-то: сын ее, Саша (а мальчику было тогда лет семь-восемь), часами пропадает на

городской свалке; мама и сын жили неподалеку от какого-то пустыря, заваленного обломками имущества, вывозимого из старых домов, из каких-то пригородных изб. Я не придал ее сетованиям значения. Но сейчас мне становится все яснее, что мальчик, с которым столкнула меня судьба, был не просто хорошим: современным он был. И поэтом. Шарить, рыться, вытаскивать — жесты творчества, противостоящие нигилистическому жесту уничтожения: бросить. И понятно, почему Маяковский прозревал потомков в виде не слишком-то уж патетических теней, фигур:

Уважаемые товарищи потомки!
Роясь в сегодняшнем
окаменевшем дерьме,
наших дней изучая потемки,
вы, возможно,
вспомните и обо мне.

Уж знал поэт, за каким жестом будущее,— доподлинно знал он смысл несложного парадокса: небесное, душу ушедших людей и эпох ищут среди рухляди, хлама. Ищут, «роясь». Тут — извечная для русской литературы поэзия-труженица: шарит по подвалам, по чердакам, оживает чужие строчки; глядишь, да и откопает мертвую, казалось бы, душу их. А душа-то живой окажется.

И стихотворение Олега Дмитриева «Памяти...» оживляет строчки газетных некрологов или пригласительных билетов, вежливо зовущих нас на вечера памяти ушедших и, вопреки предписанным этикетом словам, медленно забываемых:

«Памяти...»
«Памяти...»
«Памяти...»

И вдруг — детская мольба, плач, вопрошение:

Перед равеньем строк,
Может быть, вы встанете,
Милые, хоть на денек?
Может, из мрака выйдете,
Щурясь на яркий свет?
Милые, вы нас видите?
Мы вас — нет.

НТР, казалось бы, должна стереть с лица земли прежде всего элегию, элегическое мышление: суть, смысл, почва элегии — желание, причем желание заведомо неосуществимое. С точки зрения разума, в элегии находит себе место каприз, некое философически преподанное привередничество: элегия посягает на необратимый характер времени, изводясь от желания сделать его обратимым, и, положим, возвра-

тить человеку молодость, юность, пережитую некогда радость, утраченную красоту. Элегия принципиально ненаучна. Она просит о небывалом. Она скрытно; но действительно небывалого требует, оттого-то и выражается в ней грусть, закрепленная за ней силой традиции. Но вопреки ожиданиям НТР порождает эгегическое мышление.

«Памяти...» Олега Дмитриева — в ряду хороших современных элегий. Но причудливость, странная резкость здесь в том, что желание, обращенная к бытию, к небу, к космосу просьба здесь мыслится осуществленной. И вырисовываются картины, какие-то неожиданные бытовые сценки: окружающее шаг за шагом наполняют тени ушедших; они — среди нас, в суете нашей. Снова — зеркало; и зеркалом служит память, материализованная в газетных строчках, в некрологах, в посвящениях литературных произведений:

«Памяти...»
«Памяти...»
«Памяти...»
Платим свои долги.
Изредка в снежной замети
Чудятся ваши шаги.
Может, в потемках ищете
Свой заметенный след?
Милые, вы нас слышите?
Мы вас — нет.

Настойчивость желания каждый раз разбивается о категоричность «нет» или «да»; но желание снова и снова неотвязно стучится в сознание: увидеть, услышать, поговорить. О чем-то спросить. Сказать что-то такое, чего сказать не успели.

Но ушедшие погружены в непонятный мир. В странное. Они ни говорить не могут по-нашему, ни нас услышать: тайна безмолвствует.

А гамлетовский вопрос по-прежнему сияет в сознании. И пока жив гамлетовский вопрос, духовно, душевно живы и мы.

Василий Казанский

СЕНИН ОСТРОВ

Прошли мы — я и спаниель мой пестрый —
не счесть их, сколько — чащ, болот, боров.
Не зря! — добыли двух тетеревов.
...Но где же мы?..

Да вот он, Сенин Остров!
Он невелик — тут ветры напролет,
лишь сотня сосен караул бессменный.
Куда ни глянь — ширь моховых болот,
а по краям — леса, леса, как стены.
— Садко, обед?

— Да! — пес вильнул хвостом.
Взошли мы, разлеглись на мху как дома.
...А кровь-брусника обняла кругом,
венком нарядным, бугорок знакомый.

Давным-давно охотник дед Исай
завел меня к могилке этой самой:
— Зарыли здесь. В себя он, в сердце прямо... —
Вздыхнул: — Знать, горе было — поди знай... —
И рассказал мне:
— Жив еще был тятя,

а я мальцом был. Раз чужой стрелец —
годов под тридцать, ражий молодец —
заночевал у нас, спал на полатях.

Охотничков всегда любил отец
и не пытал, откуда ты, да кто ты?
«Как звать-то?»
«Сеня».

А чего еще-то?

Встал рано гость, взял сумку, ружьецо —
да в лес скорей: торопит, мол, охота.
...Назавтра здесь наткнулись мы с отцом:
лежит...

Зарыли — и дела с концом.

Молчат просторы моховых болот,
а по краям молчат леса, как стены.
По острову — все ветры напролет,
могучи сосны — караул бессменный.
Как кровь багряным, ласковым венком
брусника холмик обняла кругом...

ЕЛИ

Какие-то сомнения, тоска...
Пойду-ка под еловые громады!
Они пошумливают свысока:
«Эх, человек, большим, как мы, быть надо!»

В корнях суровых примостился я,
и ели мягко надо мной гудели,
по-богатырски басовито пели.
Певал бы так и Муромец Илья,
придись баюкать внука в колыбели.

Ель лапой, материнскою рукою
тянулась гладить волосы мои.
И слышалось дыхание покоя
в заневе мудром, в воркотне хвои.

Поднялся ветер...
Сделался сильнее...
Зарокотали, размахались ели:
«Чего ты тут разлегся в самом деле?»
Я и ушел — что ж оставалось мне?
...Ну а тоска, сомненья? — Отлетели.

Роберт Винонен

ЦВЕТЫ ЗЕМНЫЕ. ВАСИЛЕК

Ты не сеян, василек,
и не про тебя ли
говорили: сорнячок.
А в букеты брали.

Я и сам бы от шоссе
убежал светиться
во серебряном овсе,
золотой пшенице.

На меня ли ты похож,
я ли на тебя ли,
только ты еще цветешь,
а меня сорвали.

Я у собственной зимы
накануне понял,
что не пасынки и мы
у широка поля.

Пусть не мы прибавим сил
полевому хлебу,
но во всю глазную синь
помогаем небу.

И глядим, глядим вперед
из родного края,
зная тысячу дорог,
а судьбы не зная.

БАЛЛАДА О ПРОПАВШЕМ ОТРАЖЕНИИ

Гляну в зеркало — где отраженье?
Плачет зеркало всей глубиной:
никакого ко мне отношенья,
никакого контакта со мной.

Что такое могло приключиться,
если вдруг опоздал, не возник
обязательнее сослуживца
возникавший дотоле двойник?

Значит, вот оно как обернулось!
Дай-ка выйду на солнцепек —
тень даю ли?
Но тень отшатнулась
и торпедой ушла из-под ног.

Вот те на! Повстречался я с другом:
как дела, говорю, старина?
Поглядел загадочный с испугом
сквозь меня. И прошел.
Сквозь меня.

У кассира купил на вокзале
я такую железную даль,
что везде небеса замерцали
и дурная отстала печаль.

Встали сосны, и вдруг отраженье
из воды обратилось ко мне.
И без слов, как положено тени,
пролегла моя тень по земле.

Яков Белинский

— Яков Львович, что бы хотели Вы видеть на этих страницах в год
Вашего семидесятилетия?

— Хочу видеть свои строки, написанные в последнее время, наиболее
дорогие мне.

* * *

Сквозняк, перелиставший календарь
в обратном направлении,
и дыбом встали прошлого листки,
рванул обои, раскачал фонарь,
проснулись голоса и голоски,
трещит среда, трепещет воскресенье.
Пометками все дни испещрены,
вновь предо мной проходит все, что было,
светло мерцают сквозь заботы быта —
часы работы, встречи, строчки, сны...

ЕДИНСТВЕННАЯ

Земля моя! Единственная! Свет
твоих морей — свет глаз голубоватый...
О, как расцвел коралл витневатый.
И дивный кит плащом воды одет...

Мир синевы, где каждый полутон —
частица гармонического лада...
Мир жабр. Живородящих. Жив планктон.
Жерло акулы. Нежные наяды...

Мертвее черепа мира других планет,
угрюмы лбы и выжжены глазницы,—
миллионы лет их бег — сквозь бездну — длится,
миллионы лет...

Земля моя! Кровинкою любой
я слит с тобой. Твои законы святы...
Жемчужинкой зелено-голубой
тебя привыкли видеть космонавты...

Взволнованный лепечущей листвою,
я средь ветвей угадываю лица,

Все бывшее значительным вчера
сегодня вдруг придвинулось поближе,—
в свершеньях всех несовершенство вижу.
О, беспощадной ясности пора!..

И мне открылся новый поворот
и мир за ним — тревожный и глубинный,
нежданный, неразгаданный, единый...
И вновь душа торопится в полет...

вернее лики,— лик единый твой,
он волнами и листьями струится.

Его пересекает свист крыла,
скользят, светясь, больших животных тени,
ликуют сонмы крошечных творений,
которым нет ни края, ни числа.

Единственная, как далек твой путь!
Звезда людей. Бессмертной жизни знамя.
Но есть безумцы, что хотят швырнуть
тебя — живую! — в атомное пламя!

Так стань оружием, мой бессонный стих!
Мы, голосу всемирной правды внемля,
стальным щитом, щитом сердец живых,
прикрыли расцветающую землю...

Среди полей, в бескрайнем далеке,
в лучах зари, идет — и не догонишь! —
с прекрасною травинкою в руке
мой сын, мой человеческий детеныш...

У ДОРОГИ

Прищурься, глянь,— не так уж плох,
проткнувший трав смиренный полог,
оскаленный чертополох,
таращащий шесть тыщ иголок.

Сплетенный из железных жил,
корявый стебель перекручен,
неправомерен, неприручен
и полон неизбывных сил.

Его пытали сапоги
и втоптывали в грунт колеса,—
он хохотал из-под ноги
и вверх взмывал простоволосо...

Мир неразгадан и глубокий,
и так прекрасен, так неистов
почти немислимый цветок,
цветущий горстью аметистов.

* * *

Безбрежный мир, в котором брезжат тайны,
как чьи-то затененные черты,
что смотрят нам в глаза из темноты,
непостижимы и необычайны.

Искатель тайн, иду, ищу, найду,
хочу, сосредоточен и неистов,

увидеть обнаженную — в ряду
простых, как солнце, светоносных истин.

Так мы все ближе к сути изначальной.
Открыта э т а, но за нею — т а...
Но сказано не зря, что красота —
сверканье истины из колыбели тайной.

БАТЫЙ И РУБЛЕВ

Истлели войны в курганах,
сквозь глаз — копые веков: ковыль,
шелом Батыя в Лету канул,
что злая слава? — прах и пыль.

Но жив — навеки! — мастер в мире,
на фреске — озаренный лик,
знак вознесенья — птица Сирин,
подъявший стяг Архистратиг...

* * *

Живая река
среди застылых недвижных снегов...

Живая...
Среди сизых сугробов,
среди мертвых пустых берегов...

Живая...
Спешит,
не устанет,
у тесных устоев моста...

Еще ледяная,
но как же быстра и чиста...

Живая...
Среди прочных,
слежавшихся каменно льдов...

Живая...
Живущая глыбы
седых обреченных пластов...

Снега подмывая,
топя,
не растают пока...

Сквозь годы, сквозь зимы,
незримо —
живая река...

ТВОЕ ЛИЦО

В жестоком луче репортерского блица
похоже и так непохоже оно.
Я знаю все твои лучшие лица.
Другие — случайно — только одно.

Все лица раздумья и вдохновенья.
Все быстрые, острые лики любви.

Едва промелькнувшие, лишь на мгновенье.
Почти неразгаданные. Твои.

Я вижу не те, что доступней и ближе,
не всем примелькавшиеся черты.
Я зорек: я самые лучшие вижу.
И знаю: они — настоящая ты.

Леонард Лавлинский

* * *

Летит по извечной орбите
Скакун, закусив удила.
По дьяволу в каждом копыте,
И морда от пены бела.

Со спутника вряд ли замечен
Осколок божественной звезды.

* * *

Есть на другой стороне бытия
Мой антипод и его колея.

Утром по улице в спешке гоню.
Он, перевернутый, по авеню.

Вниз головами на свечи плеяд
Все антиподы упасть норовят.

Наездника вызволить нечем:
На бред не накинешь узды.

Где космос целинный распахан,
Сгорит неудалый седок.
За тучами суетным прахом
Рассеется дымный следок.

Память оставили грунту луны
Их каблуки с теневой стороны.

Наш вездеход распахал высоту —
Четко легла борозда на свету.

Может, не так из чужого угла
Видится мир, но планета кругла.

ВЛАДИМИР. ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА

Гвоздем прощальный след оставил здесь —
Кто защищал твердыню от Батыя.
Переживаний огненную смесь
Мне отдали царапины святые.
Не разберу письма, но понял весть.

И ослепили краски золотые,
Которым на иконах не облезть.
Но это блеск отнюдь не Византии —
Он и теперь на многих лицах есть:
В зрачках стоят бои пережитые.

* * *

Меру сил моих назначить не с кем.
Князю я ударил бы челом,
Но сраженьями Чудским и Невским
Занят государственный шелом.

А язвительный старик Суворов
С круч альпийских высмеет меня.
Многовато, скажет, разговоров,
Маловато кучного огня.

Полководца рифмой успокою.
Белым пятнам жить по воле карт.
Льдом безвестным ждет меня Чудское,
Высится в тумане Сен-Готард.

Сергей Наровчатов

— Сергей Сергеевич, как бы Вы хотели отметить свое шестидесятилетие на страницах «Дня поэзии»?

— Я воспользуюсь предложением, чтобы вспомнить одного из своих старших друзей-поэтов Владимира Луговского. Это тем более оправдано, что именно Луговской двадцать пять лет назад был инициатором праздника День поэзии.

ПОЭТ И РУСАЛКА

— В одном из горных озер на Тянь-Шане наблюдали странное явление. Лунными ночами в темной влаге блестело нагое женское тело. Удивительная купальщица ныряла в ленивых волнах. Однажды с берега попробовали окликнуть ее, в ответ раздался журчащий смех. Рыбаки снарядили лодку и погнались за ней. Женщина стала стремительно уплывать к середине озера. Наконец рыбаки догнали ее. Она обернула к ним лицо нечеловеческой красоты. Впрочем, это чудо и не принадлежало к человеческому роду. Рыбаки застыли с веслами в руках. Женщина нырнула и, к ужасу людей, волны разбил большой рыбий хвост. «Русалка!» — крикнул один из рыбаков. Это было последним его воплем. Сильная женская рука выснулась из воды и потащила его в озеро. Могучий парень, он стал упираться. Над волнами опять показалось лицо, красивое и страшное. Зеленые волосы переливались в лунном свете. Русалка произнесла несколько слов на незнакомом языке. Рыбаки — таково было нервное потрясение — точно запомнили их, не понимая смысла. Как я установил, это оказался древнегреческий язык, а слова означали: «Наконец я нашла себе жениха». Русалка рванула парня из лодки и навсегда погрузилась с ним в озеро. Все это произошло в ночь на 3 августа 1938 года. Этим рыбаком...

— Были вы! — крикнул с места Луконин.

— Мишка, выгоню! — загремел оглушительный бас Луговского. — Может быть, ты не веришь в русалок?

— Верю, дядя Володя.

— Тогда оставайся на месте. Кто здесь сомневается в их существовании? Может быть, вот этот молодой человек? — мохнатые брови повернулись в мою сторону. — Он, кажется, пришел с семинара Сельвинского. Там не верят в русалок?

— Верят, Владимир Александрович, все верят, — подтвердил я.

— То-то. Как фамилия? Запомните, Сергей Наровчатов заверил нас, что братский семинар целиком и полностью верит в этих нагих, прекрасных, удивительных бестий. Конечно, бестии, — сокрушенно размышлял вслух дядя Володя. — Так, за здорово живешь, схватить бедного парня и утащить его на дно, даже не спросив, хочет он этого или не хочет. Но тут ничего не поделаешь — русалка...

После паузы он продолжал:

— Гомер называл их наядами. Андерсен ундидами. Лермонтов посвящал им стихи. Что же, все они были лгунами? Наровчатов, прочитай наизусть лермонтовскую «Русалку». Это твое боевое крещение на нашем семинаре.

Я поднялся с места:

Русалка плыла по реке голубой,
Озаряема полной луной;
И старалась она доплеснуть до луны
Серебристую пену волны.

И шумя и катясь, колебала река
Отраженные в ней облака...

— Довольно. Хватит. И после таких стихов кто-нибудь осмелится отрицать русалок? Были и другие, родственные им существа. Знаете ли вы, что Бенвенуто Челлини, знаменитый ваятель и ювелир, удостоверяет в своих записках наличие саламандр. Он собственными глазами видел, как эта маленькая тварь извивалась в огне. Я не вижу оснований не доверять старому мастеру. Он писал это в те годы, когда лгать неприлично.

Услышалось значительное молчание. Я не оговорился. Молчание действительно услышалось. Все, что делал Луговской, выглядело весомым. И говорил он весомо, и молчал весомо. В эту минуту он, видимо, перевоплотился в соз-

дателя «Персея», современника Рафаэля и Браманте. И сразу постарел на пятнадцать лет, ведь Челлини писал свои мемуары, когда ему было под шестьдесят.

Так началось мое знакомство с Владимиром Александровичем Луговским, продолжавшееся вплоть до его смерти. На его семинаре я был гостем, в Литинституте тех лет можно было свободно переходить из одной аудитории в другую, слушая разных преподавателей. Основная прописка, конечно, не менялась. Мы оставались в семинаре Сельвинского, но бывали в гостях у Асеева, Кирсанова, Луговского.

«Дядю Володю» мы знали как одного из лучших советских поэтов. «Песню о ветре», «Басмача», «Балладу о пустыне» мы помнили наизусть. В непрерывную азбуку поэзии, твердую днем и ночью, входили строки:

Итак, начинается песня о ветре,
О ветре, обутом в солдатские гетры,
О гетрах, идущих дорогой войны,
О войнах, которым стихи не нужны.

В таких строках есть, конечно, какая-то колдовская сила. Я вот, переписывая их в который раз, опять вздрогнул. В этих повторах слышится отзвук давних-предавних времен, когда у ночного костра, отмечая такт ударами в бубен, древний певец слагал песню в честь победителей. Проза редко достигает такого быстрого и резкого результата, как поэзия. В стихах, песне, речитативе заложена добавочная мера ритмического воздействия.

Луговской мастерски владел ритмом. В этой стихии он плавал всеми стилями — саженками, кролем, брассом, а когда хотел, переворачивался и отдыхал на спине. Сравнения мои вольные, но профессионалы меня поймут, ритмы легко уподобляются речным и морским течениям.

Михаил Луконин с той поры до самой своей смерти не уставал восхищаться ритмическими перепадами «Песни о ветре». Сколько раз он повторял мне строки:

А пока поручики пиво пьют,
А пока солдаты по-своему поют:

«Россия ты, Россия, российская страна,
Соха тебя пахала, боронила борона.
Эх, раз (и), два (и) — горе не беда,
Направо окоlesiца, налево лабуда.

Дорога ты, дорога, сибирский путь,
А хочется, ребята, душе вздохнуть.
Ах, сукин сын, машина, сибирский паровоз,
Куда же ты, куда же ты солдат завез?
Ах, мама моя, мама, крестьянская дочь,
Меня ты породила в несчастную ночь.

Помню дороги окружения. Идем с Михаилом Лукониным лесной просекой по Брянщи-

не. Временная безопасность. Немцы на первых порах не решались соваться в брянские чащи. Да и после, кажется, не лезли. Движемся на Восток. Пишу слово с большой буквы. Оно носило тогда не только географический характер. Помогаем нелегкой своей ходьбе — приходилось порой вышагивать по пятьдесят километров за день — речитативными строками.

Идет эта песня, ногам помогая,
Качая штыки по следам Улагая,
То чешской, то польской, то русской речью —
За Волгу, за Дон, за Урал, в Семирежье.

По-чешски чешет, по-польски плачет,
Казачьим свистом по степи скачет
И строем бьет из московских дверей
От самой тайги до британских морей.

Читались строки отдельно, в такт шагу. «И-дет э-та пес-ня, но-гам по-мо-гая, Ка-чая шты-ки по сле-дам Ула-гая». Здорово получалось. Так Луговской прошел с нами долгие версты по вражеским тылам. Сразу после войны мы с Михаилом рассказали об этом дяде Володе. Он растрогался, сдали нервы, слезы на глазах.

Довоенный Луговской поражал своей военной выправкой. Гвардейский рост, в строю стоять всегда правофланговым. Грудь — крутым колесом, прямо для регалий и аксельбантов. Профиль как на древнеримской медали — эдакий Траян или Тит. Взгляд как у орла с какой-нибудь верхотуры. А брови, брови... Всем бровям брови. Угловатыми воскрыльями, сходясь у переносицы, возносились они к высокому лбу.

Женщины всех рас, наций и племен, всех возрастов и характеров возносили добротные жертвы на алтарь этого ходячего божества. Молодые разбойники, мы иногда натывались на следы гульбищ старого пирата в виде размашисто подписанных фотокарточек и книжек в женских квартирах. «И ты тоже...» — «Что ты, что ты, он относился ко мне совсем по-отечески».

Хорош был Владимир Александрович в ту предвоенную пору. Да и после похода в Западную Украину можно было на него залюбоваться. Как влитые сидели на нем шинель, гимнастерка, бриджи. Фуражка с лакированным козырьком посредине лба. В сапоги глядись, как в зеркало. В петличках по три шпалы — интендант 1-го ранга, но — конечно — именовал он себя полковником. Весь в ремнях. Удивительно внушительный вид. В старину ему только бы в кавалергардах служить.

Поход прошел для него спокойно, вряд ли он даже выстрелы слышал, вернулся с уймой трофейного оружия. Прямо целый арсенал: сабли, шашки, кинжалы, даже какой-то дуэльный пистолет. Потом он все это раздаривал, чело-

век был щедрый. Мы по-мальчишески ахали, глядя на всю эту мушкетерщину, когда он приглашал нас в свои покои.

Продолжал писать отличные стихи. За год до большой войны, когда мы с Лукониным возвратились с финской кампании, он прочел на своем семинаре только что написанную «Курсантскую венгерку». Не стихи, а блеск сплошной.

Сегодня не будет поверки,
Горнист не играет поход.
Курсанты танцуют венгерку,
Идет девятнадцатый год.

Все в них было, в этих стихах, — и беломраморный зал, и царские люстры, звенящие холодным хрусталем, и ребята в скрипучих ремнях, и печальные трубы. И — романтика, романтика.

Странно, но мы тогда остались к ней холодны. Впрочем, почему странно? Мы только что вернулись из морозного пекла короткой, но злой войны и курсантского упоения разделить не могли. Мы поняли, что война штука серьезная. Прошло много времени, прежде чем мы заново ощутили неизбывную прелесть строк Луговской:

Летают и кружатся пары —
Ребята в скрипучих ремнях
И девушки в кофточках старых,
В чиневых тупых башмаках.

...Заветная ляжет дорога
На юг и на север — вперед.
Тревога, тревога, тревога!
Россия курсантов зовет.

Навек улыбаются губы
Навстречу любви и зиме,
Поют беспечальные трубы,
Литавры гудят в полутьме.

Светлая и печальная, как весь этот прощальный курсантский бал, концовка:

На хорах — декабрьское небо,
Портретный и рамочный хлам;
Четвертку колючего хлеба
Поделим с тобой пополам.

И шелест потертого банта
Навеки уносится прочь —
Курсанты, курсанты, курсанты,
Встречайте прощальную ночь!

Пока не качнулась манерка,
Пока не сыграли поход,
Гремит курсовая венгерка...
Идет — девятнадцатый год.

Блистательные стихи!

Владимира Александровича я встретил вскоре после своей демобилизации в 1946 году.

Он давно уже возвратился из Средней Азии в Москву, выглядел не столько подавленным, сколько растерянным. Видимо, не мог найти себе места в послевоенной кутерьме. Напряженно прислушивался к нашим фронтовым стихам. Будто пытался уловить родственные мотивы. Но прежние его ученики писали по-другому. Это было естественно: война оказалась совсем иной, чем в его стихах, а свою поэзию мы строили на военных впечатлениях. В бескрайней своей доброте дядя Володя гордился и любовался нами, показательно, что критические оценки совсем исчезли у него из обращения. Не потому, что мы стали поэтически непогрешимыми. Просто он считал непогрешимой биографию всего военного поколения и приравнивал к этому остальные свои оценки. Мы встречались в первое послевоенное десятилетие достаточно часто, встречи были добрыми, но в глубине души нас озабочивала тревога: не исчерпался ли поэт, не оскудела ли его кладовая?

Нет, Владимир Луговской, поэт божьей милостью, еще не сказал последнего слова. Оно было сказано им в последние годы жизни. «Солнцеворот», «Синяя весна», «Середина века» — сборник, книга, поэма. Три неколебимых вершины его творчества. Все лучшее, что было заложено и сохранено в широкой его душе, поэт явил миру в этих стихах. Поэму он назвал «Срединой века», но перед читателем проходит все наше столетие, оборванное для поэта в 1957 году. Войны и революции шумят над землей.

Да, весь я твой, живое время, весь,
До глубины сердца, до предсмертной мысли.
И я горжусь, что вместе шел с тобой,
С тобой, в котором движущие силы —
Октябрь, Народ и Ленин, весь я в них.
Они внутри меня. Мы неразрывны, —

пишет Луговской во вступлении к поэме. Мне привелось слышать в его чтении несколько глав «Средины века», особенно запомнилось «Лондон до утра». Когда я после побывал в британской столице, я все время сличал свои впечатления со строками Луговской. На отдалении меня поражала точность наблюдений и оценок поэта. Врезались в память строки о смерти Киплинга, он связал ее с началом второй мировой войны.

А Киплинг мертв.

И мертв не потому,
Что на четырнадцати окнах пали
Чешуйчатые траурные шторы,
Не потому, что строгоя вдова
Собравшимся о смерти объявила.
Замолкнул навсегда жестокий голос,
Воспевший бремя власти, легкость гнета,
Сказавший миру, что Восток и Запад
Недвижны будут до конца веков.

Но Запад полон грозовой тревогой.
Близка, близка всемирная война.
И вихрь зари поднялся над Востоком.
Свои окопы Индия срывает,
Багровым светом пынут Гималаи,
Малайский тигр готовится к прыжку.

Одно из лучших качеств поэзии Луговского — масштабность — в полном объеме проявилась в «Середине века». Масштабности в восприятии и обрисовке событий мы всегда у него учились, и здесь, напоследок, он снова развернул ее в щедром великолепии.

Порой Владимир Александрович звонил мне по утрам. Низкий голос: «Приходи, потолкуем». Садился в автобус, ехал на Лаврушинский. Дядя Володя встречал новыми строками, сообщал о находках в старых книгах. «Послушай, какая рифма в давней песне — приветница — привернется». А знаешь ты, что знаменитое песенное начало «Во лужях» совсем не имеет в виду луга. «Лузь» — это прогалина в лесу. А слышал ты о прилагательном «часовой»? Временный, недолгий, а еще почетный, уважаемый. Вообще-то странно: значения противоположные. Впрочем, в уважаемости есть,

конечно, оттенок временности. Сегодня тебя уважают, завтра нет», — и хмуро улыбнулся.

Огорошивал неожиданными сообщениями. Тогда боролись за независимость французские колонии. «Любопытно, — замечал Луговской, — что император Петр планировал и подготовил в 1723 году экспедицию на Мадагаскар. Написал письмо мадагаскарскому королю. Такового не оказалось. Переменили адрес, старейшинам, кажется. Мадагаскар мыслился как удобная стоянка по пути на Восток. Экспедиция не состоялась. Корабли дали течь и оказались непригодными к дальнему плаванию. Петр огорчился».

Романтика странствий и походов продолжала бурлить в сердце дяди Володи.

Но пришел день, когда русалка, странным миражем просквозившая на литинститутском семинаре, предъявила свои права на старого романтика теперь уже всерьез и навсегда. Холодная рука властно и неумолимо увлекла его в небытие.

Вот что мне хотелось сказать о Владимире Александровиче Луговском.

◆
Наши
соблазны
◆

Борис Слуцкий

Редколлегия сборника «День поэзии 1979» сердечно поздравляет Вас, Борис Абрамович, с шестидесятилетием. Рады видеть на страницах нашего издания Ваши новые стихотворения.

ПАРАДНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

По парадным лестницам торжественно ступают.
По пожарным лестницам взбираются стремглав:
если заваруха наступает,
кто взберется первым, тот и прав.

Черный ход со стороною
оборотною, с изнанкою вещей и дел,
много раз испробованы мною:
это мой удел и мой предел.

Здесь я выучился не чиниться
и тем паче не лениться,

старикам дорогу уступать,
помогать то женщинам, то детям
по ступеням этим,
шатким этим,
скользким этим, ломким этим
быстро и оглядливо ступать.

ЗНАКОМСТВО С НЕЗНАКОМЫМИ ЖЕНЩИНАМИ

Выполнив свой ежедневный урок —
тридцать плюс минус десять строк,
это примерно полубаллада, —
я приходил в состояние лада,
строю и мира с самим собой.
Я был настолько доволен судьбой,
что — к тому времени вечерело —
в центр уезжал приниматься за дело.

Улицы Горького южную часть
мерил шагами я, мчась и мечась.
Улицу Горького после войны
вы, поднатужась, представить должны.
Было тамлюдно и было там стадно.
Было там чудно бродить неустанно,
всю ее вечером поздним пройти,
женщин разглядывая по пути,
женщин разглядывая и витрины.
Молодость! Ты ведь большие смотрины!

Мой аналитический ум,
пара штиблет и трофейный костюм,
ног молодых беспардонная резвость,
вечер свободный, трофейная дерзость —
много Амур мне одалживал стрел!
Женщинам прямо в глаза я смотрел.
И подходил. Говорил: — Разрешите!
В дружбе нуждаетесь вы и в защите.
Вечер желаете вы провести?
Вы разрешите мне с вами — пойти!

Был я почти что всегда отшиваем.
Взглядом презрительным был обдаваем
и критикуем по части манер.
Был даже выкрик: — Милиционер!

Внешность была у меня выше средней.
Среднего ниже были дела.
Я отшивался без трений и прений.
Вновь пришивался: была не была!

Чем мы, поэты, всегда обладаем,
если и не обладаем ничем?
Хоть не читал я стихи никогда им —
совестно, думал, а также — зачем? —
что-то иные во мне находили
и не всегда от меня отходили.
Некоторые, накуражившись всласть,
годы спустя говорили мне мило:
чем же в тот вечер я увлеклась?
Что же такое в вас все-таки было?
Было ли, не было ли ничего,
кроме отчаянности или напора —
задним числом не затею я спора
после того, что было всего.

Матери спрашивали дочерей:
— Кто он? Рассказывай поскорей.
Кто он? — Никто. — Где живет он? — Нигде.
— Где он работает? — Тоже нигде. —
Матери всплескивали руками.
Матери думали: быть ей в беде —
и объясняли обиняками,
что это значит: никто и нигде.

Вывес из тех я вечерних блужданий
несколько неподдельных страданий.
Был я у бездны не раз на краю,
уничтожаясь, пылая, сгорая,
да и сейчас я иных узнаю,
где-нибудь встретившись, и — обмираю.

РАБОТА ИСТОРИКА

История — всегда разведка
в былом, но для грядущих лет.
Историк загибает ветку,
чтоб не свернул идущий вслед.
Историк трудится сутуло,
не разгибаясь по ночам,
чтоб эта ветка не хлестнула
вслед движущегося

по очам.
Он пролагает путь кружной
через прошедшее в грядущее,
чтобы прошли — пусть стороной,
пусть по обочине —
идущие.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Начинайся,
 страшная и странная,
странная и страшная
 игра
и возобновляющейся раною
открывайся каждый день
 с утра.
Я-то знаю, как тебя начать:
надобно
 по словарям разложенные,
лексикографами приумноженные
слова
 заставить прозвучать.
Пусть они гремят, как небеса,
эти слова,
и трепещут, как леса,
и жужжат,
как в лето
 жалом вложенная
тонкая оса.
В общем, для чего и почему?
Кто его, занятие это, выдумал?

Снова мыльный пузырек я выдул.
Радужность его
 влилась во тьму.
Целые эпохи,
эры целые
обходились,
даже обошлись
без склоненных над бумагой белой,
озвучавших радужную слезь.
Начинайтесь, голоса.
Чьи?
Не знаю.
Откуда?
Непонятно.
Начинайся наполняться
гелием,
 дирижабля колбаса.
Сгинь,
рассыпья,
лопни,
пропади!
Только с каждым утром вновь приди.

Татьяна Смертина

ТЕМНОЦВЕТЫ

До заревого света
Сенокосные звёны,
Расплылись темноцветы
В скошенном сене.
Дожидаются гребли,
Среди трав они точно,
Мотыльками на стебли —
Мрак полуночный.
Полдень жаркий поник,
Сели все отдыхать,
Лишь кудрявый Филипп
Их пошел собирать.
Темноцвет — цветок редкий,
Он не гожд для коров,
И на вкус больно едкий,
И на стебель суров.
Их Филипп, самых лучших,
Собирает не к свадьбе —
Вновь подарит Надюше,
Своей тихонькой бабе.
Солнце тает медово,
Под кустами смеются,

И тепло и толково
Разговоры ведутся.
Разыгрались девчата,
Разыгралась гармонь...
Ах, под белый откос,
Вижу, катится воз,
Густо иньем оброс.
На высококом сене
Конюх Сеяя:
«Садись, подвезу!»
Еду, еду на возу,
Хорошо в тулупе —
Мороз не отлупит.
Улыбается старик:
«Девка, зря не горюй!»
И грозитя шутилка:
«За подвоз — поцелуй!»
Я улыбаюсь:
«Брагой рассчитаюсь».
«А ты шла, ревела?»
«Было дело...»
«О ком убивалась?»

«С Москвой попралась.
Кончен институт,
Теперь я тут,
Еду на сене
С конюхом Сеней!»
И хохочем вволю.
Конь идет играючи.
Едем мы по полю

До деревни Ваничи.
Даль от зноя светла.
А Надюша, жена-то,
Год назад померла...
До заревого света
Сенокосные звéни,
Расплылись темноцветы
В скошенном сене.

В ПОЛЕ

Я иду далеко,
До деревни Ваничи.
Снегу здесь глубоко,
Но, дорогу знаючи,
Дойдешь всегда,
Если трезв, как вода.
Серебром обиты
Лапы редких вех,
Под валенком подшитым
Жалобится снег.
Поля покрывало
Кроет!
Мает дрожь.
Словно я пропала
Так, ни за грош!
Густ и бел снегопад,

Вьет, подолом круча,
Как по-вятски говорят:
«Валичча и валичча!»
Ни присесть, ни прилечь,
Вспоминается печь,
Чудится где-то
Забывтое лето...
Рожь со всех сторон...
Зерна выплывут —
Чуть тронь...
Непогодь прошла,
Оттаяла душа.
Закопалась в воз я,
Впереди — белбó!
В снежные полозья
Солнце натекло.

Станислав Куняев

* * *

Подшутила судьба надо мной:
были други — да сплыли с годами,
и надежды прошли стороной,
словно тучи, а влаги не дали.

И теперь в эвенкийском лесу
я рублю узловатый кустарник,
на закатное солнце гляжу:
где же бродит мой новый напарник?

Мне его бы вовеки не знать,
но веревочка жизни походной
нас так вязко сумела связать,
что из нас ни один не свободный.

Он умеет работать и жить,
он берется за всякое дело.
Жаль, что душу забыли вложить
в это неутомимое тело.

В мире призраков я не люблю
обретаться... А что мне осталось?
Он придет, я его накормлю,
напою, чтобы сбросил усталость.

Ветер стих. Начинается снег.
Я гляжу в темноту и гадаю.
Что случилось? Придет или нет?
Слышу шорох — и рад негодяю.

* * *

От своих переулков кривых
я ушел, как положено сыну,
и к великой столице привык —
думал, что никогда не привыкну.

Что засохну без милой реки,
задохнусь без весеннего бора...
Но сомненьям своим вопреки
перестроился прочно и скоро.

* * *

Солнце выглянуло, и теплынь
заклубилась над влажной долиной,
и прорезал небесную синь
ослепительный клин лебединый.

Снова птице судьба — рисковать,
токовать, зачиная потомство,

* * *

Слушай шум прибывающих рек,
слушай шорохи ночью и днем:
то последний измученный снег
размывается первым дождем.

Дождь прошел... И как будто: «Пора», —
прошептал осторожно траве,
и тотчас молодая трава
зашуршала на желтой тропе.

Вечный город! Я знаю теперь
все соблазны твои, все угрозы.
Ты не веришь слезам? — И не верь,
что тебе бесполезные слезы!

Если ты уже тысячу лет
все теснишь перелески да пашни
тяжкой мощью державных примет
от Кремля до Останкинской башни.

ей в любовном бреду наплевать
на твое и мое вероломство.

Значит, спор не решится добром,
коль невзрачной возлюбленной ради
взвился в небо, сверкая пером,
юный селезень в брачном наряде.

Слейся с вешним дождем хоть на миг,
стань безгласным, как черная ветвь,
и услышишь, как мертвый тростник
отзывается ветру в ответ.

А живой не поет никогда —
прежде надо отцвесть, умереть,
долг цветенья исполнить сполна
и потом на ветру зазвенеть.

Анатолий Чиков

ЛИЛИЯ

Угасают во мне усилия.
Из беды протяну ладонь:
Помоги мне, белая лилия,
Засвети ты во мне огонь.

Может, все мы душой одинаковы,
Но когда я тебя унес,
Лягушонок заплакал лаковый,
Успокойся, не надо слез.

Я с цветком сохраню достоинство.
Жаль мне смысл дорогих потерь.
Встань сердечность — святое воинство,
Глубину пустоты измерь.

На любовь ты меня натаскивай,
Мой цветок — лягушачий бог.
И запрыгал смешной да ласковый
Лягушонок, не чуя ног.

Александр Радковский

* * *

Послушай...

И прости, что говорю так тихо,
что мало говорю, что редко говорю...

Семь дней работает небесная ткачиха,
и нити белые скользят по октябрю.

Какая нить — уток? Какая нить — основа?—
не ведаю: я слаб в небесном ремесле...
Я грею, как птенца, своим дыханьем слово,
с тобою рядом встав на стынувшей земле.

Течет как полотно — заснеженное поле,
течет у наших ног, течет по-над тропой...

Возьми из рук моих птенца давнишней боли,
птенца моей вины пред прошлым и тобой.

Возьми его, возьми вот здесь на повороте,
где мы с тобой стоим плечом к плечу теперь.
Губами ощути комочек теплой плоти
и в эту теплоту — молю — поверь, поверь!

Ткачиха ткет и ткет по чьей-то холодной блажи,
метет, метет, метет, и — не видать конца..

О, сколько в небесах мертвящей белой пряжи!

...Возьми, возьми, возьми из рук моих птенца.

Сергей Поликарпов

ИЗ КНИГИ «ДУШИ ПРЕДЕЛ ЖЕЛАННЫЙ»

* * *

Уже и день — на убыль,
А тепла
Все нет как нет!
Похоже, и не будет:
Такой обвал дождя на зорьке будит,
Как будто рядом рушится скала!

Лишь травы вверх осатанело прут —
Громов телеги

Вязнут в них по оси,—
Как будто лишь травой решила осень
Венчать себя
И хлеборобский труд.

Смятенье от причуд на небесах.
Кто как горазд берется с ними спорить,
И только, на глазах сдобнея, Сороть
Живет сама в себе,
Как на сносях...

* * *

Как недоросль, Мороз озоровато
Всех девок перещупал у реки,
Где в проруби, как в дедовском ушате,
Пузырятся их юбки-поплавки.

Бодрящие крещенские погоды
Беспечно прибудились к декабрю,
И дальний скрип извозчицкой подводы
Стучит в остекленевшую зарю.

И гулко,
И высоко,
Точно в храме,
Забытом паствой ради нужд земных,
Где все
Ее сработано руками,
И тишь, и синь,
И леса вольный стих...

Вадим Ковда

СЕВЕРНЫЙ СЕНТЯБРЬ

Вид небес первобытный и дикий.
А под небом в лесу островном
мох расцвечен багряной брусникой
и прошит разноцветным грибом.

Я пою от отсутствия тягот,
а погода — и холод и блеск!

Под ногой от раздавленных ягод
еле слышу шуршанье и треск.

И сентябрь, по-русски беспутен,
щедро дарит обильный приплод...
Хватит зайцам, и птицам, и людям —
жаль, что больше еще пропадет.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ГРУЗОВИКЕ

Ах, зачем это я еду?
Что так зябну на ветру?
То ли море, то ли небо
за холмом — не разберу.

Сколько песен перепето!
Сколько нажито грехов!
Сколько грусти, сколько света
от любви и от стихов!

В рюкзаке краюха хлеба,
книга, кислое вино...
Что там: море или небо
за холмами? — все равно.

Еще есть куда податься,
чистой жизнью пожить,
что лелеять, кем пленяться,
по душам поговорить.

Вячеслав Куприянов

* * *

Ищет
снежинка в небе —
на какую землю упасть.

Ищет девушка в детстве —
кого полюбить.

Ищут дети во все глаза —
от кого им
родиться.

Александр Москвитин

МАШИННЫЙ МИР

Такая тьма, такая бездна
таланта, воли, мастерства
затрачена, что бесполезно
теперь отстаивать права.

А времени сквозная сила,
машинный мир гоня вперед,

неутолимостью взбесила,
а «Стоп» команды не дает.

И дико видеть, точно сына,
что поднял длани на отца,
как рукотворная машина
теснит тщедушного творца.

Марина Альперт
1921–1972

Наши
публикации

На протяжении десятилетия, каждый раз, направляясь на очередное (среда, 6 часов вечера) занятие Литературного объединения ЗИЛа, я знал, что в числе других интересных собеседников встречу и Марину Анатольевну Альперт.

Уроженка Вышнего Волочка, она работала на строительстве Московского Метрополитена, затем инженером в проектно-институте, преподавателем, растила сыновей, много времени отдавала общественной деятельности. Умная и добрая, Марина Альперт знала «одну, но пламенную страсть» — поэзию. Ей она посвящала лучшие часы своей жизни.

Передо мной небольшая, прелестная книга лирики, еще, к сожалению, не нашедшая издателя. Я перечитываю эти лаконичные, исполненные нежной точности, строки, перечитываю не только в силу почтительности к памяти Марины Анатольевны, а в силу живой потребности в этом исключительно честном, чистом, задушевном собеседнике.

Лев Озеров

МАМЕ

Вот и сравнялись годы наши, —
Судьба тебе недодала.
И скоро сделаюсь я старше,
Чем ты когда-нибудь была...
А мы с тобой во всем похожи:
И я реву по пустяку,
И засыпать привыкла тоже
На том неправильном боку,
На том, где, раненный и пленный,
Неподдающийся врачам,
Людской мотор несовершенный
Устало ноет по ночам...

Ах, мама, некуда мне деться —
Все повторяется в судьбе;
И это ноющее сердце —
Напоминанье о тебе.
И по ночам так очевидны,
И с каждым годом все большей
Незаживающие вины
Мои пред памятью твоей...
Но вот рассвет в оконных рамах,
И я опять живу, дышу,
И снова слышу слово «мама»,
И снова не произношу.

У МОГИЛЫ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Я — мать двоих живых детей,
Всего двоих.
А сколько было!..
В земле моей и не моей
Их безымянные могилы.
И нет ни ночи мне, ни дня,
И никуда от них не деться,
И четверть века у меня
По сыновьям тоскует сердце;
Ведь мне, наверное, двоих
Судьба затем и подарила,
Чтоб прежних сверстников своих
Посмертно я усыновила...

СТИХИ О СЕБЕ

Какая участь трудная — творить, —
Пожизненная горькая забава.
Себя раскрыть и людям подарить;
Кто дал мне это дерзостное право?..
Не надо слов про высшее призванье, —
Я вряд ли им отмечена была.
Что мне дано?

Любовь и состраданье
И таинство душевного тепла.
Умею проектировать дороги,
Детей растить и щи варить могу.
Я меньше многих, но и больше многих
Привыкла делать на своем веку.
И мне ничто легко не доставалось:
Ни быт, и ни любовь, и ни строка.
Под коромыслом грузным не сгибалась,
Таскала в печь охапки кизяка;

В ручье вставала на осклизлый камень
И, не кляня нелегкое житье,
Негнушимися красными руками
Выкручивала хрусткое белье.
Меня ничто не обходило мимо:
Мне доставалось не из третьих рук
И счастье быть желанной и любимой,
И лед потерь, и холодок разлук.
Я никогда не лезла вон из кожи,
Чтоб достоверность осветила стих;
Мне помогала трудная похожесть
На сверстниц многочисленных моих.
Мой путь к стихам не розами увенчан;
Пусть же мне уверенность простят,
Что я — не я,
а сотни сотен женщин,
Которые и любят, и грустят.

Елена Николаевская

СЛОМАННЫЕ СТАРЫЕ ЧАСЫ

Сломанные старые часы...
Непривычен облик их и странен.
Искорежен, будто кем-то ранен, —
Не вернуть утраченной красы...

Сломанные старые часы:
С ними девочка бежит по саду.
Радостная — ей других не надо! —
В радугах от утренней росы.

Сломаны? О нет, они живут,
Отмечают времени движенье.
В ритме бьется пульс, без напряженья...
Много ли отметили минут?

Много ль отсчитали зим и лет?..
Высчитать ли?.. Разве что для шутки...

Для ребенка не на цифры сутки
Делятся —
на темноту и свет.
Лишь движенье ведомо часам
На ладони детской — старым этим,
Как присуще чувство счастья детям
Или чувство тяжести весам.

Без границ, без счета, без преград
Время — на ладони у ребенка.
Все на месте: корпус, шестеренка,
Маятник, пружина, циферблат...

А который час? — для всех секрет:
Все на месте...
Только стрелок нет...

* * *

У всех — свое понятие,
Точка зренья
На красоту, на вкус или на цвет.
Кому — соленья,
А кому — варенье,
Слова ли, цифры —
Тут закона нет.
Кому милей трава,
Кому сугробы,
Дворец — и дом, что обречен на слом.
...Но в доброту не претворится злоба,
Добро вовек не обернется злом.

Павел Нилин

ВХОДИТ В КАЖДЫЙ ДОМ

«Души прекрасные порывы» — эти пушкинские слова точнее определяют то, что называется поэзией и что в конечном счете устойчиво отделяет нас от остального животного мира, возвышая и окрыляя в самом волшебном и фантастическом смысле.

В мире, однако, распространено ошибочное представление, что поэзия и стихосложение почти одно и то же.

На самом деле это совсем не так.

Высокое чувство поэзии может быть иной раз приуще в большей степени так называемым простым, даже не очень грамотным людям, чем профессиональным и даже известным стихотворцам.

Василий Белов

ПОЭЗИЯ НЕОБЪЯСНИМА

Беззастенчивость посещает нас не только во время общения с людьми. Фамильярность наша в отношениях, к примеру, с природой не знает границ. Но идеи и понятия страдают от бестактного поведения не меньше, чем материальная среда нашего обитания. Они как бы замыкаются в себе, когда натываются на самонадеянное нахальство рационалистического ума, словно бы стыдясь своих извечных, но затасканных нами названий.

Разве не это произошло, например, с ЛЮБОВЬЮ? Вырванное из троиственного сочетания, ставшее предметом массового пользования, слово это пытается (как мне кажется, пока без успеха) освободиться от навязанного ему сексуального значения.

ПОЭЗИЯ оказалась, на мой взгляд, более удачное сопротивление опустошающему натиску рационализма. Структуралисты и прочие «исты» не отступают от ПОЭЗИИ, пытаются снизить ее до их собственного

Нет особого открытия и в том, что нередко писатели, пишущие прозой, больше поэты по самой сути своих сочинений, чем те, что старательно нанизывают рифмованные строчки.

Поэзия величественно и величаво способна входить и входит в каждый дом, касается сердца каждого из людей, наполняя нас предчувствием чего-то неожиданно чудесного, равного надежде на счастье, на бессмертие жизни.

Что касается меня, то в мою жизнь поэзия вошла раньше, чем я узнал, что она называется поэзией. Она вошла, как, вероятно, и в сознание всех других землян, вместе с песенкой матери у моей колыбели и не угаснет у борта могилы.

уровня, сузить понятие, а затем и вовсе свести на нет.

Даже одежда у человека бывает будничная и праздничная. Отчего же бы не иметь нам и праздничных высоких понятий? Почему бы раз и навсегда не освободить ПОЭЗИЮ от позорного для нее соседства с версификаторством?

К счастью, ОНА живет не только в стихах. Может быть, в музыке ее еще больше? Кто знает. Мне кажется, что ОНА могла бы одухотворять не одно лишь искусство, но и физический труд, и науку, и семейные отношения...

По моим понятиям ПОЭЗИЯ необъяснима. Она исчезает, как только мы начинаем дотошничать в ее изучении, раскладывать ее по косточкам либо навязывать ей что-то из других духовных категорий.

Не знаю, для чего она существует. В одном уверен: вовсе не для того, чтобы рассуждать о ней...

Сергей Антонов

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Помню, в начале писательства мне никак не удавалось изобразить влюбленную пару так, как я желал. Лирический рассказ был почти готов в уме, а нужная фраза не давалась. На вид дело было простое: влюбленный парень идет с девчонкой-дояркой под ручку — только и всего. Парень влюблен по уши. Держит он свою зазнобушку крепко, шагает неловко согнувшись к ее плечу. И вот — эта простая картинка не получалась. Чем выше залетало воображение, тем косолапее выходила фраза.

Примерно в это время мне пришлось ненадолго поехать в деревню (кажется, за материалом для очерка об объединении колхозов). Там я случайно услышал частушку. Первые строчки ее были такие:

Парень девку провожал,
Туго под руку держал...

Это-то коротенькое слово «туго» я и не мог поймать, когда возился над рассказом. Понадобились годы, чтобы понять, что одной из ступеней нашего

мастерства является не погоня за бенгальскими эффектами, а умение приживать самое домашнее, обиходное слово к поэтическому стволу.

Внимательно вслушиваясь в строку полноценного поэтического произведения, — в том числе и в народную песню и в частушку-однодневку — мы учим не словечки, а постигаем дух родной речи, ее склад и мудрость этого склада.

В стихотворной строке сочетаются дисциплина строгости строя и метра и безудержное, почти безумное стремление слова к омоложению, к эмоциональной полноте и широте содержания.

Руководя семинаром молодых прозаиков, я заметил любопытную закономерность: наиболее легко при-

ручают слово те, кто, во-первых, родился в деревне, а во-вторых, начал литературный путь со стихов. У бывшего поэта слово быстрее становится похожим на него самого. Ну так, как, например, громогласное слово Маяковского похоже на Маяковского, а царственное слово Ахматовой — на Ахматову.

В наше время настойчивой борьбы за эффективность и качество остро чувствуется необходимость повышать коэффициент полезного действия слова человеческого. Это особенно касается, на мой взгляд, современной беллетристики. Мне кажется, что прозаикам, кроме всего прочего, полезно регулярно принимать небольшую дозу хороших стихов. Поэзия никогда не вредила и всегда помогала своей подруге — прозе,

Николай Сидоренко

* * *

Кругом литых стволов колонны,
Над ними хвои купола,
Где напевают, многозвонны,
Незримые колокола.

Их в многолюдье не услышишь,
Но если ты придешь один,
Под этой поднебесной крышей
Уловишь музыку вершин.

С заречным благовестом схожа,
Она торжественно течет,

Не беспокоя, не тревожа,
И беды мелкие не в счет,

И наше бытие людское,
Незримо посветлея вдруг,
Сдается музыке покоя,
Незримо льющейся вокруг.

Нам древний бор как бы вещает:
Природа — вот извечный бог,
Который храм свой отворяет
Для тех, кто сердцем не оглох...

Владимир Цыбин

ВО ВСЕМ

Я жить хочу во всем,
мгновенном, тленном,
в короткой жизни тропок средь пурги,
в себя вбирая слухом откровенным
всех живших и живущих всех шаги,
безвестность возвращений беспрестанных
вбирать в себя, чтоб не забыть — увы —
и утра зыбь,
и высь вершин гортанных,
и неуспокоенные синева.
Я жить хочу во всем,
со всеми рядом,
чтоб бросить сердце на разрыв в распев,
вбирать в себя неукротенным взглядом
в глазах чужих доморощенный гнев.
Так подари мне, жизнь, такое право
судить о том — и быть судимым все ж, —

где злая, неопознанная правда,
где затхлая, пупырчатая ложь.
Я жить хочу во всем:
и в том мальчонке,
что мне взобрался на руки, ворча,
в черемуховом, птичьим перещелке
и в песне, вставшей около плеча;
во всем, во всем неслышимо, незримо
стать миром с его терпкой глубиной,
жить в женственных, скользящих складках
дыма,
поспешно разбинтованных весной.
Я жить хочу во всем —
всему навстречу,
всей тяжестью натруженных корней
вбирать в себя еще бессвязной речью
раскрепощенье времени и дней...

ТРАВЫ ДЕТСТВА

В день мой високосный
даль пахнет порою
пересыпью росной,
мятою сырою.
Большаком ли, тропкой,
а вернусь согреться
из чужбины теплой
я на травы детства.
Вот покинул грустно
большаки державы,
выбежали грустно
мне навстречу травы.
— Опоздал ты! — в рани
тихо объявили. —
Торопился к маме,
а пришел к могиле.

Все спешил, став старше,
через век суровый —
вновь я опоздавший
к горести отцовой.
Отдал сердце зною
и дорогам новым,
а пришел с виною
к двум крестам сосновым.

Дням не назвенеться,
если на закланье
отдан травам детства,
отдан травам рани.

Боль моя стоуста —
горше нет на свете:
— Так же ли неужто
нас покинут дети?.. —
Стало все иначе —
устремленный в отдаль,
мачехе-удаче
душу свою отдал.
Сиротой у славы
я покинул дали.
Покачнулись травы:
— Кто ты? — не узнали, —
словно память воском
залепило ныне,
уходил я — к веснам,
а вернулся — к стыни.

По какому краю
грусть свою развею?
И совсем не знаю,
и совсем не верю.
Не меня ль когда-то,
верящего в диво,
проводжала мята,
встретила крапива!
Пусть меня встречают
в травах детства весны,
пусть не угасает
день мой високосный...

* * *

Наверно, в том моя вина:
ни в чем не ожидая прока,
я создавал тебя из сна,
из влажного его натека.
И вот — прозрачнее стекла,
из ничего возникла зыбка,
по сновиденью потекла
новорожденная улыбка.
На боль заранее готов,
все отдав вещему мечтанью,
я создавал тебя из слов
нетерпеливою гортанью.
И взят звучаньем этим в плен,
как будто вдвинут в эхо ливня,
своим дыханьем, небом, всем
ртом

осязал твое я имя.
И медленно в меня текло,
покамест в контурах неясных,
одушевленное тепло

забытых гласных и согласных.
Я создавал тебя из строк
тех, взбалмошных твоих записок,
из вдоха, что давно истек
и на губах прохладно высох,
из взглядов,
брошенных в распыл,
из смутного листвы присловья,
из дрожи рук — подобьем крыл
закинутых за изголовье.

Я видел, как твои черты
возникли, проступили сиром
всем несогласьем красоты
с обыденным отличьем мира.
Из зыбкости тебя лепил,
из стыни и тепла по крохам
и все будил, будил, будил
своим нетерпеливым вздохом...

* * *

Пока была ты от меня вдали —
с деревьев листья схлынули, сошли
и из глубин прозрачных, как смола,
за каплей капля наземь даль стекла,
стекла, стеклась под корни, затвердев...
И день дрожал на кончиках дерев,
и выцветали черные лога,
и вымерзали теплые снега,
и город мой стал тихим, как село,
и даже время выцвело само.

Пока была ты от меня вдали,
сквозь сердце по-пластунски дни ползли,
глаза мои переползали резь
и, не родившись, задыхалась речь.
Я сквозь слова дышал, как через мох.
О, если б только продышаться мог
сквозь них к тебе, в тишь беззащитных слез,
чтоб зов мой в нежность отзыва пророс —
вернул тебя б для радостной тщеты.
Мне не былое надобно, а ты!

Пока была ты от меня вдали,
так жил я, что рассветы не цвели
и горизонт приплюснулся к снегам.
Глаза примерзли всклень к твоим следам.
И я запомнил горько на года —
разлились по разлукам холода.
Я жил средь дней недвижных,
как средь скал,
и к памяти о встречах примерзал.
Был каждый день — как будто край земли,
пока была ты от меня вдали...

* * *

Глаза любимых женщин... Почему-то
не хочется их избегать тенет —
прыжок — в зрачки. Но стропы парашюта
оборваны — летишь — спасенья нет.
Огромны и загадочны, как Азия,
глаза, куда входил я, как в ковчег...
В стремительное их зеленоглазье
я вброшен был — в неукротенный бег.

И все-таки я замечал не раз,
то в грусти, то в отзывчивом веселье,
из тысячи случайных беглых глаз —
твой глаза в мои глаза глядели.
И хуже нет сердечной маеты,
когда, в других глазах неотвратимо
разъята на отдельные черты,
на миг воскреснув, ты проходишь мимо...

Николай Глазков

— Николай Иванович, чем хотели бы Вы отметить в «Дне поэзии» свое шестидесятилетие?

— Если есть разворот новых стихов, это уже прекрасно.

* * *

Жить и жить полезней и прелестней,
Чем лекарства смерти принимать.
После продолжительной болезни
Жить и жить мне хочется опять.

Живописны яблони и вишни,
И, беспомощно ложась в постель,

Жить и жить хочу во имя жизни:
Жизнь — не средство, это самоцель!

Увяданье, замерзанье грустно,
Радостно цветение цветка.
Жизнь — это искусство для искусства,
Смело устремленное в века!

* * *

Азбука теней
Тоже не без А.
Тени простыней
Вхожи в небеса.

Тени по стене
Вроде обезьян.
Азбука теней
Тоже не без Я.

В азбуке теней,
Как в миру вещей,

Плавает тюлень,
В частности, вообще ль?

Азбуки такой
Нет, как таковой!
Мне она на кой?
Заслону рукой!

Но из-под руки,
Где еще темней,
Скачут старики
Азбуки теней!

ОСТРОВ СЧАСТЬЯ

(Сказка)

Жил на свете добрый заяц,
Хитроумец и красавец,
Был подвижен и удал.
В темном лесе, в чистом поле
Вольной воли, светлой доли
Он однажды пожелал.

Так сказал: — Хочу попасть я
На зеленый остров Счастья,
Остров добрых берегов,

Где орлов не будет страшных,
Хищных филинов ужасных
И лисиц, куниц, волков!

Пусть олени и косули
И в июне, и в июле
Травку сочную жуют,
Травоядные созданья
Пусть познают процветанье,
Безопасность и уют!

Пусть сознательные зайцы
Размножаются, резвятся,
Состязаются в бегах!
К травам чувствуя влечение,
Дегустируют растения
На привольных берегах!

А любители природы
Пусть заводят огороды
Посреди цветущих трав,
Пусть сажают что угодно,
Только зайцев благородных
Не имеют прав пиф-паф!

Хоть попасть на дивный остров
Было зайчику не просто,
Все же он попал туда.
От когтистого клыкастья
Ограждала остров Счастья
Двухсотмильная вода.

Стали зайцы размножаться,
Всюду зайцы, зайцы, зайцы.
Сколько зайцев? Миллион!

* * *

Ни на кого не похож,
Ибо родился поэтом.
Скажут глущцы: — Ну и что ж!
Где же гражданственность в этом?

* * *

Как следует писать стихи?
Есть много правил неплохих
И много дельных указаний
По поводу стихописаний.

ОДНОМУ ПРИЯТЕЛЮ

Тебя ветры судьбы не согнули —
Не пугаясь аттил и горилл,
Слышал ты, как свистели пули,
Между пулями проходил.

* * *

Я пешком прошел по трассе,
Встретил трудностей немало.
Очень много было грязи,
Но не вся ко мне пристала.

Стало голодно и тесно,
Ибо — каждому известно —
Нужен зайцу регион!

Начались у зайцев ссоры,
Из-за кустиков раздоры,
Разногласьям где предел?
На обглоданной лужайке
Пожелал зайчишка зайке:
— Лучше б волк тебя заел!

Пожелал — и ждать не долго:
Привезли на остров волка
И коварную лису.
Жить опасно зайцам стало,
Но для зайцев выросло
Больше зелени в лесу!

Умудренный жизнью заяц,
Не мерзавец, а красавец,
Почал зайчат своих:
— Волки — бяка, филин — бяка,
Тем не менее, однако,
Невозможно жить без них!

Я, никого не дублируя,
Скучной не делаюсь тенью.
Слово поведаю миру я,
Равное изобретенью!

Однако, чтоб поэтом быть,
Все это надо позабыть:
В стихах лишь тот себя прославил,
Кто не придерживался правил!

А теперь не бойшься ненастья —
Если грянет негаданный дождь,
Хитроумно надеясь на счастье,
Между капельками пройдешь!

Ну, а та, что в изобилье
Покрывала душу, тело,
Высыхая, стала пылью,
С буйным ветром улетела.

В воспоминаниях современников

Михаил Львов

ИЗ МОЗАИКИ ПАМЯТИ

1

Гудзенко был ранен в живот. Яков Хелемский говорил: «У него пушкинское ранение».

Пушкинское ранение в наше время умеют лечить.

В госпиталь пришли писатели. Среди них — Илья Эренбург.

Нас всех кто-нибудь «открывал».

Он «открыл» Гудзенко. В госпитале.

Мы еще не раз и не два благодарно будем говорить об этом.

Так в осажденном Ленинграде работал штаб обороны, который возглавлялся великими военными людьми.

Штабом поэзии была квартира Тихонова. Штаб бессонной российской поэзии, вместившие высоких помыслов, рыцарских чувств, несдающегося духа. В этот штаб молодые поэты приходили из окопов: Сергей Наровчатов, Сергей Орлов, Михаил Дудин, Георгий Суворов.

Такой «штаб» — полевой, походный — был у Алексея Суркова, у Константина Симонова, — только по условиям армейского существования их начальников эти «штабы» не имели постоянного места, они передвигались вместе с Армией.

Алексей Сурков на фронте «открыл» Марка Соболя, читал его стихи наизусть, пропагандировал, печатал. Он протянул руку — признанием и помощью — Александру Межирову, Семену Гудзенко, Платону Воронько и десяткам других солдатских поэтов.

Не зря — после войны уже — Михаил Луконин и Семен Гудзенко вдвоем написали и напечатали стихотворение (отличное!) о Суркове. Ему посвящали стихи, о нем писали; одно из посвящений — «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины» — давно уже стало классикой нашей поэзии. А уж солдатских писем шло к нему не мешками, а, наверное, вагонами.

Вспоминая Гудзенко, я вспоминаю его окружение, и ровесников, и старших. Это, видимо, неизбежно. А стиль, как я понимаю теперь (во время работы), видимо, рождается необходимостью. Задачей темы. Ассоциативный стиль с отступлениями, ответвлениями...

...Из госпиталя — в поэзию. При слове госпиталь — у меня также вспыхивает множество ассоциаций. Вспоминаю, как в Челябинске, вечером, в длинном неосвещенном коридоре бывшей школы, шел вечер поэзии. После прекрасного выступления Всеволода Аксенова — он читал Есенина — в зале была тишина. Никаких аплодисментов. В полутьме коридора поднялся раненый в больничном халате и сказал: «Простите, мы хлопать не можем: у нас нет рук».

...Итак, из госпиталя — в поэзию. Гудзенко вошел в нее талантливо и сразу. Его стихи покорили прежде всего его ровесников.

Я хотел с ним познакомиться. Пришел в клуб писателей, в дубовый зал — стулья убраны, зал открыт и пуст, остановился, оглядываясь, с другого конца зала направляется ко мне человек крепким, звучным, солдатским шагом, выше среднего роста, красивый, в сви-

тере, с большими глазами, опушенными густыми, по-девичьи нежными, ресницами, и протягивает руку:

— Здравствуй, Львов! Я — Гудзенко.

Оказывается, до войны он учился в ИФЛИ и приходил в Литинститут, где учился я.

Он начал с «ты». Так ведь бывало и у солдат: пришел в часть новичок и сразу попал в семью.

Это было круглосуточное общение. Входили в жизнь и в поэзию. Все было интересно. Все имело значение. Так было в годы войны и после. Круг наш расширялся, укреплялся. Недогонов, Луконин, Наровчатов. Субботин, Межиров, Дудин, Друнина. «Воинская часть» росла.

Мы тогда много выступали, мало печатались. Семен считал, что надо выступать всюду, печататься — всюду.

Но печатались мы мало.

На радио, в редакции ходили вместе. Нас называли «обоймой». Не всякий редактор «устойт» перед ней. Отказать одному — означало отказать всем.

На радио работал старый редактор и литератор Сергей Васильевич Бортник. Относился к нам очень нежно. Говорил:

— Литература — живой процесс... теперь вот вы пришли... принесите большое оживление...

И открывал нам «дверь» в эфир.

Мы в то время все снимали где-нибудь углы или подвалы, а то и «мансарды»...

Я жил тогда в подвале неглубоком,

Куда меня московский быт занес.

Трамваи пролетали выше окон,

Я жил внизу, на уровне колес.

А после перебрался я повыше, —

Почти под крышу — на седьмой этаж.

Смотрю в окно и вижу — крыши, крыши...

Никак не вдохновляющий пейзаж.

Это — строки из ненаписанной поэмы (моей). Поэма не написалась, потому что тема была «ползучей». Быт. А мы тогда — несмотря ни на что — каждое утро просыпались еще крылатыми, и хотелось летать.

Как ни странно, хотелось и на передовую. «Литбыта» нам не хватало. Это был наш «переходный период».

В то самое время, в коридоре Литинститута, днем встретился с Семеном. Остановились. Он прочитал мне новое стихотворение:

Нам никогда уж не собраться,

Как собирались на войне,

И пепел фронтового братства

Уже развеян по стране.

Как в истинных стихах, в них была — и пронзительность, и правда, и боль, и пророчество...

В стихах уже заговорила тоска о фронтовом братстве, товариществе...

Позднее из этой тоски, боли и из этого «пепла» родится великое движение ветеранов.

А пока мы — в послевоенном времени.

Тогда же появилось накопившееся в поколении, в

стране желание собраться вместе всем поэтам военного поколения. Так возникла идея первого всесоюзного совещания молодых писателей — и оно состоялось в марте 1947 года.

Это был и праздник поколения, и смотр его победного поэтического войска, и труд, и учеба.

Это было совещание пришедших с передовой. Думается и сейчас, поэт должен приходить в литературу с передовой — не с флангов и не с тыла. Поэзия и поэт прекрасны отвагой, блеском и роскошеством силы, ярости, честности, удали и отчаянности. А эти качества расцветают только на переднем крае битвы и жизни. Об этом думается и сегодня.

...Семен отпустил усы и стал похож на запорожца. Подошел к нему Александр Яшин и сказал, как объявил, ни к кому конкретно не обращаясь:

— Красивый поэт! Самый красивый поэт в литературе.

Пришел Семен в поэзию с передовой. И погиб на передовой, хотя это и было через несколько лет после войны.

Как отчаянно и беспощадно, как пророчески звучат ныне строки Гудзенко:

Мы не от старости умрем —
От старых ран умрем.
Так разливай по кружкам ром,
Трофейный рыжий ром!

2

В 1944 году я впервые увидел Н. С. Тихонова. Очень хотелось почитать ему свои стихи. Попросил «аудиенции» на пятнадцать минут. Он принял меня в гостинице «Москва», в номере 528 — он недавно переехал из Ленинграда в Москву. Когда я прочитал ему с десяток своих стихотворений, он сказал мне:

— Да подождите, да откуда вы взялись? Да вы же меня, «старого kota», за ухом почесали — да вы же истинный поэт!..

Он дал очень лестную оценку моим стихам и рассказал следующее: в Ленинграде, в здании Адмиралтейства, два человека, через несколько фанерных перегородок — внутри здания — разговаривали друг с другом по телефону, — была бомбежка, взрывной волной «сплющило» эти фанерные перегородки, а основные стены устояли, и эти два человека — на мгновение увидели друг друга...

— Так я, человек войны четырнадцатого года, через ваши стихи на мгновение увидел вас, человека войны сорок четвертого года...

В тот же день я был принят в члены Союза писателей СССР. Голосовали — в моем присутствии — Л. Соболев, М. Исаковский, А. Сурков, С. Щипачев, И. Уткин, А. Кононов.

Вечером Николай Семенович увидел меня в клубе и спросил:

— Ну, как, приняли?.. Вот видите, — у меня легкая рука.

Он пригласил меня с собой на ужин — банкет в честь закончившегося совещания областных писателей, и предложил тост:

— Выпьем за нового поэта, в нашем полку пришло...

Это — узнавание поэтами друг друга, эта заботливость старших, помогающих молодым, — драгоценное и постоянное богатство нашей литературной жизни.

Два года тому назад в журнале «Библиотекарь» к 80-летию Николая Семеновича Тихонова я напечатал о нем статью, названием для которой взял строку Твардовского «Русский чудо-человек».

Увидел Николая Семеновича на одной из переделькинских снежных троп.

— Вы меня произвели в чудо... — сказал он мне.

— Да, Николай Семенович, так я думаю о вас, так мы думаем все, ваши ученики.

Он весь светился голубиной глаз, сединой висков и великим сказочным внутренним светом души.

Первого января 1978 года я пошел на прогулку. Встретил Николая Семеновича на улице Серафимовича. Рядом с ним шла очаровательная молодая женщина, сотрудница журнала «Советская литература», Петр Сажин с семьей. Я тоже присоединился к ним. Ходили, беседовали. Оторваться от Николая Семеновича, когда он что-нибудь рассказывает, невозможно. Знания его были необъятны, память неиссякаема.

Пришел домой, записал в тетради: «Это счастье — увидеть Тихонова в первый день Нового года!» Тут же написал стихотворение «Тихонов в Переделькино». При следующей встрече сказал ему об этом, но читать стихотворение постеснялся. Я и мои друзья успели ему при жизни сказать слова восторга и признательности, написать о нем стихи, статьи. Он был давней, постоянной, устойчивой любовью нашего поколения, и не только нашего. С юных лет мы полюбили его стихи и его образ. Его строки вошли в нашу жизнь как формулы мужества. В 44-м году, во время нашей первой встречи, он мне читал стихотворение, написанное двадцать восемь лет тому назад и не опубликованное еще в то время. Оно заканчивалось строками:

Но умереть нам будет мало,
Как будет мало просто жить.

Хотя и оборвалось у меня сердце при трагическом известии о его смерти, хотя я долгие часы потом чувствовал себя убитым этой страшной вестью, но, снова обретая душевные силы от прикосновения с его магической поэзией, я снова вспомнил эти строки. Образ его не останется смерти, поднимется над ней и будет вечно жить в душе народа, в нашей культуре и в нашей литературе.

ПОД СВОДАМИ
ДУШИ ТВОЕЙ ВЫСОКОЙ...

Памяти Сергея Орлова

1

Я в этот храм вступила ненароком —
Мне попросту в дороге повезло.
Под сводами души твоей высокой
Торжественно мне было и светло.

Над суетой, над бедами, сквозь годы —
Твой опаленный, твой прекрасный лик!..
Но нерушимые качнулись своды
И рухнули в один ничтожный миг...

2

Ты умер, как жил, — на бегу, на лету,
С портфелем в руке, с сигаретой во рту.
Наверно, в последнем секундном аду
Увидел себя в сорок третьем году,
В пылающем танке, в ревущем огне,
И, падая, понял: убит на войне...

3

Кто-то тихо шептал твое имя,
Кто-то выдохнул: «Значит, судьба...»
Холод лба под губами моими,
Смертный холод высокого лба.

Я не верю ни в черта, ни в бога,
Но о чуде молилась в тот час...
Что ж ты сделал, Сережа, Серега, —
Самый добрый и смелый из нас?

Как ты дал себя смерти осилить,
Далеко до зимы не дойдя?..
Провожала солдата Россия
Ледяными слезами дождя.

Осень шла в наступление люто —
Вот-вот бросит на кладбище снег.
От прощального грома салюта
Лишь не вздрогнул один человек...

4

Плечи гор плотно-плотно туман закутал —
Здесь бродил ты лишь год назад...
Хорошо, что тебя провожали салютом —
Ты был прежде всего Солдат.

Море хмуро, вода отликает сталью,
Тих рассеянный странный свет...
Хорошо, что у гроба стихи читали —
Ты был прежде всего Поэт.

Ах, как Времени быстро мелькают спицы,
Как безжалостно мчится век!..
Хорошо, что так много пришло проститься —
Ты был прежде всего Человек.

5

Что же делать? Чем дальше, тем горше.
Я смириться с бедой не могу.
Ты — внезапною судорогой в горле,
Ты — сверлящею болью в мозгу.

Ночь. Костер нашей дружбы потушен.
Я одна в темном лесе опять.
Для того лишь нашла твою душу,
Чтоб навеки ее потерять.

Без костра в темном лесе мне страшно.
Вот-вот хлынет лавина огня.
Словно танка враждебного башня,
Притаившись, глядит на меня...

6

Загрустив однажды почему-то,
«Есть ли дружба?» — ты меня спросил.

Эх, Сергей! Когда б хоть на минуту
Выходили люди из могил!
Ты забыл бы о любой обиде
И ничьей не вспоминал вины,
Потому что с нежностью б увидел,
Как тебе товарищи верны.

7

Снова жизнь — снова цепь атак.
Пред тобой в долгу навсегда,
Я верна нашей дружбе так,
Как орбите своей звезда.

По тебе свой сверяю шаг
И любую свою строку...
Ты нам нужен, как нужен стяг,
Чтоб остаться полком полку.

Сергей Орлов
1921–1977

•
Наши
публикации
•

* * *

Об эмблеме разлуки и встречи —
О вокзале я память храню.
Вот опять меня нынче под вечер
Потянуло в его толкотню.

Здесь встречают, бегут и целуют,
На прощание машут платком,
Об уехавших вдаль погорюют
И легко забывают потом.

Здесь от радости шаг до печали...
Кто-то верно однажды сказал:
Мы живем на огромном вокзале,
И земля это вечный вокзал.

Семафоры, пути, контролеры,
Сквозняками пронизанный зал.
Мне навеки до старости дорог
Этот вечный, огромный вокзал.

1946

* * *

К тридцати летят, идут года,
А еще как будто я и не жил.
Впереди лежат хребты труда,
Горы трудностей и дел безбрежность.

Все в грядущем, как ни погляжу,
И еще уверенности нету,

Может, даром по земле хожу,
Ничего не сделано при этом.

Что я знал, запомнил и сберег
И храню, как верное наследство —
Даль гремящих фронтовых дорог,
Начинавшихся почти у детства.

1951

* * *

Со дна траншей мы наблюдали звезды
И до конца поверили земле —
Седой, колючей, неудобной, грозной,
В цветах невзрачных, пепле и золе.

Для нас была единственной защитой
Насыпанная бруствером она,
И звезды, лучезарные зениты
Нам были ярче видимы со дна.

1955

* * *

Золотые песчинки секунд никогда
Не схватить, завалилась бы где хоть одна.
Дважды в реку времен не войти никогда,
Так стремительно мчится вода.
Лишь недвижно сияет в ней та же звезда,
То же небо синее со дна.

И звезда неподвижна, и небо одно,
Может, времени нет,
Может, выдуман бег
Той реки. И понять бы пора нам давно,
Просто быстро течет, как река, человек.
1955

* * *

За срубом стертого порога
Чудес и сказок не найдешь,
Дымится молнией дорога,
Бродячей рощей плещет дождь,
В цветах глазастых и рогатых,
В грозе лугов и трав кипит,
Струится пар голубоватый
Рождений, праздников и битв.

1957

Публикация В. С. Орловой

Анатолий Софронов

ЛЕГЕНДА О РУССКОМ ДУБЕ

Стоит дубок... Ему сто лет,
Но он к земле еще не гнется;
Ему еще износа нет,
Бессмертным в людях он зовется.

Чтоб были все довольны им,
Сказать нельзя, меж нами;
На зависть он растет другим,
Уходит вглубь корнями.

Казалось бы, смотри на дуб,
Любуйся русской статью!..
Да нет же! Кто-то точит зуб
И шлет ему проклятья.

За что про что? За красоту?
За мужество? За силу?
За то, что он вбирает ту,
Что мы зовем Россией.

И ходят, ходят мудрецы
И про себя толкуют:
Чтоб русский дуб отдал концы —
Всадить бы дрянь какую.

Нашли гнильцо, червей нашли,
Не земляных, а с ядом;
Сверлили долго глубь земли,
С корнями вышли рядом.

И в самый корень червяков
Без счету засадили;
И вновь землей среди бугров
У дуба корни скрыли.

Давайте, черви, корни все
Травите и грызите,

Чтобы в предельной полосе
Погибло все в транзите.

Чтоб ветви все и всю кору
И дуба ствол могучий
В одну бездонную дыру
Вогнал бы этот случай.

Такие эти мудрецы,
Как куры с петухами...
Да только не сошлись концы
У мудрецов с червями.

Сражались корни под землей
Все больше, все упорней;
Земли родной, за слоем слой,—
И сохранились корни...

Но бой не кончен. Мудрецам
Дуб этот снится:
Чтоб он погиб, чтоб рухнул сам,
Как бы в полете птица.

Они найдут других червей
И выведут гибриды;
Такие, что иных милей
Казаться будут с виду.

Но чем теснее корни те,
Чем плодотворней соки,—
Тем крепче дуб на высоте,
Могучий дуб, высокий.

Пусть не надеются они,
Что победить сумеют,—
Сожгут их страшные огни
И ветры их развеют.

Акварели

Светлана Соложенкина

* * *

От желтой дыни желтые лучи.
Оса — подобье слюдяной свечи —
в прощальных тех лучах сгорает ярко.
Уходит осень, не видна почти.
Но как уйти, хотя бы без подарка?

Сентябрь. Смертельно холодна роса.
Ты не умрешь. Есть дыня, есть оса.
Просторно до того, что даже пусто.
Средь этой нестерпимой синевы,
под звон лагунной, бронзовой листвы,
зеленым быть — трагедия искусства.

Прощай, прощай. Быть может, так любить,
так мучиться, такой счастливой быть,
никто на свете больше не сумеет.
Какое дело осени? Она
прекрасна так же, как и холодна,
в ней искрой золотой бессмертье тлеет.

А я иду, ладонью заслонив
огромное, бунтующее сердце.

Мне кажется, всяк разглядит, кто жив,
в нем то, что скрыть от всех стараюсь с детства.
Пусть отберут — сама я не отдам
того, что на виду укрылось там.

Нет, не отдам, бредя листвой опавшей,
я искренности, без вести пропавшей,
ни беззаветной веры в тот завет,
которому ни ветхим и ни новым
уже не быть: ведь изначален —
Свет,
он раньше был, чем дело и чем слово.

Ликуют краски. Но на их пиру
я, голода не утолив, умру,
зажав в ладони корку постоянства.
И ни в какой не отрекись ночи
от желтой дыни, от осы-свечи...
Что, некогда и тесно жить?

Молчи:
художник сам — и время, и пространство!

Алексей Кафанов

* * *

Я ничего не говорю, —
Какими высказать словами
Вот эту раннюю зарю,
Что занялась между стволами?

Не утро даже, а намек,
Как бы обозначенье цели.
Зари горячий уголек
Ожег рождественские ели.

И, освеженные слегка
Мазком прозрачной акварели,
Предутренние облака
Пока лишь чуть порозовели.

Горбы сугробов на вершок
Осели от крутых морозов,
Но за ночь выпавший снежок
Пушист и чист и тоже — розов.

Я только вышел на крыльцо,
Еще не огляделся толком,
Подставил холоду лицо,
Его отточенным иголкам.

Какой-то ныне день грядет?
Струят дымки печные трубы.
Спешит на станцию народ,
Плотней запахивая шубы.

Из подмосковных деревень
На электричку — и в столицу...
Какой-то нынче будет день?
Чем в памяти запечатлится?

Глаза прищура, вдаль смотрю,
И любопытства не скрываю,
И ничего не говорю —
Я ничего еще не знаю.

Станислав Золотцев

РИСУНКИ НА СНЕГУ

Рисунки на снегу.
Что есть непостоянной,
недолговечней их и временнее их...
Следы сгоревших звезд, следы воспоминаний,
на девичьем лице — дорожки слез ночных.

Скрижали выбивать на бронзе или в камне
я вовсе не затем не стал, что не могу.
Но врезать руку в наст велит сама рука мне
и ею создавать рисунки на снегу.

Заржавеет металл, растрескается камень.
Высокие на них исчезнут письмена.
Но образу, что я замерзшими руками
исполнил на снегу, — иная жизнь дана.

Растаяв по весне, он станет влагой неба
и на землю падет в сухой и черный зной,

и гроздьёю наливной и яблоком и хлебом
на солнышко взойдет рисунок снеговой.

Преображен зимой, он станет снегом снова.
И ты, преемник мой, любитель на снегу
рукою выводить рисунок или слово,
доскажешь все, что я сегодня не смогу...

И даже из кружков и палочек фигурка
мудрее во сто крат скрижалей золотых —
ну точно как моя двухлетняя дочурка,
что растирает снег на щечках налитых...

И, руку обнажив, я вечности перчатку
бросаю в мерзлый наст, во млечно-звездный снег.
И весь — покуда жив и после —
без остатка
принадлежу тебе, мой снег,
мой выюжный век.

Валентин Терещенко

ПАСТОРАЛЬ

Лишь глаза отвори.
Вот и маки зари расцветают.
Просыхает роса.
На болоте редеет туман.
И, не жаля, оса
Не спеша через темя сползает.
И беспечная птица стучит без конца в барабан.

Как горит солонец!
Шарабан мой кряхтит и грохочет.
На угоре чабан
В третий раз перечел
И считает сначала овец.

Почему-то всегда
Здесь, в особенно звездные ночи,
Пропадает овца,
Или две,
Или три — на худой уж конец.

Вот тебе образец! —
Домотканая грубая пестрядь —
Как безумья узор
Или гимны святой простоте.
И на солнечный диск
Распластался — как ядерный! — ястреб...
Не проспите теперь
Новостей у него на хвосте!

* * *

Чему гореть назначено — сгорело,
Чему взойти в грядущее — взошло...
Как радостно в мое больное тело
Твое переливается тепло!

Все хорошо.
Качаются деревья...
Сквозь легкий дым сомнения взошла
И встала под окном полудеревня —
Цветеньем необузданным светла.

И вот верхом на палке скачет мальчик,
Как одуванчик — в маковый рассвет,
Где в зыбком отдалении маячит
Гряда его немилосердных лет.

Как все смешалось! Где же боль и слезы?
Как все сошлось в неслышанный аккорд:

И плач совы и майские стрекозы —
В тот гибельно-свирепый переход.

Прими и ты его благословенье,
Люби изгиб воркующей реки
И петухов великое терпенье
Не петь до срока...
Браво, петухи!

Вот скоро в рельс ударят на пекарне,
Потянет хлебным духом от печей,
И очередь от лавки промтоварной
Потянется на запах калачей.

Теперь пора!
Качаются деревья...
Сквозь легкий дым сомнения взошла
И встала под окном полудеревня —
Цветеньем необузданным светла.

Анатолий Капитонов

СТРАННОЕ ДЕРЕВО

Какое странное дерево.
Сухое наполовину,
А расцветает первое,
Ссутулив черную спину.
С обветренными корнями,
Стоит, растопырив ручища,
От шрамов такое корявое —
Не сделать и топорщица.
А расцветает первое
И незаметно, ночью.
Очень странное дерево,
Очень.

РЫЖАЯ ПТИЦА

Мечется рыжей птицей
Девичья голова.
Девчонкам не спится —
История не нова.
Раньше все было синим,
Были другими слова.
Теперь слова бессильны —
История не нова.

Что раньше о жизни пелось,
Это совсем не жизнь.
Вот на подушке белой
Рыжая птица лежит.
Надо же так ошибиться,
К солнцу взлетев едва,
Бедная рыжая птица —
Умная голова.

Владимир Семакин

СЕРЕБРЯНКА

Приютила не раз и не два,
приглянулась лесная полянка...
Там неброско цветет серебрянка —
неприметная с виду трава.

На прогалине тихо стою,
словно в самой веселой светелке,
и по челке —
белесой метелке —
узнаю
длинноножку свою.

Кто-то рвет васильки и кипрей
между лесом и шумной шоссейкой.
Ни с какою травой-самосейкой
не сравню серебрянки своей!

Раздается пустой хохоток
завсегдатаев дачного лета:
«Ни венка из нее, ни букета...»
(На роток
не накинешь платок.)

* * *

Жаль, не все под луною ладно,
а порой чересчур тревожно...
Хорошо бы мне безоглядно
жить и жить,
сколько только можно,

на Земле, где никто из смертных
никогда не давал зарока,
что дарений ее несметных
не лишится он раньше срока.

«Что ты носишься с этой травой,
у которой ни виду, ни меду?
И зачем ты у пристани в воду
окунаешь ее с головой?»
Окунаю, топлю, как хочу
(я по этому таинству дока),—
и она во мгновение ока
облачилась в такую парчу,

рассиялась таким серебром
и, плескаясь — наяда наядой,—
обернулась такой ненаглядной,
что ни в сказке сказать, ни пером....

И потом, если дело к зиме,—
не согласная с участью жалкой,
так и будет она
то русалкой,
то купальщицей видеться мне.

И, нейдя из моей головы,
так и будет она, чаровница,
веселуньей, плескуньею сниться
всю-то зиму — до новой травы...

Ну а ныне еще нелепей
зарекаться от злого сглазу,
если впору — всю Землю в пепел,
да не раз (будто мало разу!).

И — моя не моя забота —
вон как сердцу в груди тревожно,
и лишь яростнее охота
жить и жить,
сколько только можно...

Лариса Миллер

* * *

О боже, все звучит. Все требует огласки.
И птицы напрягли голосовые связки.
И вынесла на свет, журча, вода-болтунья
Все то, что в тайниках хранилось накануне.
Слияние лучей и многих вод слиянье,
Слиянье слез и слов и душеизлиянье.
При ярком свете дня поют, кому что любо,
И лишь одной меня не слушаются губы.

Яков Козловский

НОЧНОЙ ПОРОЙ

Следил полет звезды падучей
Пастух овечьего гурта.
Река, беснуясь как в падучей,
Ревела с пеною у рта.

Гул клокотал в гранитном горле
И лиловели с двух боков
Вершины сумеречные гор ли
Или громады облаков?

Мы поднимались по спирали,
И, обольщавший как посул,

Предстал нам вскорости аул,
Где абрикосы поспевали.

Там, под луной, что начинала
По небу путь свой вековой,
Сидел у старого чинара
В седле безмолвный часовой.

А женщина стояла рядом,
Прижавшись к стремени щекой.
И сумрак черным виноградом
Висел над самою лукой.

Вадим Семернин

КАРТИНА

Тропинки петляющей нитка,
Цветастого поля подол...
У ног одуванчик расцвел
Смелей драгоценного слитка.

Овальных деревьев куртина,
И дня уходящего след...

Оправлена мощно картина
В заката багряный багет.

Случайно уйти и упрямо
За этот исполненный холст...
За эту богатую раму,
О, выход внезапен и прост!

Лариса Тараканова

ГРИБНОЙ ДОЖДЬ

Средь полуденной тихости дачной,
Появляясь легко, как всегда,
Он висит кисеєю прозрачной
И сверкающей, будто слюда.

Блещет яркое солнце в зените
Для того, чтоб отныне живей
Провисали жемчужные нити
Между влажных и темных ветвей.

Ни одно в огороде растение,
Ни малейший побег молодой

В благодатное это мгновенье
Не припало к земле головой.

Но, буравя промокший суглинок,
Молодые царапая лбы,
Из-под слоя листвы и хвоинок,
Торопясь, вылезают грибы.

Сколько их помещалось в лукошко
В позапрошлом и прошлом году!
Как легко просыхает дорожка
В молодом и веселом саду.

Равиль Бухараев

ВКУС ОСЕНИ

Ленивый год Свиньи — татарская примета
больших дождей;

они пророчат мне беду.

Оскомину набил

притворный привкус лета:

малина в молоке,

оладьи на меду.

Перебивают сласть черемуха и мята,

черничный красный сок,

зеленый колосок.

Я вижу из окна: дождями рожь измята.

Тяжелый урожай ложится на песок.

И спелое зерно затеряно в поле.

Я жду наверняка,

дверь настезь отворя:

вот-вот напомнит вкус

разбитых губ и крови

латунный листопад начала сентября.

Елена Аксельрод

ЗАКАТ В ДУБУЛТАХ

Красноречивому солнцу осталось последнее слово.

Сказало — и заслонилося широкой, дрожащей рукой.

И вправду, красиво — и розово так, и лилово.

Такое смиренье, такой невеселый покой.

Но кажется, море-свидетель еще не предчувствует мрака,

Хотя уже забрано четкой решеткой ветвей.

Кого ограждает та черная сетка, однако?

Как сбивчивы доводы тонущих редких огней!

В изменчивом свете отчетливы две вертикали:

Угрюмый костел и подъемный заносчивый кран.

Немало подобных закатов они повидали,

Хоть храм не равняю я с краном, что юн и багрян.

Им, верно, известно, что их одиночество мнимо,

Как осуждение солнца, что завтра свободно взойдет,

Как заточение моря, чья воля неоспорима,

Как скованность речи, пока созревает восход.

Виктор Коркия

* * *

Вид раздевающихся женщин на фоне моря и заката.
Не понимать, смотреть и видеть, и понимать, и жить, как надо.
Реальность: шум прибоя, пена, за мокрой ржавчиной решетки
пляж дома отдыха военных, их жены, спины, дети, лодки.
Прекрасно!.. Это жизнь проходит. Идет, проходит, остается...
И горизонт неощутимый... И рядом женщина смеется...
О, тривиальные сюжеты! О, двухнедельные романы,
в которых слиты воедино любовь и солнечные ванны!
Сколь притягательно для глаза едва заметное волнение,
разложенное полотенце, махровое, как откровенье!..
Понять бы раньше, знать бы прежде, какие протянулись нити
от символической одежды до человеческих открытий!
Шуршит под камешком газета о неизбежных потрясениях,
о войнах, мировых рекордах, международных отношениях.
Демографические взрывы, пришельцы из других галактик —
и тем же камешком прижатый невинный ситцевый халатик.
Открыта всем на обозрение изнанка мировых иллюзий.
На теплой гальке высыхает прозрачная душа медузы.
Отныне так, а не иначе, отныне — и уже вовеки,
и знание о жизни больше, чем об отдельном человеке.
И эта линия прибоя реальней, чем существованье.
И эта женщина у моря — стоит, стоит, как изваянье...

Юрий Лакербай

* * *

Был когда-то виночерпием
Я на дружеском пиру.
В круг тот, юностью очерченный,
Вновь друзей не соберу.
Где вы, сильные и гордые?
Хоть окликну — не найду.
Только в юности, как горы, мы
Друг у друга на виду.

Только в юности — все около!
До глухих оград потом
Кто-то волком, кто-то соколом,
Кто-то пасмурным кротом.
Словно в сказке: были — не были...
Вот такая, брат, игра!
И другие виночерпии
Круг обходят на пирах.

Венедим Симоненко

МЕЖ ЛЮДЕЙ

Видишь гордого человека,—
И сам держишь голову выше.
Видишь красивого человека,—
И сам ты
Чуть-чуть красивее...
И не зависть,
А тихая радость в тебе.
Хорошо
Быть вот так
Меж людей!

Антонина Баева

* * *

Ты прости, земля, что непобедно
я полвека на тебе живу
и почти довольна:
худо-бедно,
а живу со всеми, наяву.
День приходит,— до свету очнешься,
думаешь, заботишься, спешешь...
К вечеру, умаявшись, качнешься:
сам не зная, спишь или не спишь...
Снова подымаешься. И стонешь.
И поешь. И солнышко в горсти,
будто проворкует мама: — Тоня,
поднимайся, девочка, расти! —
Вырастает. И уходит в гору,
не заметишь, где был перевал.
Худо-бедно, жизнь как будто впору.
Ты прости, земля, что наповал
упаду в тебя,
тобой укроюсь
и с тобою, вечною, сольюсь.
Ты прости, земля, что я порою
смертную испытываю грусть.

* * *

О, как звенит,
как поет в вышине!
Или вблизи?
Или, может, во мне?
Так это звучно!
И так это сладко!
Слезы невольные
вытрешь украдкой.

Пой, жаворончек,
пташка весенняя!
Славь все земное:
людей и растения,
все, что увидишь
вблизи и окрест.
Песня о Родине
не надоест!

Софья Петренко

ХЛЕБ В ЛЕСУ

Я увидела хлеб между елок в лесу
Неожиданно.
Кто-то выбросил вон из кошелки небось.
На земле полбуханки лежат
Сиротливо, обиженно.
Вот ведь как пропадать довелось.

Постояла я.
Хлеб подняла и снесла на поляну.
Там коровы паслись.
Чуть заметно вздымались бока.
От покоя лесного,

Травы многолистной и пряной
Нарастала у каждой,
Густела волна молока.

Я скормила им хлеб,
Разломав его весь на кусочки,
Их буренушки брали с ладони,
Поднявши рогатые лбы.
И пошли попадаться мне белые,
Крутобокие чудо-грибочки,
А до этого как-то
Совсем не встречались грибы...

В воспоминаниях современников

Лев Смирнов

ШКОЛА НИКОЛАЯ УШАКОВА

...Вот он идет, чуть ссутулившись, в конце пятидесятых годов, по пологому склону Прорезной улицы. Деловой, озабоченный, спешащий, видимо, в Союз писателей на очередное совещание, и в то же время какой-то отрешенный, возвышенный, непостижимый.

Мы, молодые поэты, поджидаем его на углу, около книжного магазина, чтобы присоединиться и сопроводить его по Институтской до роскошного соборника Игнатъева, в котором в наше время размещается «Спилка» украинских писателей. Этот отрезок пути мы «крыстно» хотим использовать для того, чтобы пообщаться с маститым поэтом и услышать от него что-нибудь новое и необыкновенное.

Николай Николаевич скуп на разговоры. Он больше любит молчать и слушать. Это вначале как-то сковывает нас, молодых и робких, еще не научившихся беседовать со знаменитостями.

Вначале разговор идет о погоде, о том, что каштановые («свечи») не совсем похожи на свечи (скорее на «канделябры»!), о послевоенной архитектуре Крещатика, не лишней эклектической пышности, кто-то вдруг начинает читать Евтушенко вперемежку со своими стихами, кто-то на ходу надписывает свою тощенькую первую книжицу: «Глубокоуважаемому Мастеру...»

Я иду рядом с Николаем Николаевичем и с волнением думаю о том, что еще в двадцатых годах знаменитый Асеев в предисловии к первой книге Ушакова «Весна республики» писал о том, что единственной целью этого на редкость короткого предисловия является «обратить своевременное внимание критики на новый, первоклассного тембра и силы голос, заставляющий вздрогнуть мое сердце при первом же звуке».

Получить такую рекомендацию в далекой юности и на всю долгую жизнь сохранить себя, свой талант, свою неподдельную скромность, интерес к простым, ничем не знаменитым людям, к маленьким городам, к глухим разездам, к поездам, пролетающим ночью! Порой удивляешься этому голосу, такому тихому и такому пронзительному, этим обыденным темам, становящимся под пером поэта открытием: «Выйдя из товарного вагона в азиатской дальней стороне, полька Моисеева закона написала «Софья» на стене. Я увидел синагоги Львова, долгополых шуртуков квартал... Азия в дожде была лилова, дождик «Софья-Софья» лопотал. Площадь вся под тучами лежала, улыбалась, плакала во сне, хлеб жевала, сор в арык бросала и читала «Софья» на стене».

Его голос 20-х годов не спутаешь с другими голосами. Какой необычайный поэтический мир открыл этот двадцатипятилетний юноша, недавний выпускник Киевского института народного хозяйства! Какое редкостное чутье подсказало ему сами темы стихов: «Кладбище паровозов», «Фруктовая весна предместий», «Московская трамжирочка», «Неистовый бронепоезд», «Адмирал землечерпалок», «Университетская весна»!

Мы поднимаемся вверх по Институтской. Слева от нас, над крутым зеленым склоном, парят белые колонны бывшего института благородных девиц, нынче

Дворца культуры, справа возвышается огромный холм, — на нем доживает век какое-то невзрачное здание, на месте которого вскоре вскинется к небу стройная башня гостиницы «Москва».

Кто-то заговорил о переводах, видимо, с практической целью. Николай Николаевич вначале молчит, но потом вдруг начинает говорить, как бы размышляя вслух:

— Переводы... Они сближают людей, нации, культуры. Посредством их люди обмениваются эмоциями, думами, мыслями. Кто знает, не будь древнегреческого философа Парменида и английского перевода его поэмы «О природе», может быть, не было бы и знаменитого гамлетовского «Быть или не быть». Ведь именно Парменид в V веке до нашей эры в своей поэме писал: «Быть или не быть — вот здесь разрешение вопроса».

Я бывал у него дома, видел его огромную библиотеку, даже листал редчайшие экземпляры журнала «Лэф» и первые (не рукописные ли?) сборнички русских футуристов. Поэты и философы всех времен и народов были своими в доме Ушакова. Среди первых книг писателей 20-х годов можно было увидеть издания восточных классиков, нередко в переводах самого Николая Николаевича, самая последняя поэтическая новинка соседствовала с альбомом фотооткрыток с видами Киева конца XIX века. И альбомы, альбомы, альбомы с... папиросными и спичечными наклейками. За это увлечение Николая Николаевича многие считали чудачком (ведь коллекционер-то не курящий!), но он сам это невинное увлечение, как и все, что он делал, превратил в подлинное искусство: завел каталоги по годам и странам, переписывался со своими коллегами, среди которых были знаменитые собиратели, и всех уверял, что в простом спичечном коробке заключена бездна информации и поэзии!

Вот мы уже поднялись по Институтской и через несколько минут свернем на Банковскую, где находится «Спилка». Заговорили о том, что в современной поэзии слишком много техники. Поэты пишут бесконечные баллады о синхрофазотронах, лазерах и даже о квазилинейных преобразованиях в гиперкомплексном пространстве. Не слишком ли это лихо?!

— Приметы времени есть, а примет души поэта, увы, нет, — неожиданно подхватывает тему Николай Николаевич. — Вспомним, как великие поэты относились к так называемым «приметам времени», как скупы они вводили их в свои стихи и как от этого приметы становились веселее и даже приобретали подчас значенные символы. Блок один из первых написал стихи об авиации, не потому, что это было модно, а потому, что шум пропеллера для него, поэта, «ввел в мир новый звук». Но при этом как скуп и осторожен Блок при обращении с новой терминологией. Даже самолет он называет по-древнему — «летун». А Северянин, как ни жонглировал архивнейшими словечками типа «синематограф», по характеру своей поэзии и по кругу идей был уже тогда старомоден, как Бенедиктов. Видимо,

поэзия, при всей своей насыщенности современностью, в своей последней ипостаси тяготеет к «древнему слогу».

Как сейчас вижу Николая Николаевича на углу Институтской и Банковской, утонченного, изящного, похожего на Романа Роллана, ничуть не отягощенного прожитыми годами, не чувствующего никакой усталости после крутого подъема по Институтской, человека без возраста, — поэта.

Вот мы прощаемся с ним у подъезда Союза писателей. Он жмет нам всем руки, как равный, хотя, может быть, много из нас и не помнит даже по фамилии.

Кто-то «под занавес» (и нашел же время) сетует на то, что его не включили в готовящийся альманах, который может стать сенсационным среди любителей

поэзии. Ушаков как-то странно смотрит на честолюбивого поэта, немножко жалея его, немножко осуждая, и вдруг говорит:

— Главное, написать такие стихи, которые бы стали событием. А где они будут напечатаны, в сенсационном альманахе или в районной газете, не столь важно. Районная газета даже предпочтительней. Прославятся не только стихи, но и сама районная газета. Два добрых дела сразу!

Он уходит, и я слышу, но не из глубин подъезда, а уже из глубин времени, его учительские заветы: «Пока владеют формой руки, пока твой опыт не исеяк, на яростном гонимом кругу верти вселенной так и сяк. Мир незакончен и неточен, — поставь его на пьедестал и надавай ему пощечин, чтоб он из глины мыслью стал!»

Прозанки о поэзии

Юрий Нагибин

ОНА В МОЕЙ ЖИЗНИ

Для меня шкала искусств — по степени нужности мне — выглядит так: поэзия, проза, живопись, музыка, архитектура, скульптура, театр. Не называю кино, ибо не уверен, что оно искусство, если же искусство, то им замкнется перечень.

Я не ломаюсь, ставя поэзию на первое место, впереди прозы, которой занимаюсь всю сознательную жизнь и буду заниматься до своего последнего дня. Толстой, думая о смерти, скорбел, что там не будет музыки. Мне горестно, что там не будет поэзии.

Я не писал стихов даже в пору, когда вроде бы все пишут. При этом мне ничего не стоит «ямбом подеюсюкнуть» — хоть в шуточном, хоть в серьезном — внешне — роде. Но писать стихов я не умею.

Любовь к поэзии пришла далеко не сразу. Я уже был помешан на чтении — свободно читать начал с семи лет, — жил в двойном образе: чистопрудного мальчишки и Д'Артаньяна, захлебывался Вальтером Скоттом, Диккенсом, Джеком Лондоном, Брет Гартом, О'Генри, Конан Дойлем, Киплингом (великих сказочников: бр. Гримм, Гауфа, Андерсена, Гофмана, как и ершовского «Конька Горбунка», которого не считал стихами, узнал раньше, на слух), затем пришли русские классики, Шекспир, Бальзак, Стендаль и вся мировая литература без всяких запретов и ограничений, но стихов среди моего добровольного чтения не было вплоть до юности.

Я любил лишь и знал наизусть «Будрыс и его сыновья» — меня с ума сводила лихость сыновей старого Будрыса, которые золоту и драгоценным камням предпочли младых полячек. И отзывался я тут не только содержанию, но и музыке, ритму. Это было единственное исключение. Я не любил басен Крылова лишь за то, что они в стихах. Помню, как мать, огорченная моей глухотой к поэзии, пыталась «внедрить» в меня «Анчар», но добилась лишь одного: я надолго возненавидел это великое стихотворение и, даже полюбив поэзию, не мог преодолеть рефлекторного отталкива-

ния от «Анчара». То же самое произошло позже с лермонтовским «Ангелом». Я был на пороге юности, когда мой отчим, писатель Я. Рыкачев, превосходно знавший поэзию и глубоко ее чувствовавший, пытался пробудить мою душу футболиста и книгочяя, странного трезвого мечтателя, для звуков сладких и молитв.

Нет ничего выше во всей мировой поэзии, чем это стихотворение совсем юного Лермонтова. Каким божественным духом рождена таинственная песнь запредельной обители, где ожидают своего земного часа человечьи души, внимая звукам небес! Но тогда я бессилен от злобы непонимания. Ну ладно — ангел, к этой условности меня уже приучила старая живопись, но какую душу несет он на землю и зачем? Душа растается с телом (опять же условность, но приемлемая), когда наступает смерть, но разве душа есть до рождения человека? Душа рождается вместе с телом — беспамятная душа младенца, и вместе с телом зреет. Но ангел несет «готовую» взрослую душу, коль она помнит о небе и память эта не дает ей принять земную жизнь. Не вместится такой душе в крошечном беспомощном тельце младенца. Так я рассуждал, здравомыслящая дубина. Сейчас, когда я не могу прочесть это стихотворение без горлового спазма, меня томит другое: душа Лермонтова знала самую жгучую из всех тайн, знала, что там, и тосковала по утраченному небу и хотела вернуться туда. Только так могу я объяснить возникновение этого таинственного стихотворения и суть таинственного явления, имя которому Лермонтов.

Мне кажется, если взяться за человека с детства, его можно научить в искусстве чему угодно, даже тому, к чему он органически неспособен. У меня начисто нет слуха, но в раннем детстве, наверное из-за того, что в углу комнаты рассыхался и умирал старый рояль весьма благородной фирмы, меня начали учить музыке. И что же, через какое-то время я освоил гаммы и даже бегло играл упражнения, кажется, Гедике. Я все-таки избавился от враждебного занятия, но какое-то ощущение

ние музыки у меня появилось, и в дальнейшем я развил его до такой степени, что иной раз веду музыкальные передачи по телевидению. А всерьез — пишу о композиторах. С поэзией было сложнее и проще. Я человек литературный, что обнаружилось довольно рано, поэзия не была органически чужда моей сути, но именно поэтому все во мне противилось искусственному навязыванию. Надо было дозреть самому. В детстве и отрочестве следовало оставить меня в покое, зато позже настойчивость отца, донимавшего меня прекрасными стихами, принесла плоды. Когда мое ухо открылось поэзии, во мне сразу проявилась способность к отбору, я знал, что чего стоит.

Все же я до сих пор не разобрался, что такое понимание искусства. Если ты ошеломлен стихами, картиной, скульптурой, зданием, симфонией и будто сама кровь сменилась в тебе, — так ли уж важно то умение разобраться в грянувшем чуде, каким гордятся знатоки? Вроде бы важно, ты можешь углубить, упрочить, расширить чувство, разбуженное произведением искусства. Но в пору, когда я не мог расшифровать каждую строчку Пастернака, когда во многом темен был для меня воронежский цикл Мандельштама, их стихи так же потрясали мою душу, как и сейчас, когда всё это перестало быть тайнописью.

Я не помню, когда я начал любить стихи, такое приходит исподволь, но очень хорошо помню, когда стихи впервые обожгли меня. В довоенном Коктебеле, в довольно узком кругу Сева Багрицкий читал стихи своего отца. (В последний раз я встретился с Севой зимой 42-го года на Волховском фронте за какие-то минуты до его гибели.) Читал Сева изумительно, с интонациями самого Эдуарда Багрицкого, лучшего чтеца из всех поэтов. А потом он прочел якобы собственное стихотворение про щегла. Он не присваивал себе чужого, он хотел, чтобы мы знали стихи поэта, чье имя тогда не произносилось вслух. Жар охватил меня с первых строк, а когда прозвучало второе четверостишие, у меня «засочилось сердце», оказывается, это не образ, а точное выражение сути:

Хвостик лодкой, крылья черно-желты,
Ниже клюва в краску влит —
Сознаешь ли, до чего щегол ты,
До чего ты щегловит?

Я не понял тогда последних стихов:

В обе стороны он в оба смотрит — в обе.
Не посмотрит — улетел!

Но, проснувшись ночью, вспомнил эти строчки и, сам не знаю почему, заплакал. И все оставшееся, еще большое лето, лето моей первой любви, я бормотал стихи про щегла, каким-то непонятным образом мертво связавшись с моей любовью, и связь эта осталась навсегда. Я и минуты не верил, что о щегле написал Сева, не имел к нему претензий, неужели в подсознании о чем-то догадывался? Среди слушателей находился довольно известный ныне поэт, он вполне серьезно говорил, что Сева Багрицкий не лишен способностей и если избавится от вычурности и вообще поработает над собой хорошенько, то может вырасти в поэта. Потом, когда истина открылась, поэт шумно и напрасно возмущался обманом.

Наверное, я уже по-настоящему любил стихи, если уходя на фронт в начале января 1942 года, сунул в вещевой мешок только поэзию: томик Гёте на немецком, «Борник Тютчева и «Стихотворения» Мандельштама. «Щегла» там, разумеется, не было, но он был во мне.

Я взял Гёте не только потому, что любил его. Мне хотелось сохранить для себя Германию Гёте, Шиллера, Гейне, братьев Гримм, Фаллады, Кранаха, Дюрера, Бетховена. Этих трех книг с избытком хватило почти на год, до госпиталей и демобилизации.

Гётевское «Heiß mich nicht reden, heiß mich schweigen», некоторые стихи Шиллера и Гейне, читанные по-немецки, вошли в меня куда раньше пушкинской и лермонтовской поэзии. Наверное, потому что немцев мне никто не навязывал: ни дом, ни школа. Когда позже я стал читать по-английски так же хорошо или, вернее, так же плохо, как по-немецки, поэзия туманного Альбиона не открылась мне в своем языке, который представлялся Пастернаку самым пригодным наряду с русским для стихосложения. Тщетно мучил я себя Шекспиром и Байроном, ничего не получилось, а любимые в пастернаковском переводе «Стансы к Августе» в подлиннике напугали полным несходством с тем, что было для меня как молитва. Лишь раз маленькое стихотворение Йетса дало мне почувствовать музыку английского языка. Наверное, если нет особой предрасположенности к языкам, чужая речь может открыться изнутри только в детстве.

Если б сейчас мне предстояло выбрать трех поэтических спутников, я взял бы Пушкина, Тютчева и Мандельштама. До Пушкина я дорос, уже пройдя влюбленность в Лермонтова, Блока, Цветаеву. Это странно, ведь Пушкина мы узнаем чуть ли не с первым проблеском сознания; «Сказка о царе Салтане» и «Золотой петушок» входят в круг нашего первого чтения; Пушкиным нас пичкают в школе; Пушкина читают, поют, играют на сцене, к тому же на «Будрысе» я с молочных зубов был помешан, но, лишь пройдя наполнину жизни путь, понял, что нет для меня никого любимей, ближе и нужней Пушкина.

Но так ли уж это странно? Незрелой, но тянущейся к поэзии душе и правда труднее полюбить хрестоматийного Пушкина, чем страстного, мрачного Лермонтова, романтического Блока, мятущуюся Цветаеву и бесконечно соблазнительного своей сложностью Пастернака. Надо созреть и домучиться до пушкинской простоты.

Если б я назвал всех любимых поэтов, длинный получился бы список; кроме тех, что уже упоминались, тут были бы Фет, Иннокентий Анненский, Ахматова, Есенин, Заболоцкий, Павел Васильев (говорю только об умерших), тут были бы Вийон, Верлен, Рембо, Галактион Табидзе, Аттила Йожеф, но, зная их только по-русски, я не уверен, что знаю их настоящих. Если перевод рабски точен, это не поэзия, если же он осуществлен сильной и самостоятельной поэтической индивидуальностью, то что же получает читатель: новый аспект русского поэта или некий симбиоз двух больших стихотворцев? В «Стансах к Августе» трубно звучит характерный голос Пастернака, Байрона почти не слышно. Думается, если ты не владеешь чужим языком, как собственным, тебе открывается по-настоящему лишь отечественная поэзия.

Александр Челноков

— Александр Иванович, какие стихи Вы хотели бы напечатать в год Вашего пятидесятилетия?

— Разумеется, лучшие. А лучшие стихи у поэта как раз те, что еще не написаны. Но так как ненаписанные стихи опубликовать невозможно, я бы хотел представить вам последние, любимые стихи.

СОЛДАТСКАЯ КРОВЬ

Где же сила бывая в цветах?
Словно тайную горечь приемлю —
До чего же земля в горшках
Истоцилась за эту неделю.

В огород выношу я цветы —
Там все близко и все так знакомо,
Там волнами живой теплоты
Обнимают пласты чернозема.

В благодатном дыханье земли
Все движенья мои чудотворней,
Руки чутко на свет извлекли
Работящие нежные корни.

А цветок-то, быть может, герой!
Под высокой осенней лазурью
Корни снова в земле сырой,
Чаша полнится, блещет глазурью.

В корни снова проникла любовь —
Животворная, всюду в природе,
А цветок-то — Солдатская кровь,
Так не зря называют в народе.

Строго меркнут осенние дни,
Слезы скорби и ветер незрячий,
И разрывы — немые огни...
Листья, стебли... Ужели они
Впрямь пропитаны кровью горячей?

БАРКАС

Был продырявленным баркас,
Дно затихло темным илом,
Но чайки крик встревожил нас
С необычайно властной силой,
И солнце в предвечерний час
К себе звало, к себе манило
Так настоятельно. Кормилом
Оно казалось там, вдали,
На черной отмели Земли.
Владеют кистью иль пером —
Любовь становится добром,
А мы с тобой в тот ярый вечер
Овладевали топором.

Я так сказал: — Баркас подлечим,
Проконопатим, просмолим.—
А ты сказал: — К делам своим
Весьма обычным и простым
Мы подключаем все, чем живы,—
Дыханье ветра и приливы...—
Был спущен на воду баркас.
Я убежден, что утлый, старый,
Великодушно благодарный,
Он вдруг такое нечто спас,
Что снова устремляет нас
Туда, где мудрое светило
На корабле Земли кормило
Воспринимают в трудный час.

Новелла Матвеева

УЧИТЕЛЬ

О важных я с тобой беседовал предметах,
Тебе надежды все я поверял тайком.

Э. Ростан

Влияние Ваше ведь не было прямо,
Отвесно. Не жгло непокрытое темя:
Оно разливалось везде, повсеместно,
Царило всегда, все время...
Ваш старый наставник, учитель школьный,
Учил не меня, — жил давно и далеко.
Но думать о нем так же грустно и больно,
Как будто с его урока
Сбежала и я — раньше срока!

Ваш маленький пони прошел через поле —
Весной, когда цели вечерние птицы, —
Из дыма фиалок, из той медуницы,
Что я собирала на воле.

Ваш серый Мышонок,
На каменных плитах
Живущий в нетопленном Вашем камине,
Престиж запоздалый румяных и сытых
Подтачивает и ныне.

Цветет Ваша Роза — всех тоньше и краше! —
В том царстве, где вешние розы не вянут

* * *

Боготропная, дрянная вещь — тоска!
Три вида есть у ней, самим грехом творимых:
Тоска нипочему. Тоска из пустяка.
Тоска по случаю причин непоправимых.
Тройная эта блажь особенно близка
Нам, людям Севера. В умах неутомимых
Мы сонмища творим себе терзаний мнимых, —
Пока судьба и впрямь не стиснет нам бока.

* * *

Снег выпал ночью и растаял днем.
С ним улетел, задержанный на нем,
Взгляд мой рассеянный. Верхом на трепете —
Истаиванья. Так, на диком лебеде,
Нильс некогда (наказанный школяр)
Летел, опередив дыханья жар.
За горы гор,
В зимы холодный пар,
В гусиную Лапландию. Далеко
От грифеля и школьного урока...

Лишь сырости да свежести следы
Легли от снега, — новый круг теней.

И где бедняки — неудачники Ваши,
Сойдясь, наконец-то счастливыми станут,
Счастливыми станут!

Я Вам обещала прославить Поэта,
Воспеть Неудачника,
Свергнуть Буржуя...
Та песня, где все это будет, — не спета,
Но старое слово
Сдержу я.

(Учитель! Ведь Вы и меня, — не иначе! —
Растили для той Неудачи великой,
Которой дельцы, джентльмены удачи,
Завидуют в ярости дикой?)

...Влияние Ваше ведь не было прямо,
Отвесно, — как падает луч из зенита;
Оно разливалось везде, повсеместно...
Оно и теперь не забыто,
Как годы, прожитые честно,
Как вещая Ваша защита.

Вот так, из ничего — мы с важностью умеем
Чудовищ созидать. О! — мы гордимся змеем
Почти тропическим, — когда кругом зима, —
И пьющим нашу кровь. Но нет в нас мысли
ясной,
Что здесь мы не одни. Что и к другим в дома
Нет-нет — и заползет наш баловень ужасный.

Трава еще не выпрямилась. Белые
Станицы снега выпалились на ней
И унеслись — предтечи зимних дней —
В Лапландию видений, — столь далекую,
Что в небе неба — только сердце, екая,
Крылом затрепетало
И зашлось
От ужаса, что с ними унеслось.

Снег испарился воздухом блистающим,
Над конским щавелем, склоненным ниц.
И взгляд мой улетел со снегом тающим,
Как с дикими гусями — мальчик Нильс.

ИЗ ЦИКЛА «НАСЛЕДИЕ»

Есть такая сторона —
Русская поэзия.

Николай Ушаков

* * *

И Пушкина полдни,
И Тютчева ночи —
Нет суток длиннее,
Нет суток короче,
Рабочие сутки
Поэзии русской
С земною поклажей,
С небесной нагрузкой.

СМЕРТЬ ТЮТЧЕВА

В каком-то обмороке, из последних сил,
Едва-едва ворочаясь в постели,
«Какие новости последние?» — спросил
Так неожиданно, когда его отпели.
Какие новости, когда полукольцом
Стоит семья, подавленная горем!

Но тот мудрец, кто не спешит с концом,
С прощанием: постой, еще поспорим,
Еще поговорим!.. — на время не глядит,
И пульс не слушает, — его прямое дело
Знать, чем живет весь мир и что ему грозит,
Пока еще душа не вовсе отлетела.

* * *

Простим угрюмство. Разве это
Сокрытый двигатель его?

Блок

Простим угрюмство. Не для Блока
Словцо такое припасли.
Угрюмство — это одиноко,
Печально, сиро, однобоко
И так далеко от земли.

А он — земной, хотя вершиной
Он уходил в такую высь,

Где клекот слышался орлиный,
Где тишина и гул в единый,
Незнаемый поток слились.

И он ловил душевным слухом
То, чем мы завтра будем жить,
Слова, подсказанные духом,
Произносил он тихо, сухо
И неохотно, может быть.

ВОЛОШИНСКИЙ ПРОСТОР

Неуследимы склоны Кара-Дага,
И каждый час их — это добрый час.
Что кисти, что фломастер, что бумага,
Что этот мой восторженный рассказ!
Друзья, я это вижу в первый раз,
И в том моя беда, а не отвага.
Какое это пиршество для глаз,

Спасение от гибельного шага!
Простор распахнут в вечность, как окно,
Порой от света кажется темно,
И горы говорят на расстоянье
О том, как жил я и как буду жить,
Должна природа за меня решить
Судьбу, мечту, надежду, расписание.

* * *

После вялой и длинной прозы —
 Две-три фразы Герцена. Вдруг
 Прошлый век, словно смех сквозь
 слезы,
 Прошлый век, словно голубь из рук.
 Прошлый век. И львиноголовый
 Он идет на вас, Искандер,
 Провозвестником мысли новой,
 Потрясенем высших сфер.
 Он молчит. Грозовая сила
 В нем сокрыта, запас огня.
 Ах, любезные, как постыла
 Либеральная болтовня!

Он молчит. Ну а если скажет —
 Прозвучит колокольный зов.
 В яркой ярости, а не в раже
 Он витийствует. В сонме слов
 Отберет он одно такое,
 Чтоб не вымолвить, а зажечь,
 Как синица, море людское.
 О, какая звонкая речь!
 Серебро добавлено к меди.
 Как же слово это поет!
 Ничего не сказал о победе,
 Но к победе его полет.

В воспоминаниях современников

Глеб Горбовский

ПО НАПРАВЛЕНИЮ К РУБЦОВУ

Я вспоминаю лицо Николая Рубцова. И ничего, кроме настороженного взгляда и тихой, мудрой усмешки, лежащей на его губах, воскресить в своей памяти не могу... Зато музыка стихов этого человека звучит во мне до сих пор. Достаточно назвать поэта по имени, мысленно вызвать его из пространства, в котором обитает сейчас его душа, и тринадцать букв (семь — имя и шесть — фамилия) чуткими гуслиями стихов заркокочат в моем воображении — незамедлительно.
 Светлеет грусть, когда цветут цветы...

Тихая моя родина!
 Ивы, река, соловьи...
 Мать моя здесь похоронена
 В детские годы мои.

И вдруг — мысль: стихи Рубцова лишь для тех, кто, живя, страдал неподдельно, для сердец серьезных, зрячих к своей и чужой боли.

И еще: стихи Николая Рубцова поднялись в чем-то над временем, то есть — сделались пригодными как бы и для читателя прошлого века, и для меня, и для читателя будущего... «Для всех тревожных жителей земли». Естественно, что у каждого поэта — своя аудитория. У одного — большая, у другого — меньшая. Но — своя. По-разному принимают того или иного поэта читатели («интеллектуального» и «эмоционального» рядов, но — в о с п р и н и м а ю т истинную поэзию (если без лукавого) — все одинаково. Истина неоспорима, если она истина. Истина поэтического дара Николая Рубцова с каждым годом все неоспоримей. И это радует. Радует меня как свидетеля явления. На моих глазах поэт возник, на моих вознесся, на моих — ушел в небывшие, оставив после себя святящийся след непритуманной, природной, как разряд грозового электричества, поэзии...

Кем он был, если не считать того, что он был — поэтом? Прежде всего — патриотом, человеком, почитавшим Родину, Россию. Это чувство высокой любви

сформировало его поэтические переживания в нечто непреходящее, нетленное — в поэзию разума.

Меня не единожды просили написать что-либо из «ленинградских» воспоминаний о Н. Рубцове. И я принимался (мысленно) неоднократно. И ничего из этого не получалось. Слишком неожиданно расстался он с нами. Звучал, пел, цвел и вдруг... Потому и не верилось в полное исчезновение живых глаз, потаенной рубцовой улыбки... И сердце как бы выжидало. Не успевало, а именно перемогало исчезновение.

Как будто вечен час прощальный,
 Как будто время ни при чем...
 В минуты музыки печальной
 Не говорите ни о чем.

И не говорилось. Не вспоминалось. Только — переживалось. Исчезновение Рубцова нужно было перетерпеть в себе, как страдание. И вот теперь боль глуше, тупее, хотя и — обширнее. И можно скрепя сердце говорить. И что же?... Я люблю себя на желании перечитывать Рубцова, то есть — вспоминать его стихотворные строчки, гладить глазами поэтическую плоть его книжек... А как же с человеком? Как поведать о личности, которая куталась в шарфик, играла на гармошке, пила вино и смотрела грустными глазами на проносящиеся облака?

Да, конечно, при жизни поэта было радостно повстречать его в толчее Невского проспекта, пожать крепкую руку (в ту пору грузил он на Кировском заводе шихту: черные металлы перед тем, как расплавиться и обрести вторую жизнь, ласкали ему ладони). Тогда еще вкусным был хлеб — мы только начинали зарабатывать деньги, — запах свежеспеченной булочки втягивал нас в магазин, и мы, кое-что обретя, шли ко мне — на Пушкинскую улицу. В десятиметровой комнатухе, отгревшись, Николай читал новые стихи. Одно-два стихотворения. Не больше. Я — наоборот — проливал на его покорную голову целый ушат зарифмованной

браги... Но как только в окно моей комнаты ударял спичечный коробок, возвещавший о приходе очередного гостя, Николай молча набрасывал на плечи свое демисезонное, молча, глазами улыбался и неумолимо, непреклонно — исчезал.

Однажды, в очередной раз ощутив дивный запах бытия (хлеба, колбасы, яблок), пошли мы не ко мне, а к нему, в общежитие за Нарвскими воротами. Он жил среди внешне подобных себе. Пять коек. Общий стол. Графин с водой. Пять молодых мужчин. На всех одна гитара. И еще — Колина гармошка. С жителями своей комнаты Рубцов был откровенен и не скрывал, что он — поэт. Я заметил, что ему — улыбаются. Просто так, при встрече. Не элементарно кивнут, а еще и — улыбнутся. Коля мог и пошуметь в комнате. Попеть песни, поиграть на «инструменте». Ему разрешалось. У кастелянши он мог потребовать свежее белье досрочно: «Как же, Никитична, как же иначе! Ведь посмотрите, кто у нас нынче почевать будет? — показывал он на меня пальцем. — Поэт будет почевать. Никак ему нельзя на таком белье. Вдруг ему девушка приснится? Так что давайте — чистое». И Никитична — стелила. Был он романтичен в своих буднях, рабочий человек Николай Рубцов. Был он крылат, и способность улетать на крыльях поэзии в мир грез хранила его сердце от преждевременного очерствения. Произнося в мир стихотворение, он как бы с молитвой обращался к матери-Жизни:

Юлия Нейман

ПАМЯТИ МАТЕРИ

I

Дольше, чем нашей эпохой положено,
Он сохранялся, — тот домик взъерошенный,
С детскими страхами, детскими феями,
Мамой ухоженный, мамой овеванный.

Все-таки время его доконало.
И на кладбище, под насыпью малой,
Спит моя старенькая, уставшая,
Мама моя, мне ребенком ставшая.

II

Без памяти была ты, говорят.
Ты будто ничего не понимала,

До конца,
До тихого креста,
Пусть душа
Останется чиста!

Но и он, хранимый ангелом Поэзии, не единожды трепетал на ветру повседневности, сомневался и горько плакал, глядя в открытое окно очередного сентября или марта...

Однажды он приехал ко мне из Москвы, где учился в Литинституте. Приехал трудный, уставший. Ругал профессию литератора, сетовал на хрупкость, ненужность миру — стихов... И вдруг я уловил нечто потаенное во взгляде Рубцова. Нет, конечно же поэт не притворялся, ему действительно было плохо. И все же — вера из его глаз ушла не вся, и мерцающий, лихорадочный ее остаток подматривал за мной, за моей реакцией на мрачные рассуждения угрюмой оболочки поэта.

Тогда сей мерцающий огонь веры превозмог состоящие беды, и мы вновь ощутили запах и вкус жизни. Но трещинка в сосуде уже зияла... Сердце мое полоснул темный ее зигзаг. Но я не придавал ему должного значения... Не предупредил других, что с этим сосудом необходимо отныне обращаться — осторожно.

Так промчался перед моим изумленным взором «неведомый отрок и скрылся в тумане полей».

Ленинград

И будто — если б так! — страдала мало,
Переходя в иной, бесплотный ряд,
За грани нашего Добра и Зла,
Куда все мы истаем неизбежно...

Но как же ты в ту ночь ко мне пришла
И обняла так широко и нежно,
Все, все простив, за все благодаря?..
Ты ведь была на ласку скуповата
Не то что — в угасании, — всегда-то...

«Без памяти?..»

Врачи сказали зря.
Нет, ты со мной простилась не во сне:
Ты всей любовью прорвалась ко мне.

Зоя Велихова

* * *

Все смотрят на него, разинув рты.
А он привык. И нет на них обиды.
Его лица упорные черты
Как будто стылým сумраком облиты.

Сквозь город, мимо праздной лени тех,
Кто думает, что жизни нет предела,
Он вечерами в Университет
Бессильно тащит скомканное тело.

Зачем судьба так безрассудно зла,
Кромешной власти перешла границы

И приговор над ним произнесла —
Заняться телом, духом покориться?

Но вот идет он улицей прямой,
На костыли коряво опираясь.
А воздух лета, влажный и тугой,
Сгущается, светясь, плывет, качаясь.

И с болью и виной в который раз
Гляжу и в изумление и в заботе,
Как снова торжествует в этот час
Величье духа над бессильем плоти.

Алла Тер-Акопян

ПАМЯТИ ДРУГА

Нас меньше.
Связь начала и конца
есть жизнь —
тончайшая на свете струнка...
Где рослый юноша
с глазами в пол-лица,
с губами крупного прекрасного рисунка?

Пусть он простит
мне смех, и прегрешенья,

и детские капризные слова.
Мой добрый!
Одари меня прощеньем
за то, что я пока еще жива.

А прах мой легкий
пусть развеет Время,
когда нагрянет черный мой черед.
Я не хочу лежать в земле, как семя,
которое весной не взойдет.

Николай Шумаков

ШИФРЫ

Мне кажется,
Что звезды в небе — шифры,
Таинственные шифры неземлян.
И наших всех эпох бессчетных цифры —
Большая шутка мудрых марсиан.
Для тех, кто над мирами гордо реет,
Все наши потрясения — не в счет...
И непрерывно в нас течет не время,
А мудрость их бессмертная течет.
И через все условные препоны,
И сквозь базальт немислимых годов
Я слышу сверхкосмические стоны
Взывающих сердец-колоколов!..

Близится 600-летие исторической битвы на поле Куликовом. Тема эта на протяжении веков волновала наш народ, пробуждала высокие патристические мысли в душе историков, писателей.

Первым произведением, посвященным событиям 8 сентября 1380 года, была «Задонщина», или «Слово Софония Рязанца о великом князе Дмитрии Ивановиче и брате его Владимире Андреевиче», — поэма эпического характера. По многим сопоставительным данным «Задонщина» написана в 1384 году. Она известна в шести списках, дошедших до нас; самый ранний из них датируется концом XV века.

В «Дне поэзии» публикуются отрывки из нового стихотворного переложения «Задонщины».

Софоний Рязанец

З А Д О Н Щ И Н А

*Из стихотворного переложения
Бориса П р и м е р о в а*

* * *

Ой, сойдемся, братья русские,
сыновья земли единой,
и поставим слово к слову,
так, чтоб песня зазвенела,
возвеличивая славных,
возвеличивая русских!
Бросим мы печаль большую
с неба на страну Востока,
в Симов жребий, где широко
залегли полки Мамая.

Ой, сойдемся, братья кровные,
други трав, дубрав зеленых,
и восхвалим гром-победу
над Ордою Золотою.
Воздадим почет и славу
князю Дмитрию Донскому,
князю Боровска и князю
седоглавого Ростова.

Сыновья земли высокой,
мы сойдемся. Грянут гусли
непривычными словами
о деяниях похвальных
да о нынешнем походе
на большого супостата.
Ибо соловей наш вещей
возлагал персты горазды
на живые струны гусель,
запевая славу русским:

первым был могучий Игорь,
Игорь Рюрикович, дале —
князь Владимир Святославич,
Киевский великий князь.

Третьим шел, как подобает,
Ярослав, что прозван Мудрым
за живое наставленья
городам и весям нашим.

Я же, истинный рязанец,
по прованию Софоний,
старым гуслим в лад сегодня
слово светлое скажу...

А от Калкской битвы до
Мамаева побоища 160 лет.

Вот Московский князь Димитрий
И удельный князь Владимир,
Испытав свой ум отвагой,
Заострив бесстрашьем сердце,
Думу ратную задумав,
Окружив себя полками,
Под шатром просторным неба
Крепко встали на земле.

О, крылатый жаворонок,
Птица летняя, степная,
Красных лет и дней утеха,

Залети на сине небо,
Посмотри на город сильный —
На Москву и Кремль державный,
На замах сей богатырский,
На зеленый свет дубрав.

Ты воспой, степная птица,
Славу Дмитрию Донскому
И испытанному князю —
Сыну грозного Андрея,
Внуку Калиты Ивана.
Разнеси хвалу о храбрых
От сухих степей до моря,
От Корсуни до Путивля.

О, лихая птица сокол,
Из большой земли Залесской
В половецкие просторы
Буря ль занесла тебя?!
Стаи не перечеть сокольных
В небе низком басурманском
От рассвета до заката,
От зари и до зари.

На Москве золотоголовой
Кони ржут, мечи искрятся, —
Слава русская играет
На земле славянской всей:
На Коломне — медь-трубою,
В Серпухове — буйным бубном
Стягом, на века стоящим, —
У истоков Дон-реки.

Колоколом новгородским,
Золотом святой Софии,
Говором мужей высоких,
Верностью славянских жещ...

Как орлы тогда слетались
С дальних северных уделов.
Это не орлы слетались,
А съезжались князя
Под крыло Москвы единой,
К стану Дмитрия Донского.

Говорят ему дружины
И князя уделов русских:
— Господин великий, княже!
Уж татары наступают,
Побирают земли наши,
Забирают в плен просторы,
Топчут вотчины и воды
Тихой северной страны...

* * *

Уж как соколы взлетели,
Уж как кречеты вскружили

И ударились крылами
О стада гусей крикливых.
Это не соколы стаи
И не кречеты вскружили —
То перевезлись внезапно
Сыновья земли славянской

И наехали едино
На татар, на злую силу.
Копья фряжские сломали
О татарские доспехи.
Возгремели вешним громом
Их булатные мечи,
Хлынули дождями стрелы
На поганого Мамаю.

Ой, черна земля родная
Под копытами комоней
И засеяно широко
Поле чистое костями.
Кровью ворогов полито
Русское большое поле
Близ Непрядвы, речки славной,
Меж Днестром и быстрым Доном.

На том поле Куликовом
Сильные полки сошлись,
Рослые холмы стоптали,
Воды в реках замутили...

И сказал своим боярам
Князь Димитрий, быстрый сокол:

— Братья, славные бояре,
Воеводы и князья!
Тут еще не ваши в славе,
Не московские пока что
Сладкие меды и чаши,
И высокие места.

Нам настало время, братья,
Испытать удалым плечи,
Старому — омолодиться,
Чести молодцу добыть.
Добывайте, воеводы,
Славой чтимые бояре,
Место для себя под небом
И для ваших верных жен...

Начинает князь великий
Наступление большое:
Загремел булат тяжелый
О хиновские шеломы,
И от грома боевого
Зашаталась степь седая,
А поганые прикрыли
Головы свои руками.

Потекли рекою быстрой
Вспять поганые от Дона,
И режут повсюду стяги
Русских боевых дружин:
— Отступилися от князя
Рати злобного Мамай
И, зализывая раны,
Зверем раненым бегут...

* * *

Князь великий держит слово
Здесь, на поле Куликовом:
— Братья и мои бояре,
Воеводы и князья!
То вам суженое место
Под высоким вольным небом

На реке Непрядве тихой
Между Доном и Днепром.

Положили вы за землю,
Русскую, родную землю,
За святую веру нашу
В битве головы свои.
Вы добыли в грозной брани
Для себя великой чести,
Памятливой и нетленной
Славы для своих имен.

Так простите меня, братья,
И меня благословите
В этом времени великом
И в грядущих временах!..

Юрий Разумовский

◆
*Наши
зобилары*
◆

— Юрий Георгиевич, какими стихами Вы хотели бы отметить свое шестидесятилетие на этих страницах?

— Одновременно и веселыми и грустными, как сама жизнь.

ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ

Комэск, с которым на войне
Летал я «в паре»,
Сказал однажды обо мне:
«Хороший парень».

Как на погон, легла тогда,
Навроде лычка,
И прикипела на года
Вот эта кличка.

Война закончилась, и тут —
В дыму, в угаре —
Пришел с войны в Литинститут
Хороший парень.

Пришел, медалями звеня,
Как на гитаре,
И снова звали все меня:
«Хороший парень».

А я на Пушкинской сидел —
В четвертом баре —
И кто-то на ухо сипел:
«Хороший парень».

Меня та кличка жгла до слез —
Почище брани:
Никто не брал меня всерьез —
Хороший парень.

Стихи пишу я много лет
И не бездарен,
Но для поэтов — не поэт —
Хороший парень.

Редактор не пускал в печать:
Хозяин-барин.
Не мог я кулаком стучать —
Хороший парень.

И сомневаться уж привык
В своем я даре.
Уже не парень, а старик —
«Хороший парень».

Когда закончу путь земной,
В дубовой таре,
Вновь кто-то скажет надо мной:
«Хороший парень».

У ДОГОРАЮЩЕГО КОСТРА

Еле разгоняя мрак окрестный,
Пляшет пламя синее во мгле.
Я смотрю в огонь — мне интересно
Вспоминать, как жил я на земле.

Да, я прожил жизнь не очень сладко,
И почти подведена черта.
Не имел и прежде я достатка,
И теперь не жду я ни черта.

Но, однако, сердце жжет тревога —
Жизнь уже висит на волоске,
Хорошо бы так пожить немного,
Чтоб совсем не думать о куске.

Чтоб не отвлекаться пустяками,
С совестью беседуя на «ты»,

Чтоб заняться наконец стихами —
Теми, что не терпят суеты.

А еще мечтаю я о счастье,
Ну хотя бы на день — не навек,
Чтоб узнать пред смертью, хоть отчасти,
Как живет счастливый человек.

И любовь... Ну, это уж я — слишком.
Без нее закончу бытие.
Только жаль, что никаким мальчишкам
Не оставил имя я свое.

В темноту погружена окрестность —
Еле тлеют угольки в золе.
Как пришел, так и уйду в безвестность,
А ведь мог остаться на земле.

ОДИНОЧЕСТВО

Поработаю нынче всласть я —
Тишина, сигаретный дым...
Одиночество — это счастье,
Незнакомое молодым.

Мчит Пегас, он не знает плети,
Только пыль за спиной кипит,
И четыре строки — вот эти —
След его четырех копыт.

До чего же приятно, право,
Острым словом разрезать тишь.
Одиночество — не отрава,
А отрада, когда творишь.

Только это все до предела.
Годы подать берут сполна —
Роща родичей поредела,
Откатилась гостей волна.

Вот однажды и я заметил —
Ни наследников, ни жены.
Никого у меня на свете,
Кроме вкрадчивой тишины.

И тогда мне вдруг стало жутко,
Я себе говорил: — Держись... —
Ах, какую дурную шутку
Ты сыграла со мною, жизнь.

Содрогнулась душа в смятенье —
Успокоиться не могу:
Днем бегу за своею тенью,
Ночью — тени своей бегу.

Немота разлилась, как море,
Даже стал телефон немым...
Одиночество — это горе,
Незнакомое молодым.

Григорий Корин

* * *

Покамест душа твоя ищет
Свой угол и свет не во мне,
Мне снится юродивый нищий
С картонной свирелью в окне.

И все, что шепчу тебе всуе,
Он слышит в безмолвной ночи,
И дует в свирель свою, дует,
Но в ней ничего не звучит.

* * *

Не уподоблю мир одной тебе,
Твоей волшбе и ворожке,
Болезненности и печали.
Его я видел в роковом огне
Шестьсот ночей и дней на той войне,
Он черным был, как твой глазной хрусталик.

Готов я жизнь свою вручить тебе,
И быть всего птенцом в твоём дуле,
Внимать твоей болезни и печали.
Но видеть мир с тобой наедине,
Таким, как разожгла его во мне,—
Избавь господь,— хватило мне развалин.

Инна Камежева

ЗАБЫТАЯ СТРОКА

Когда тебе приснится
забытая строка,
как божия десница,
как луч сквозь облака,—
ты мешковину вспорешь
ниспосланной судьбы
и столько сразу вспомнишь,
сверстав всех верст столбы,
обманчивому эху
отдав свою тоску...
Ты только вспомни эту,
забытую строку!
Зови ее, аukai,
моли и сквернословь...
И то, что стало мукой,
любовью будет вновь.

Лишь в памяти проснется
забытая строка,
опять лица коснется
отцовская рука.
Не верь навету злему,
навет и есть навет:
забытое былому
принадлежит навек...

Когда вторично сложишь
строку за слогом слог,
тогда тому можешь,
кому ты не помог.
Она не избавленье,
забытая строка,
а счет для погашенья
в сейчас издалека.
Плати, не скор покамест
пробужденья взрыв,
обиженным — покаясь,
обидчикам — прости.
Взяла уже на привязь
тебя наверняка
сама неповторимость —
забытая строка.
Нельзя следов замытых
скрыть, если кровь свежа.
Болят от строк забытых
и совесть, и душа.

...Когда в смятенье — в полном! —
проснешься поутру,
живи, как будто вспомнил
забытую строку.

ПЕСНЯ САМОВАРА

Лето в сочной зелени,
где ты зимовало?
Как Машина Времени
песня самовара.
Угольки, шипящие
в гневительном глаголе....
Что-то в них щемящее,
близкое до боли.
Чей-то голос чудится,
чьих-то рук движенья...
Студятся на блюде
пенки от варенья.
Плывут сквозь самоварные
дымные колечки
слова высокопарные
старинного наречья.
Хорошо под сладости
рассуждать на воле
в чесучовой благодати
о крестьянской доле.
Фарфоровая выставка...
Чай с беседой льются...

А самовар-то — выдумка
тех, о ком «пекутся».
Что это, наитие?
Но под сенью сада
такое чаепитие
было здесь когда-то.
Не пришлось пока еще,
как стакан о блюде,
близко так — пугающе! —
прошлого коснуться.
Не без роду-племени:
вот и взволновала
в подмосковной зелени
песня самовара.
А сквозь небо летнее
повседневным чудом
мечт мое столетие
реактивным гудом.
Стал на миг историей
в самоварном пенье
этот чай, настоящий
на воображенье.

Сергей Мнацаканян

ГОРОДСКОЕ

Замкнут каменными домами,
снизу — битумной мостовой,
сверху — темными проводами,
словно невод над головой...

Несвободен от обязательств,
разбросался по мелочам,—
а не так ли беглая завязь
чахнет в заморозках по ночам?

Но пронзительно и пресветло,
в сердце вздрагивая твоим,
прорезается, словно ветка,
что свободой земной зовем...

Это — чудно и незнакомо!
Поднимается из глубин
это таинство вне закона
криком совести и любви....

Берегите свою свободу
с целым миром наедине —
нюх к осеннему небосводу,
тягу к утренней тишине.

Берегите святое чудо
прикасания к земле родной —
сквозь бетон и асфальт оттуда
тянет мятою и сосной...

Запеленаты в позолоты
ваши помыслы и слова?
Берегите — не от кого-то,
ибо надобно — от себя...

Берегите в мире суровом,
чтобы, вдруг обретая речь,
боль, невысказанную словом,
от забвения уберечь.

СТРЯПНЯ

Красное солнце стоит в хрустале,
крупная соль белоснежна в солонке,
в чане вода закипает в сторонке,
рыба дрожит на шершавом столе...

Быстрые, точные взмахи ножа —
слизь на тугой чешуе потускнела.
Если б у рыбы имелась душа,
значит, она отлетела от тела.

Кровь по металлу стекает, дымясь,
лезвием розовый бок разворочен,
взглядом последним разинутый глаз —
словно бы гвоздь в потолок заколочен.

Эта колючая хищная кость
гнется стрелою в горячем развале,
бьется плавник, трепыхается хвост —
ух, как живучи заморские твари!

Жирною кровью — и нету жирней! —
мечены перья зеленого лука,
пальцами нежной хозяйки твоей
вырваны внутренности из брюха.

Хвост трепыхается — все же жива,
шлепает жабрами — ну и морока,
а из окошка течет синева,
переполняя холодное око...

Тимур Зульфикаров

ИЗ ЦИКЛА «ДРЕВНЯЯ РУСЬ»

* * *

Тополиный край, стай вороних край, колокольный град,
Тщись бежать из Руси, да пощад не проси,
Всяк тут рекрут, солдат, по могиле собрат,
Мать, коня расти! Конь, дитя уноси! Воров, пленных коси!
Жжёно хатам на Руси, вольно гадам, слепо пахарям от зарев,
Мать, пчелиные вишни соси, дочерей верней сносить,
Чем сынов-шутов хоробрых юнцов следить,
Как залиvisto под копытами взывают, тишают они,
Тут монашкою прибыльно быть — монастырских оград не избыть!
Да подъехал подметный искрящийся царь —
Эй, молодка, на луг до трубы призывной вылезай,
Схимну смирную сбрось постылую, ноги к царским плечам закидывай!..
Так Русь полнится стыдливо,
Русь данников сечь извечных,
Русь неназванных царевичей.

* * *

Воин воин в поле помер воин в поле упокоен воин в поле скошен сложен
к снопу главою
Матерь всходит в золотых колосьях матерь воина главу умлет родниковою
водою
Матерь к очам воина склонна мирно неистошно
С холма святого поют вдов пресветлые толпы
Летают над полем стаи ангелов и воронов

Лия Наттельбаум

РАЙОННЫЕ МУЗЕИ

На стендах районных музеев
Заботливо чья-то рука,
Сквозь разум и сердце просеяв,
Рядком уложила века.

И в них вы найдете, конечно,
Обломок старинной иглы,
Заржавленный наконечник
Когда-то летевшей стрелы.

Хранится зерно чечевицы,
Плодов разрисованных ряд,

Висящее чучело птицы
И праздничный местный наряд.

Уложен в витрину с любовью
Сержанта слинявший портрет.
Покрыт потемневшею кровью
Его комсомольский билет.

И видят районные дети,
Что тянется вечная нить,
Что жил этот мальчик на свете
И есть им что в сердце хранить.

ДУША

Я не знаю, что ты такое.
Ты не вечное и не прах.
Ведь никто не трогал рукою
То, что светит в живых глазах.

Что важнее выпавшей доли
И ценней, чем еда и дома,
И любой разыгранной роли,
И способностей, и ума.

Эры долгие год от года
В бездуховной темной тиши
Терпеливо растила природа
Долгожданное чудо души.

И, живым осветившись взглядом,
Наконец-то очнулась от сна
И прониклась и смыслом и ладом.
Отойди от души, война!

Ольга Ермолаева

* * *

Я помню, как по солнечной погоде
Шагал старик в малиновых штиблетах,
Как драгоценность, нес перед собою
Полбулки хлеба, нес полбулки хлеба...

Как женские пульсировали шеи
В ломбардах нафталиновых, я помню,
И жестяные бирки в темных банях,
И косточки разбитых абрикосов
Компота пионерских лагерей...

Как в юности я странствовать любила!

Я воздух тамбура припоминаю,
И запах отсырелого стекла,
И радость и любовь мою — фонтаны...
Томительные ночи на вокзалах,

Приморский камень и горячий кофе,
И лепесток в стаканчике вощеном,
И трепет полосатой парусины
Над книжными лотками на бульварах...

Но предо мной, неделя за неделей,
Идет старик в малиновых штиблетах,
Несет к себе свои полбулки хлеба,
И нету силы на него смотреть.
И чередою движутся старухи
С их кухонным, телесным прелым духом,
И женщины, что мне напоминают
Испорченных, заброшенных детей...
Мне странно говорить, что я когда-то
Любила пылко марши на вокзалах,
Любила люстры, ливни и фонтаны,
Расположенье родинки на коже
И в небесах расположенье звезд.

Юрий Смирнов
1933—1978

Наши публикации

В 1963 году в «Новом мире» впервые появилось несколько стихотворений молодого тогда поэта Юрия Смирнова, где были строки, врезавшиеся в память внезапной драматической свежестью:

Не каркай, ворона, не каркай...
Мне рано еще умирать,
Я завтра пойду с санитаркой
В зеленую рощу гулять.

Сегодня они приобрели особенно прямой, упрямо-серьезный смысл. Потому что Юрий Смирнов умер действительно р а н о.

Меня сопровождает боль,
Куда бы я ни шел.
Я говорю ей: — Хлеб да соль,—
Когда сажусь за стол,—

эти, едва ли не последние, стихи Ю. Смирнова повторяют теперь друзья поэта — так трудно примириться с его отсутствием...

При жизни вышло у Ю. Смирнова три книги стихов: «Обруч» (1969), «Времена года» (1974), «День рождения» (1976). Из них предстает на редкость цельный образ поэта, характер, главные черты которого — достоинство и мужество. Юрию Смирнову было присуще то уважение к «старинному делу» поэта, которое непроизвольно передается и его читателю. Новые стихи Ю. Смирнова, обнаруженные после его смерти, углубляют наше представление о своеобразии его дара. Их строгий лиризм, скорбный пафос прощания, разлитый в них умный, особенный «русский взгляд на жизнь» (Тургенев) говорят нам, посреди наших литературных будней и праздников, что не стерты иные, высокие масштабы личности, жизни, творчества, что «где-то на краю небес, Напоминая оторочку, Темнеет монолитный лес, Хоть все деревья в одиночку»...

Юрий Смирнов служил на флоте, работал в гражданском строительстве и свою вторую профессию инженера-проектировщика не оставлял вплоть до последнего года своей жизни, жизни, которая несмотря на постоянство в ней этой второй профессии была именно жизнью поэта: долг, достоинство, честь во всем определяли ее.

Ниже публикуются стихи из новой книги Ю. Смирнова «Знаки», которую успел составить сам автор для издательства «Советский писатель».

Т. Г.

* * *

Дни, что зайцы, — врассыпную.
Месяц волком пробежал.
Зимней ночью ждал весну я.
Ждал, да, видно, переждал.

Оттого и небо низко,
Словно царь небесных сил
Алюминевой миской
Мокрый город наш накрыл.

Оттого-то неуклюже
С островка на островок
Миновать пытаюсь лужи
Парю промокших ног.

Путь вдоль ветхого забора
Как овечий водопой.
Где же образ юной Флоры,
Что привиделся зимой?

Светлый образ Боттичелли...
Флорентинец врать мастак,
Или, может, в самом деле
Все в Италии не так.

Дни, что зайцы, — врассыпную.
Месяц волком пробежал.
Слишком долго ждал весну я.
Ждал, да, видно, переждал.

* * *

За февралем, как за холмом,
Долины вешние.
Еще не говорят о том
Приметы внешние.

Еще укутана страна
Колючей вьюгою.
Она гудела дотемна
Метельной фугою.

Пока не говорят о том
Приметы внешние,

Что скоро тронутся гуртом
Сугробы снежные.

Еще очерилась зима
Клыками, бивнями.
Но оседают терема,
Их смоев ливнями.

Над крышей грянет первый гром
И над скворешнею.
Пускай еще молчат о том
Приметы внешние.

* * *

Ночью грозной ломил он стеной,
Деревя выворачивал с корнем, —
Этот ветер лохматый степной,
Неподвижностью сонною вскармлеп.

Утром из дому ринешься ты
В ясный холод осенней печали,
Лишь едва затрепещут листья,
Что вчера тебя шумно встречали.

О, кладбищенский запах земли,
Чернотю зияющей свежей...
Неуклюжие ветки легли
На дороге, на части проезжей.

Деловито топор зазвенит,
В ствол душлистый врезаясь с размаха.
Боль твоя устремится в зенит,
Как отныне бездомная птаха.

САД

Цветы на деревья
Как мотыльки присели.
Сгущалась синева
На нашей параллели.

И дальняя звезда
Светила одиноко,
Как Страшного суда
Внимательное око.

А сад благоухал
Любой травинкой малой.

Крылами опахал
Предгрозье колыхало.

И мускулы листа
Сжимались, чуя взбучку.
Нередко красота
И смерть идут под ручку.

Прикрыл глаза фасад
Балконом из балясин.
Притих больничный сад
И как же был прекрасен.

* * *

Легла дорога средь полей,
И на возвышенностях плавных
Видны зубцы монастырей,
Былого сторожей державных.

Как далека дорога та!
Как будто нету ей предела.
Голубоглаза высота,
Глядит, все очи проглядела.

А что вдали? Эх, кабы знать...
Летим — движенья не умерить.
С младых ногтей нам повторять:
— В Россию можно только верить.

А где-то на краю небес,
Напомявая оторочку,
Темнеет монолитный лес,
Хоть все деревья в одиночку.

Мариэтта Шагинян

Я ВСЕГДА БЫЛА ПОЭТОМ

Хорошо, что меня вспомнили в «Дне поэзии». Ведь я всегда была поэтом,—и в двух моих поэтических сборниках «Первые встречи» и «Orientalia», и в девяти последующих томах прозы, пронизанных поэзией.

Есть великолепное выражение русское «образ мыслей». Как поэт, я всегда стремилась к поиску наибольшей поэтической точности для выражения не образа моих чувств, а образа моих мыслей.

И эта потребность перешла у меня в прозе в страстное стремление к поэтической, художественной точности для передачи того образа мышления, в котором я живу.

* * *

Восхищенному взору открывало небо вечернее
Золотые свои письмена,
И водила по ним все полней и размернее
Указующим пальцем луна.

Солнце слало к ночи гонцов с укоризною:
Что ж, готовы ль пути для меня?
И священные буквы стирались рукою
капризною
Суетливо-безумного дня.

Снова тайна небес отошла, непрочитана,
Затерялась вдали золотая строка,
Но как сладостно знать, что опять заблестит
она,
Непрочтенной в века.

1909

* * *

Волну окликнула волна —
И вот она уже далече...
Ах, не на радость им дана
Их кратковременная встреча!

Грустит у ног, грустит прибой
И плещет жалобнее птички...
А мы, не так ли мы с тобой
Сошлись на миг для переклички?

И, растворяясь в широте
Земных забот и недосуга,
Зовем, зовем, как волны те,—
Но не отходим друг от друга...

О, эта боль! О, этих встреч
Незабываемая рана!
О, как мне сердце уберечь
От новой веры и обмана?

1913

ПОЭТИЧЕСКИЙ ТРАМПЛИН

В ботанике есть понятие: зона гигантизма. Это выражение употребляется, когда речь идет о высокогорных растениях, растущих на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря. Ромашки, одуванчики, папоротники, колокольчики, размеры которых в обычных условиях не вызывают у нас удивления, в зоне гигантизма преобразуются, становятся огромными.

Чем объяснить неожиданную мощь стеблей, размах листьев, пышность цветения? Ответ один: высота. Здесь воздух чист и прозрачен, поэтому легко пропускает ультрафиолетовые лучи, щедро отдаваемые солнцем. Здесь частые смены жаркого солнца и ливня. Заурядные растения, оказавшись на заоблачных вершинах, меняют свой облик, обретают силу и как бы говорят: «Вот на что мы способны, когда нас окрыляет высота».

В литературе такой высотой является талант. Явления жизни, факты, события, не выходящие за рамки обыденности, став достоянием литературы, преобразуются, наполняются силой воздействия, обретают новое качество — рождается то прекрасное, которое было скрыто от простого глаза. Читатель, беря в руки книгу, думает: а ведь все это и мне знакомо, но почему-то я не так сказал, не открыл новых граней, новых явлений и фактов, которые, кажется, так просто открыл талант.

Творцы художественных ценностей! Чтобы быть одним из них, мало только желания, даже самого страстного. Надо родиться творцом, надо шаг за шагом, от книги к книге непрерывно обогащать свои знания опы-

том предшественников, питать ими драгоценное зерно таланта, из которого вырастет творец художественных ценностей, а затем довести его до бурного цветения.

Творец художественных ценностей вызывает удивление там, где до него ничто не удивляло, наполняет светом то, что не замечалось в общей массе, — это и есть высота художественного мышления, преобразующая многообразие жизненных впечатлений в чудесный сплав — в произведение литературы. Об этом сплаве хочется напомнить еще раз потому, что ни один жанр литературы не имеет на это исключительного права, и дарование человека может проявляться в одном, двух, а то и множестве жанров, и переход поэта, писателя от одного жанра к другому, как и возвращение назад, вполне логичен.

Чаще встречается «уход» от поэтического жанра к прозе, чем наоборот. В этом, видимо, своя закономерность. Поэт «раздался» в плечах, овладел секретом слова, его волшебной силой, научился пробовать пальцем острие слова, как пробуют острие меча. Если в этот период в его сознании возник художественный замысел, не вмещающийся в рамки поэтического жанра, он обратится к более емкому жанру, какой несомненно является проза, которую, не боясь навлечь на себя гнев поэтов и драматургов, назову королевой литературных жанров. Такой поэтический трамплин вполне закономерен и плодотворен, ибо в прозу приходит уже человек, знающий, как обращаться со словом, понимающий и чувствующий его.

Валентин Сорокин

АТЛАНТЫ

Звенело утро в солнечном тумане,
И лес шумел под ветром и трава.
И, как следы атланта, в океане
Курильские виднелись острова.

Живет во мне печальная обида, —
Она стрелой летит сквозь времена:
Зачем погибла в муках Атлантида,
Красивая и честная страна?

Морская ширь — Урал, Саяны, Анты;
Какие грозы грохочут вдали!

Земной вертеп не сдюжили атланты
И родину в пучинах погребли.

Пожалуй, надо каменные души,
Стальные нервы, чтобы превозмочь
Внезапный натиск озверелой суши,
Чумной воды клокочущую ночь.

Атланты, опущусь я на колени.
Пропавшие герои доброты,
Давно в просторах бродят ваши тени
И достают руками до звезды!..

ЗАБЫТОЕ ИМЯ

Мой сад заливаает вода,
От солнца она золотая.
И снег, насыщаясь и тая,
Плывет неизвестно куда.

И яблони мокрой земли
Ветвями коснулись пустыми.
И ветер забытое имя
Принес и развеял вдали.

И думал я долго о том,
Давая созреть укоризне,
Что в мире, еще молодым,
Так много от древности жизни.

Зовущая тайна любви,
Не зря ты веками воспета:
Не сгинет твой пламень в крови,—
Покуда им дышит планета.

ЗИМНЯЯ СОСНА

И роща не ясна,
И даль в туманах тлеет.
И лишь одна сосна
Шумит и зеленеет.

Одна, и голый лес
При ней еще пустее.
И снег, и дождь с небес
Просыпались густее.

Шумит сосна, шумит,
И никуда не деться,
Коль голос тот щемит
И будоражит сердце.

Пусть нам никогда не понять
Нездешнее чудо мгновенья,
Вон сад мой, готовый принять
Восторженный гомон цветенья.

И эта вокруг синева,
И музыка близкой теплыни —
Как радость, как горечь полыни,
Как чьи-то родные слова.

Зеленая сосна,
Зачем поёшь такое,
Что ночью не до сна
И днем не до покоя?

Шумишь по-над бугром,
Ветрам зимы открытом,
Как память о былом,
Тоска о незабытом.

Я подойду к сосне,
Я попрошу: — Не надо
Звенеть о том при мне,
Чему душа не рада!..

Людмила Щитахина

КАРАКОЛА

Раковина — каракола.
Дар глубин, виток природы.
Кто так крепко и надежно
Закрутил твою спираль?
Отчего, изнемогая
От сияющей свободы,
Ты хранишь в холодном чреве
Шум прибоя и печаль?

Став добычею обычной
Собирателя моллюсков,
Ты случайно не разбита
О прибрежную скалу.
И теперь на книжной полке,
Полированной и узкой,
Прижилась ты и прижалась
В предназначенном углу.

Каракола — мол, кораллы,
Колокольный звон далекий...
Королевою стихии
Ты, наверное, была.
Запятой на свитке моря.
Гостьей вечного потока.
Ослепительным мгновеньем,
Квантом света и тепла.

Подчиняя совершенство
Строгой прозе назначенья,
Через все перипетии
Ты была — очаг и кров.
Сквозь подводные течения,
Фосфоритные свеченья
И скупые излученья
Прародительских миров.

Алла Стройло

ПОСЛЕДНИЙ ВЗГЛЯД

Утрачен дар — на мир глядеть впервые.
Все видела, все знаю, все стерплю,
И солнечные дни и теневые
С одной и той же яростью люблю.
Но взгляд последний
Где-то с первым рядом.
Он только горше, резче и больней.

* * *

Земля — крестьянская лошадка.
По кругу времени бежит.
Порой и валко ей и шатко
И холка белая дрожит.
Ей солнце врежет луч горячий,
И вьюга ледяным кнутом,
Метеорит — шальной, незрячий —
Шарахнет. Рана под хребтом...
Порою вздрогнет.
Город, где он?
Порою пламя из ноздрей,
Но бесконечный путь проделан,
И что ни век она — добрей.
И как дорожка ни крута
Под дождичком метеоритным,

И я смотрю последним этим взглядом
На свистопляску городских огней.
Я стала терпеливой, как вода,
Иль как гора, иль как вообще природа.
И в самое плохое время года
Не прокляну я время.
Никогда!

Покорная сезонным ритмам,
Она бежит и без кнута.
Ей недосуг браниться, злиться,
Все человечество на ней,
А ей почище бы водицы
И травки бы позеленей.
Всех кормит, поит, одевает,
И злата всем и серебра,
Да вот хозяин зол бывает —
В ракетах мчится со двора,
Чадит, шумит и воду мутит,
Не хочет быть добрей, умней,
Как будто впрямь
лошадку крутит,
Как будто впрямь хозяин ей.

Натан Злотников

ШИХТОВЫЙ ДВОР. 1942

Вот мальчишка идет спозаранку
В холодном тумане густом,
Подходит к подбитому танку
С косым обгоревшим крестом.

По башне взбирается серой,
В люк смотрит, спускается в люк,
Где порохом пахнет и серой,
Где холод железный вокруг.

Сквозь мертвенный сумрак расплаты,
Которой достоин был враг,
Горят на щитке циферблаты,
И реверса блещет рычаг.

Пусть тыл здесь и несколько мелок,—
Повсюду глубокий покой,

Лишь факелы фосфорных стрелок
Пугливо дрожат под рукой.

Он к насыпи выйдет покатою,
Где дремлют пока сторожа,
По рельсу вдоль шихты проклятой
Пройдет, равновесье держа.

Здесь техника ждет переплава,
Мартены гудят все сильней,
Ждет мальчишка скромная слава,
Но он и не знает о ней.

Пройдет он по белому свету,
О чем и вовек не мечтал,—
Но прежде он видел победу,
Поверженный тронул металл.

Татьяна Кузовлева

* * *

Ветер западный, ветер сырой,
Воздух, пахнувший волглой корой,
Снег, осевший и тяжеловатый.
И стремительно издалека
Многослойно бегут облака,
На восход торопясь от заката.

Стала оттепель — и среди дня
Разморозилась наша лыжня,
Предвещающая весенние сроки.
В сотый раз повторяю тот путь,
Где ты шел, не желая свернуть
От ведущей все круче дороги.

И опять, совершая подъем,
Я дыханьем владею с трудом,
Напряжение чувствуя в теле.
Но все кажется, что впереди
Ты мне жестко бросаешь: иди!
Что за труд — этот путь, в самом деле?

* * *

Я вижу в случайном
Декабрьском дне:
Качается чайка
На стылой волне.

И ветер изменчив,
И дюны тверды.
Край неба помечен
Осколком звезды.

И так же случайна,
Как все в этом дне,
Случайная чайка
На зыбкой волне.

Случайность явлений —
И сквозь времена

Мне бы лишь от тебя не отстать.
Я скольжу, задыхаясь опять.
Я не видела круче подъема.
Сколько раз то молчаньем, то вслух
Ты будил во мне дремлющий дух,
В небеса увлекая от дома.

Но мне страшно, что близится час
Перевала, где ветры, вихрясь,
Не в лицо будут дуть мне, а в спину,
Час, когда, убыстреньем прожжен,
Ляжет путь от зари под уклон
И когда отдышусь и остыну.

Я не смерти боюсь — тишины,
Когда, в путь этот вовлечены,
Когда, ранены болью слепую,
Будут годы бессонно длинны,
Будут годы с избытком полны
Одиночеством, а не тобою.

Несут поколенья
Судьбы письмена.

Случайность рассвета.
Случайность имен.
Случайности этой
Не писан закон.

Но встреча свершилась —
И ей исполать
За случай, за милость,
За право страдать,

За дикую чайку,
За ветер слепой.

.....
Я тоже случайно
Пошла за тобой...

Владимир Захаров
1925—1973

Наши публикации

«У Владимира Захарова есть хорошие задатки для работы в поэзии, у него есть верный и интересный подход к истории нашей страны, у него очень неплохой, сильный и такой сочный язык. У него есть хорошая техника, он работает в традициях русской классической литературы, что, на мой взгляд, не является каким-то минусом, а наоборот».

Так писал Ярослав Смеляков о Владимире Захарове.

«День поэзии» знакомит читателей с двумя неопубликованными стихотворениями поэта.

МОСКВА

Я был еще крестьянским пареньком,
Когда отец привез меня в столицу,
Чтобы навек запомнились мне лица
Вождей страны и звезды над Кремлем.

В лучах зари сияли купола,
Как сахарные, высились соборы.
Но ярче злата были наши взоры —
Двух мужиков из дальнего села.

С котомками, в овчинных зипунах,
Стояли мы на солнечной брусчатке.
И Мавзолей, и белые перчатки
У часовых — все поплыло в глазах!

* * *

Душа по-прежнему ранима,
И беззащитна, и нежна,
Ей связь с землей необходима,
Затем что жизнь земле нужна.

И ты раздвинь глухие стены,
Забудь на время о рубле.
Поверь, что прель лесного плена
Всего нужней сейчас тебе!

Не зря с рожденья до могилы
Земля, кормилица и мать,

А батя в бок толкал: «Запоминай!»
И, шапку сняв, робел перед гробницей,
Один на Красной площади столицы,
В Москву привезший сына невзначай.

Моя рука была в его руке.
И слышал я, как сердце грохотало
В груди отца, как кровь оно толкало
И отдавалось в сжатом кулаке.

О, эти звезды алые Кремля,
Горячие рубиновые солнца!
Вам верит сердцем русская земля
И видит вас из каждого оконца.

Не устает, давая силы
Живым, — живое обновлять!

Хожу по листьям прошлогодним
В сыром лесу и сердцем рад,
Что хрупкий ландыш и сегодня
Струит мне в душу аромат,

Что среди грохота и грома
Бурлящей жизни городской
В душе живут, как будто дома,
И лес, и речка, и покой.

Дороги

Ирина Волобуева

ГРУЗИЯ

Под замкнутым небом чукотских полярных краев,
Когда вертолет над обмерзшими сопками кружит,
Не раз, смуглоликая Грузия, солнце твое
Ко мне пробивалось сквозь долгую белую стужу.

Иль в хвойном затишье таежных дремучих лесов,
Сквозь пламя костра, что дымы мне под ноги стелило,
Ко мне пробиваясь, гортанная песнь «Тбилисо»
Душевым звучанием душу мою бередила.

Когда я брела по раздольным донецким степям,
Когда я вдыхала прохладу равнин черноземных,
Являлся мне Джвари — старинный таинственный храм,
В глубокое небо высокой скалой вознесенный.

Везде наступала меня по тебе эта грусть,
Как птиц наступает, наверное, грусть по гнездовьям...
И грела мечта, что к тебе я когда-то вернусь,
Что солнцем твоим опалюсь и ветрами напысь,
Что встречу с тобой, как встречаются с первой любовью...

Евгений Ерхов

ДОРОГА

Дорога, дорога, дорога...
Ни дня без нее нам, ни сна:
ударит под сердце тревога —
и под ноги ляжет она,
крутая — до пятого пота,
шаловная — подметки горят!
А шел бы и шел — все охота,
хоть сто километров подряд.

И как ни была бы рискована —
не сбавишь, не сдашь все равно!
Да просто и права такого

из нас никому не дано.
И силы лишились, и глохли
от воя моторов — но шли,
впряженные, словно в оглобли,
в разбитые две колеи...

Зови нас, тревога, в колонны,
дорога,
указывай путь!
...А письма из дома — спокойны.
И, собственно, в этом —
вся суть.

Маргарита Ногтева

ПОЮЩИЙ ЭКСПРЕСС

Шел свет от песенки сверчка,
От лиственных одежд,
И от сторожки лесника
Шел тихий мирный свет.
Сверкнула молнией река,
И грянул гром вослед:
Локомотивного гудка
Возник зеленый свет.
Текла стальная магистраль,
Во глубь лесов текла.
Трубил отчаянный журавль
В раструбы тростника.

Деревьев краше нет вокруг,
Чем голубая ель.
Как птица, вырвавшись на звук,
Стальной экспресс запел.
Он хрипло пел, хотя был чист
Испытанный металл,
Как будто душу машинист
Ему слегка смущал,
Как будто в зареве зари,
Над озером лучась,
Ему трубили журавли
И звали в ранний час...

Борис Щербатов

ВСТРЕЧА

Степь колесами пластая,
от беды на волосок
через ночь, гремя мостами,
поезд рвался на восток.

Где-то в дали бесконечной,
над землей неся грозу,
налетел, как вихорь, встречный —
ветром вышибло слезу!

Мчалась мимо, мимо, мимо
огненная полоса.

На какой-то миг, полмига
чьи-то встретились глаза!

И подкошенные взглядом,
рельсы смяв и провода,
будто вкопанные, рядом
вдруг застыли поезда.

Словно тени, вышли двое,
ног не чуя и земли,
через поле голубое,
взявшись за руки,
пошли.

Дмитрий Ушаков

СТАРЫЕ РАНЫ

Живу я в чуждедальней стороне...
Готические башни в вышине,
Как будто наконечники от стрел.
А под ногами — камень желто-бел.
Зачем я здесь? И что хочу узнать?
Замедлить время или обогнать,
Или в чужом наречье уловить
С моей землей связующую нить?
Как много обелисков вдоль дорог!

Тех красных звезд я позабыть не смог,
Что отмечали долгий путь солдат,
Не сдавших ни Москву, ни Сталинград.
А в сорок пятом здесь они легли,
Спасая мир — себя не сберегли.
Им — вечно спать. Живым, конечно, жить...
Так стоит ли их раны беречь?
Вот почему я лучше промолчу,
Когда в края родные прилечу.

Александр Коваль-Волков

ВЛТАВА

Влтава, ты степного нрава,
Вся славянская сама.
Вдоль, чарующей оправой,
Златой Праги терема.
И дома, и сень бульваров,
Парапеты над волной,
И мечтательные пары
Бродят, бредят тишиной.

Улицы вplyвают броско
В раму каждого моста,
Голубые перекрестки,
Доброй памяти места.

Льются воды величаво,
В них зеркально, налегке,

С высоты плывут Градчаны,
Словно Кремль в Москве-реке.

Где-то здесь, прервав погоню
В том стремительном бою,
Медленно донские кони
Пилят влтавскую струю.

Здесь мои друзья и братья,
Чистоту сердец храня,
Богатырские объятья
Распахнули для меня.

Честь по чести,
Слава — к славе,
Из веков — и на века,
Влтава — песенного нрава,
Вся славянская река.

Валентин Сидоров

САТСАНГ

Сатсанг.

Так называется беседа,
Неспешная беседа о предметах
Высоких и священных.

В Гималаях
Я вел ее на берегу реки.
Биас гремел и, отражая солнце,
Глаза нам резал блеском нестерпимым.
Мы на земле сидели.

А над нами
Березы и магнолии смыкались,
Даруя нам спасительную сень.
И тот, кого махатмой именуют,
Скрестив босые ноги, говорил:

«Поскольку все, что видим мы, священно,
Пусть будет темой наших размышлений
Обычный лед.

Вот этот лед».

Рукою
Он указал на горную вершину,
Увенчанную гладким ледником.
«Рассмотрим лед медитативным взором.
Я думаю, вы согласитесь:

В нем
Материя свою являет косность.

Инертен он и неподвижен он.
Но солнце накаляет атмосферу.
И что же лед?

А он теперь не лед.
Он стал текуч, он стал теперь подвижен.
Он сделал шаг вперед и, изменившись,
Возвышенные свойства приобрел.
Теперь он для растений и животных
И для людей — живительная влага.
Сокрытое теперь раскрылось в нем.
Но подогреем воду.

Что же дальше?
Шаг новый ввысь:

Лед превратился в пар.
Невидим он, и он теперь подвижней,
Чем горных рек стремительный поток.
И он такую обладает силой,
Что может двигать грузовые суда
И заставлять работать механизмы.
Но это не предел.

Есть жар огня,
Который скрыт в глубинах и который
Пар превращает в перегретый пар
(За наименьшем термина другого
Употребляю слово «перегретый».)
Когда прорвутся воды океана

К огню подземному, бушующему в сферах,
Подобно магме солнечной,—

Тогда

Планету сотрясают катаклизмы.
И горы поднимаются над сушей,
И суша опускается на дно.
Вот что такое перегретый пар,
Еще не покоренный человеком.
Но не забудем об исходной точке
Беседы нашей.

Перед нами лед.

Все тот же лед, но лед преображенный.
И это не конец метаморфозам.
Условия новые — и новый шаг вперед,
И говорить должны мы об эфире,
Заполним межзвездные просторы.
Наш бывший лед теперь уж повсеместен,
И он обрел космическую мощь.
Еще ступенью выше —

И свершилось.

И перед нами чудо из чудес:
Лед, наконец, становится частицей
Той величайшей сущности единой,
Что называют словом —

Абсолют.

Напоминаю, вынужден напомнить,
Что этот термин, как и все, условен.
Для нас он символ, олицетворенье
Единства всех космических начал.
Итак, какой мы получаем вывод:
Любая вещь, которую мы видим,

Есть Абсолют.

Она, пройдя этапы
Непостижимо сложного развития,
Преобразует внутренние свойства
И может быть возвращена к истоку,
И может быть возвращена к себе.
Но если так, то мы должны признать:
Разъединенье с Абсолютом —

Майя¹.

Лишь свястью с ним вселенная жива.
Но если так, то это означает:
У человека нет важней задачи,
Чем ощутить слиянность с Абсолютом.
В сиянье Абсолюта раствориться,
Но не затем, чтоб в нем навек исчезнуть,
А чтоб себя и мир преобразить».

Махатма замолчал.

Звенели птицы.

Шуршали ящерики и шлепались на землю
С камней, залитых солнцем.

Но ничто

Не нарушало нашего безмолвья,
Не прерывало нашей тишины.
Над ледником, подернутым туманом,
Вздымалось облако и медленно парило
И уходило плавно в синеву...

¹ М а й я (индийский термин) — иллюзия, выдающая себя за истину.

Олег Шестинский

— Олег Николаевич, что Вы предложите в «День поэзии» в год своего пятидесятилетия?

— Любимые стихи разных лет. Самые дорогие мне.

* * *

Пахнет темная чаща теплой смолой еловой,
пахнет июльский ветер дальней волной соленой,
солнцем полуденным пахнут ветви сосны суровой,
девичьим тихим дыханьем — мой березняк зеленый.

Если бы стал я незрячим,
если бы ночью туманной
в темные дали чужие меня бы враги увели,
я бы нашел тебя, Родина, по запахам нежным и пряным,
что до меня долетали б от ивовой русской земли.

МАТЕРИ

Чем дальше ухожу от даты
нелепой гибели твоей,
тем больше, в чем-то виноватый,
жду добрых от тебя вестей,—
то в чьем-то постороннем взгляде,
то в чьей-то фразе обо мне...
Не оставляй же, бога ради,
меня с бедой наедине.

ДРУЗЬЯМ, ПАВШИМ НА ЛАДОГЕ

Я плыву на рыбацком челне,
холодна вода, зелена...
Вы давно лежите на дне.
Отзовитесь, хлопцы, со дна.
Борька Цыган и Васька Пятак,
огольцы, забияки, братцы,
я — Шестина из дома семнадцать,
вы меня прозывали так.
В том жестоком дальнем году,
чтоб не лечь на блокадном погосте,

уезжали вы —
кожа да кости —
и попали под бомбу на льду.
Непроглядна в путину вода,
не проснуться погодкам милым,
их заносит озерным илом
на года,
на века,
навсегда.

* * *

Без березы не мыслю России,—
так светла по-славянски она,
что, быть может, в столетья иные
от березы — вся Русь рождена.

Под березами пели, женили,
выбирали коней на торгах;

* * *

Время от времени нужно
душу свою очищать
так, как чердак иль подполье
мы очищаем от хлама:
выкинуть ветошь страстей,
медную рухлядь гордыни
и себялюбья зеркало

дорогих матерей хоронили
так, чтоб были березы в ногах.

Потому, знать, березы весной
человеческой жизнью живут:
то смеются зеленой листвою,
то сережками слезы прольют.

в трещинках паутинных,
и неводержанности
позеленевший сосуд...
В чистой и ясной душе
вдруг я услышу, смятенный,
как зажужжала пчела,
мед собирая...

В воспоминаниях современников

Татьяна Глушкова

О СЕЛЬВИНСКОМ

Не оговориться ли сразу? Как ни кратки сейчас мои записи о поэте, следует подчеркнуть: я младше Сельвинского ровно на 30 лет, и потому традиционная, тургеневско-русская проблема «отцов и детей» вырастает невольно здесь в полный рост, и было бы дурно, ложно, в конечном итоге и неуважительно к поэту подменять эту живую проблему благолепной и низменной патриархальностью...

Я впервые увидела Сельвинского в тот знойный майский день, когда хоронили Пастернака. На утро этого дня было назначено первое в мою бытность занятие поэтического семинара, которым руководил Илья Львович в Литературном институте. Это занятие, как, впрочем, и все другие в последующие пять лет, по причине болезни Ильи Львовича проходило в Переделькине, на веранде его дачи. Знаменательность случайного совпадения — дня прощания, дня встречи — была осознана мною поздней. А подмосковному солнечному утру, горячей дороге под соснами и моей взволнованности в этот яркий и траурный, робко-ученический день предшествовала — почти год тому — телеграмма от Ильи Львовича: «Прошу просить зачисления мой семинар». Она означала, что Сельвинский не хотел дес-

потически вербовать к себе новых студентов, которые заинтересовали его на творческом конкурсе.

В те годы Сельвинский был еще вполне легендарен. Но я знала его творчество самым странно разрозненным образом, и очень скоро выяснилось, что он, автор, огорчен, удивлен моим вкусом. Я и впрямь склонна была бормотать, повторять про себя не самые прославленные, популярные его вещи, а то, что упрямо запомнилось мне в очень давней какой-то книжке:

Мне не спится от маеты.
Ронится окно шоколадное.
Все мне чудится — это ты,
Золотая моя, ненаглядная...

Мне известен был, впрочем, и «Севастополь», и «Охота на тигра», и блистательная, словно бы толком не ведающая о трагизме своем «Охота на нерпу», но в памяти то и дело всплывала «какая-то чепуха» (как говорил Илья Львович):

Надо подумать о грустном...
Некогда гиббли обры...

Это — чуть ли не гимназические его стихи.
А если меня спрашивали об эпосе, об исторических

драмах Сельвинского, я, поверх читанных и не читанных мною монологов из них, все равно ответить могла «пятистепенной» какой-нибудь репликой — вроде важно интонированного «сезонного» суждения старшего русского создателя:

...Об эту пору

На турку не идут. Идут на немца.

(«Орла на плече носящий»)

Все это — юношеское мое «легкомыслие» (вполне ответственное между тем, ибо юношеские вкусы — серьезны) — не раз потом давало повод Илье Львовичу сетовать на «совершенно не желающую читать меня ученицу». («Это впервые в моей педагогической практике!» — восклицал он.)

А в то майское утро нетрудно было подумать «о грустном».

И помню, что на дощатом мостке, перед кругом, всхолмленным или весенним полушарием впервые открывшейся мне переделкинской поляны, я, чтоб настроить свое внимание к предстоящей встрече, вспомнила все же опять что-то «не то» или «не совсем то» из Сельвинского — что, кажется, и не переиздавалось им очень давно:

Ничего не случилось, пожалуй,

Просто шла кавалерия вниз...

Эти строки и теперь волнуют меня — своей совершенно призрачной, потому что совершенно поэтической «ясностью»...

Было бы трудно коротко рассказать, как прошло занятие. Потому что в тот день было, как минимум, две — всякую секунду — действительности. В одной — обаяние радушно встретившего своих новичков Ильи Львовича, а другая — не отступала и, кажется даже, только все ширилась, чем ближе был полдень и первые, пыльные послеполуденные часы... Та, другая, гудела в соснах, лилась мелодиями Шопена над молодым картофельным огородом, перехлестывалась через калитки и заборы, ею дышали цветы, листья, трава, вечно свежая кладбищенская земля и синева, исчерченная снеговыми письменами невидимых самолетов. В той действительности не было даже поэзии: одна только музыка, музыка, вырывающаяся из-под пальцев Рихтера, — и черная, скорбно-торжественная, но всегда и праздничная для меня фигура встреченного мною на тропинке артиста осталась в памяти едва ли не единственным вещественным признаком этой безглазной, молчаливой и музыкальной действительности.

Урок первого занятия нашего семинара состоял, в частности, в том, что о безглазой действительности мы не говорили. Илья Львович — не говорил. За порог веранды своей — не переступил. Да и все мы знали о напряженности его отношений с товарищем, когда-то названным им среди «учителей моих...».

Марк Соболев

ДРУГ МОЙ ВЕРОНИКА

Она была ошеломляюще красива! Посылая из армии стихи, получая на них весьма доброжелательные отклики за подписью «Литконсультант «Комсомольской правды» Вероника Тушнова», я и предполагать не мог, что однажды увижу ее — и ахну от восторга.

Смею теперь, за давностью лет, сказать, что на 1-м Всесоюзном совещании молодых писателей (март 1947 г.)

И вот через несколько лет, в такой же точно солнечный день, — «Куда вы направляетесь?» — спросил меня после семинара Илья Львович. «Туда», — ответила я, смутно кивнув вдаль и на холм. И объяснила: «Годовщина...»

— Я пойду, если позволите, с вами.

Несмотря на зной, и одышку, и явное нездоровье, он, попросив меня обождать, переоделся в темный, парадный, не знакомый мне прежде костюм, и мы медленно, молча пошли по дороге. Там, на холме, Илья Львович попросил нарвать цветов. Ему трудно было наклоняться. «Вон там, подальше, на меже, к полю...». Я набрала букет, где были и листья, и просто трава. (Наверное, где-то в лесу белели уже ландыши.) Мы долго сидели под соснами на могиле, и Илья Львович говорил — страстно, пылко, с выразительнейшими вибрированиями глубокого голоса, о «гениальном даровании» своего покойного товарища, о любовной лирике его, которую «можно сравнить с очень немногими вещами — например, с «Песней песней», и о своей вине перед умершим.

— Я не всегда его понимал, но всегда восхищался им, — говорил Илья Львович, словно бы вовсе забыв обычную свою горячность, взрывчатое самолюбие...

Что руководило им в этот час? Близость собственной смерти, тайно ведомая ему?.. Усталость от моего (как говорил он) «неумолимого осуждения» («Девочка! Что понимаете вы?!») — клокотал он, бывало, даже когда я и просто молчала?.. Но думаю, дело тут не в случайном стечении обстоятельств или настроении. Думаю, дело в том, что поэту, в той мере, в какой он поэт, слышен, рано или поздно неизбежно слышен бывает зов и ст и н ы. Его называют также и совестью. Но поскольку откликаются на такой зов, как мне приходилось замечать и в дальнейшем, прежде всего именно поэт, я имею его голосом истины.

Мы расстались на том же мостике через Сетунь, и я, оглянувшись, увидела, как медленно, грузно, по солнцепеку, один, удаляется Илья Львович.

Тишина... Ничего, кроме солнца, яркой листвы, синевы.

Мы встречались и позже, и он часто писал мне, вырисовывая свои удивительные «а», точь-в-точь как размашистую альфу.

И знал ли он, одареннейший педагог, что, быть может, лучшим его уроком в последние годы (по крайней мере для меня) были те неожиданные, внеурочные полтора часа — восхищения, бескорыстия, скорби?..

Помимо меня, были тому лишь бессловесные свидетели: пустая дорога, звенящая в полдень трава, высоко и легко шелестящая хвоя... Потому я и решила рассказать именно об этом.

мы чуть ли не поголовно были в нее влюблены. «Зверя ценного, пушного, покорила В. Тушнова» — вроде бы пошутили я; при всем юморе, тут была крупная доля правды.

А она нас воспринимала, в общем-то, на равных. Дело в том, что Вероника была удивительным другом. Не то чтоб «свой парень» — для этого она была слыш-

ком женщиной, — а какой-то надежнейший человек. Бывшая фронтовая медсестричка; вспомним полузабытый термин: сестра милосердия. Иногда, снисходя к нам или к вам, она могла произнести добрую неправду, но категорически не была способна на ложь. Конечно, она знала себе цену не только как поэту, но за много лет дружбы, от первой встречи до последней — уже навсегда — разлуки, я ни разу не ощутил в ее манере держаться не только превосходства, но и просто деликатности.

Мне очень трудно писать о ней. Уход ее — главная моя потеря в жизни, если не говорить о Михаиле Аркадьевиче Светлове...

Надо ли сейчас уточнять, каким она была поэтом? В глухом райцентре Читинской области у директора школы я увидел специальную полку с ее книгами и над ней портрет Вероники; мне сказали — «Это наша любовь». В городе Ханты-Мансийске ко мне подошли две женщины: «Правда ли, что вы знали Веронику Тушнову? Расскажите о ней!» В Казанском литмузее существует ее мемориальная комната (Вероника родилась и провела юность в Казани). Примеры могу продолжить.

В чем же суть того, что она стала (без особых — точнее, почти без всяких восхвалений критики) так любима и читаема?

Вероника почти все свои стихи, за немногими исключениями, написала «про это». По книжной терминологии — «любовная лирика». Если бы там речь шла о всяческих тревожностях двух любовников, вряд ли ее поэзия выдержала бы испытание временем. Нет, речь шла о том, что такое счастье. Давай все на двоих! Беда так беда, непогода так непогода, ликование так ликование! Но уж будь тогда добр делиться, как в таежном походе: чтобы никаких преимуществ ни мне, ни тебе! Впрочем, я-то, в крайнем случае, утаю последний свой сухарь, чтобы ты, ослабев, имел чем подкрепить силы. Последнее никогда не говорилось открыто — Вероника была более чем деликатна, но она всегда подозревала в себе больший запас мужества, чем у ее лирического героя.

Так оно и было.

Поймите меня правильно: я говорю не о житейских ситуациях, а о позиции поэта.

Эта позиция сказывалась во всем. Скажем, когда однажды (давненько дело было!) с трибуны загремели зубодробительные тексты по адресу многих ее ровесников. Вдруг в виде исключения, оратор вроде бы шаркнул ножкой: «Пусть извинит меня Вероника Михайловна,

но и она...» Я не успел придержать Веронику за платье; она вскочила и с великим достоинством по-королевски объявила на весь зал — «Я была бы оскорблена, если б меня не было в этом списке!».

Память — штука коварная; она подсовывает легкомысленные воспоминания. Но как же забыть то приемное заседание бюро секции поэтов, когда Вероника, «зарубила» одного стихотворца, работавшего в издательстве и с палаческой лихостью гробящего своих товарищей по поколению. «Вот его моральный облик!» — подытожила Вероника. «Вы, вероятно, не понимаете, что означает понятие «моральный облик», — поправил ее председательствующий. И тут Вероника взъярилась: «Нет, это — моральный облик поэта, а не то, сколько рюмок выпил он перед обедом!»

Я хочу рассказать вам один эпизод. Может быть, рискованно и рановато его рассказывать, но главных героев нет уже в живых, а я тоже не бессмертен.

Вероника умирала — и почти знала об этом. Лечащий ее профессор сказал: «Я тебя выцарапаю!» Не знаю, верила ли она в это полностью, но капля надежды оставалась.

Я, придя к ней в палату, пытался ее развеселить. Она взмолилась: не надо! Ей давали злые антибиотики, стягивающие губы, ей было больно улыбаться.

Выглядела она предельно худо. Неузнаваемо.

А потом пришел — Он. Вероника скомандовала нам отвернуться к стене, пока она оденется. Вскоре тихонько окликнула: «Мальчики...»

Я обернулся — и обомлел. Перед нами стояла — красавица! Не побоюсь этого слова, ибо сказано точно. Улыбающаяся, с пылающими щеками, никаких хворей веками не знавшая молодая красавица.

Как она хохотала, как была оживлена, как вдруг все вернулось на двадцать лет назад! Мои слова слишком бедны, чтоб передать все это так, как было. И тут я с особой силой ощутил, что все, написанное ею, — правда. Абсолютная и неопровержимая правда. Это не выдумка поэта, а то, что обеспечено золотым — и горьким — запасом жизни. Наверное, именно это называется поэзией, а не наши порой упражнения в сопряжении художественно организованных и зарифмованных строк.

Мы, друзья ее по фронтовому поколению, иногда звали Веронику Тушнову не знаю кем придуманным ласкательно-кондитерским прозвищем: «Вареничка». Она была очень славным человеком — она на него, с просверком смешинки в темно-карих, почти черных глазах, охотно отзывалась...

Юрий Паркаев

ЗВЕНЬЯ СВЯЗИ

Помню давнее: вечер, тени,
звон кузнечиков над Окой,
я в телеге на знойном сене
еду с бабушкой за мукой.

Дряхлый конь семенит убого,
тропки путаются во ржи...
Едем долго.

Но вот дорога
поворачивает в Кряжи.

Вот и мельница.
И покуда
бабка скрыта в мучной пыли,
я тревожно смотрю на чудо,
в небо рвущееся с земли.

В деревянном ее обличье,
в ветровом шевеленье крыл
нечто грозное,
нечто птичье
с удивлением я открыл.

...С той поры прошли, пролетели,
в вечность канули навсегда
и цветения, и метели,
и дороги, и города.
Замела, завертела круто
жизнь,
ее суета и гам.
И лишь мельница почему-то
снилась изредка по ночам.

Я, как только из отчей дали
повстречаю вдруг земляка,
непреренно спрошу:
— Цела ли?
— Да цела, — говорят, — пока.
Почитай что во всей округе
и осталась одна цела...
Правда, время, дожди да вьюги
изломали ее крыла,
бревна выела гниль да плесень,

* * *

Июнь сорок первого года.
Заря пеленает сады.
Под куполом синего свода
девчонка сидит у воды.

В березовой роще кукушка
колдует, укрывшись в листву...
— Скажи мне, лесная подружка,
а сколько я лет проживу?..

ОВРАГ

Сырь да сутемень в дремном овраге.
Там, во мху с головы и до пят,
затаились кривые коряги
и, как Змеи Горынычи, спят.
Пахнет глиной, грибами и прелью,
и, кудесник разбойных ночей,
донимает лукавой свирелью
сумасбродный бродяга ручей.

Зачинается. Только послушай!
Зачарованный, встань и замри:

жернова поросли травой,
да и скрип ее древних песен
не расслышать над головой...

Годы, годы...
За дальней далью
мною замечено лишь теперь,
что чем ближе мы к изначалью,
тем отчаянней боль потерь.

Все мучительней рвутся звенья,
все острее в ночи рябой
горький холод разъединенья,
расставанья с самим собой.

Нет, никто не придумал средства
молодые вернуть года.
Тем дороже нам память детства,
улетевшего навсегда.

Вьются лентами магистрали,
новостройки бодают высь...
— Ну, а мельница-то
цела ли?
— Да цела, — говорят, —
кажись...

Молчит непутевая птица —
лишь ветер листву шевелит.
...Течет колдовская водица,
к себе наклониться велит.

Дымит, бормоча полусонно,
заросший травой оком...
Спокойно прозрачное лоно,
но нет отражения в нем...

пень — горбатый, живой, неуклюжий,
словно леший, возник из земли.
А до сказки — всего лишь полшага:
можно даже коснуться рукой!
В осторожных сутемках оврага
дух языческий и колдовской.

Эту жуть, это странное иго
ни стрела не порушит, ни меч...
А до сказки — всего лишь полмига,
и не боязно очи обжечь.

СТИХИ О ПРОЩЕНИИ

Памяти матери

— Ах ты, господи, что ты за странная!
Ну не плачь же, ну будь посильней.
Уезжаю не в дальние страны я:
Я вернусь через несколько дней.—
Он пальто надевает поспешно.
Торопясь, чемодан достает.
У порога целует небрежно
Задрожавшие губы ее.
И — земли под ногами вращенье,
Рельсы, встречные голоса.
Позабыты до возвращенья
Провожжающие глаза.
А декабрь стоял уже рядом.
Там у гроба слова ни к чему...
С материнским прощающим взглядом
На земле оставаться ему.

Олег Чухонцев

ФЕРАПОНТОВСКИЕ ФРЕСКИ

I

Когда пришло последнее свиданье,
сказал Учитель: с вами я хотел
есть пасху прежде моего страданья,—
и вечерю подробно оглядел.
Вокруг на козьих шкурах возлежали
ученики, и свет от мошкеры
дрожал и мерк, и отсветы дрожали,
и умысел тайлся до поры.
Но не укрылось от лица господня
и тени лжи. И возмущился он:
— Воистину, один из вас сегодня
меня предаст! — Тогда со всех сторон:
— Не я ли? — стали спрашивать. Иуда
при этом тоже, затаившись, ждал.
А он сказал:— Что делаешь, Иуда,
скорее делай! — и кусок подал.
И бес вошел в Иуду, и в гордыне
Иуда принял хлеб и вышел прочь.
А он сказал:— Да сбудется отныне,
что должно сбыться! — А стояла ночь.
Такая ночь зловещая стояла,

что зренье слепо, и душа его —
одна — тоской великой тосковала
от страшного сознания своего...
И медленно, пока душа решалась
на подвиг свой и жажда губы жгла,
он чашу взял — и кровь с вином смешалась —
и дал от поминального стола...

II

...и почему-то вижу я
не темный двор, где сгорбленные тени
теснящихся приспешников и слуг
глядят в костер, не в одеревененье
в огонь протянутые кисти рук,
не птичий крик, не всматриванье чье-то:
— И ты был с Ним! — не клятвенный отказ,
не даже плач, покуда за ворота
он выходил, не подымая глаз,—
не это, нет, но в глубине провалов,
в глазницах, где набрякли небеса,
я вижу только два белка кровавых
и дыбом вниз подъятые власа.

БАЛЛАДА

Одни шатильони ушли, а другие уснули —
хевсуры легли каменеть в каменистую пашню,—
лишь тень Батареки, бессмертного Чинчараули,
в селенье спускается с гор и скрывается в башню.

Террасы и башни под снегом — все пусто и прочно,
и времени вольного некуда деть привиденьям.
В покинутый дом поднимается он еженощно,
влекомый все той же надеждой, измученный бдением.

И так же, как некогда было и будет вовеки —
пока он восходит и медлит, считая ступени,
считает шаги незабвенная дочь Батареки:
стихает, но тихое не прерывается пенье.

Шаги поднимаются — это мотив ожидания.
Тринадцатилетнюю Мзию ничто не заботит:
прекрасные звуки на свете все знают заранее...
Отец мой восходит, отец — мое солнце — восходит...

Не пил Батареки в ту осень, охотился худо
и кровною местию сердца тоску не утешил.
А дочка поет как всегда — непонятное чудо!
Как будто услышал впервые — вошел и опешил.

Уступы родного селенья, небес очертанья,
туманные зимние линии угля и мела
таинственно преображаются в нежной гортани.
Дышала — и пела, молчала и слушала — пела...

Зачем ты поешь? О родное дитя, совершенство!
Не это ли, Господи, воля твоя в человеке?
Он вынесет муки — но он не выносит блаженства.
Не вынес блаженства суровый хевсур Батареки.

Рука поднялась и ударила... Все это было.
А вечером легкое тело он вынул из петли
и сгинул в горах — но его не держала могила,
и тень на снегу появлялась, темнея и медля.

Светает, светает — и он покидает Шатили,
и смотрит, и смотрит — и светится что-то в проеме —
стоит замирая — и кажется — слышится — или
и вправду селенье покинули все шатильони?

Ольга Протопопова
1902—1938

Наши
публикации

Ольга Протопопова была мечтательницей, прекрасно рисовала, писала стихи, вела практические занятия по ритмопластике, знала и любила математику. В конце своей короткой жизни она пришла к идее искусства синтетического, вобравшего в себя элементы музыки, балета, поэзии, живописи, точных наук. Большая теоретическая работа на эту тему должна была называться «Моторика и характер».

В поэзии Ольги Протопоповой стихия чувств, красок и одновременно зрелое знание жизни и ее законов. Мечта о гармонически прекрасном человеке находит поэтическое воплощение в ее творчестве.

М. Кралин

ИЗ ЦИКЛА «ОГНЕННЫЙ БЕГ»

I

В озерах зарного разлива
Вмиг испарился красный сплав:
Взметнув пылающие гривы,
Рванулись рыжие, заржав.

Блеснула в небе колесница,
Бросая в звонах сноп огней,
Уверенный напруг Возница
Поводья бешеных коней.

Владыка буйного пожара
Рукой державной правит круг,
Разбрызгивая искры жара,
Сверкая радугами дуг.

Сжигай расплавленную лавой!
Титанов тьмы повергни в прах!
Не смолкнет пламенная слава
Тебе, ликующий в веках!

[1925—1926]

II

Где заливают золотой
Слепительный поток,
Прозрачный льется и густой
Из чаши синий сок.

Глубоко дышит полнота.
У моря, в жгучий час,
Божественная нагота
Не отвращает глаз.

Горел полдневный небосклон,
И звонко пела кровь,
Мне огнеликий Аполлон
Дарил свою любовь.

Лучистой облило волной,
Огонь насквозь проник,
Когда склонился надо мной
Его палящий лик.

Но поцелуи не сожгли:
На кожу, дивный дар,
Чуть опаленные легли
Следы, сплетя загар.

Моя упала голова
К ногам Владыки ниц.
И, грома лирные, — слова —
Прорвали круг зарниц:

«Не для забавы горний свод
Покинул я, твой бог:
Призыв к служенью мой приход.
Но путь суров и строг.

Отныне над тобой всегда
Моя простерта власть:
Из сердца должно без следа
Земную выжечь страсть.

И буду подвергать огню
Тебя в плавильне дней,
Пока на осень не склоню
Сверкающих коней».

И диски ярых янтарей
Стремительно взвились.
«Хвала тебе, Гиперборей!»—
Я возгласила ввысь.

Впиваясь в купол голубой,
Тонул в просторах взор.

Гудели камни, пел прибой,
Вскрывались недра гор.

Укачивало море слух,
Земля справляла пир.
И обступал меня вокруг
Преображенный мир.

[1925—1926]

ИЗ ЦИКЛА «ИСТОКИ»

Расплясалась баба пурга
на пустынном степном приволье,
вороша крутые снега
в белом бескрайнем поле,
голосила в туманной мгле,
перекатывалась от злобы
закрутнями по земле,
навертывая сугробы.
Обуял ее снежный хмель.
Исступленно кружась в испуге,
причитывала метель
над безумиями подруги,
унимая пурговый бред,
раскидалась хлопьями снега,
заметая глубокий след
рыскающего печенега.
Но усиливала пляс

запевуха грубного хора,
над полями, свистя, неслась
до границ угрюмого бора,
озлобленно бросалась в бой,
кольхая старые дубы,
заводила унылый вой,
ударяла в крепкие срубы...
Из копченых низких окон
не слышал никто завыванья:
был глубок и покоен сон,
раздавалось мерно дыханье.
Недоступно буйной пурге
трепетала дымная сетка,
и мерцал огонь в очаге
в честь умершего предка

1928

Публикация М. Кралина

Татьяна Бек

* * *

На маленькой кухне четыре грядущих поэта
Вокруг сковородки и темно-зеленый бутылки
Стихи о печали кричали, тянули, бубнили...
А было за окнами — светло-зеленое лето.
Четыре поэта — четыре полета гордыни,
Которая верит: — Я лучшее соло сыграю
На старославянском, на полублатном,
на латыни... —
О, я — без иронии! Я же четвертая с краю.
...Далекая эта примета: тайком сигарета.
Мои баскетбольные плечи — в ахматовской
шали.
Я звонко читаю стихи о «вселенской печали».
...Но в форточку с улицы льется — счастливое
лето!

В воспоминаниях современников

Марк Лисянский

ВСТРЕЧА НА ВОЙНЕ

Перебирая фронтовые газеты, я случайно наткнулся на клочок бумаги, судя по неровным краям, спешно оторванный, на котором прочитал: «Дорогой Маркуша! Срочно выехал к себе. Крепко тебя целую, обнимаю. Твой Алеха. Мой адрес: п. п. 11709-к. А. Недогонов. Ну, все! Жаль не простились. 9/IX-43».

Записка со следами помидорных пятен лежала в газете «Советский воин». Я читал и перечитывал и снова читал уцелевший клочок газетной бумаги, такой дорогой для меня. Дело не только в том, что это единственные строки, написанные рукой моего друга и адресованные мне, а еще и в том, что в короткой, спешной записке — живая, нежная душа и характер Алексея Недогонова.

Мы встретились на войне (впервые и единожды) в начале сентября 1943 года на Третьем Украинском фронте в деревне Сватово, недалеко от Старобельска, только что освобожденного нашими войсками.

Редакция армейской газеты «Боевой товарищ» послала меня во фронтовую газету «Советский воин» на пятидневные сборы.

На попутных машинах добрался я до Сватова. Быстро отыскав редакцию, я вошел во двор дома, занятого «Советским воином», и увидел группу офицеров. Один из них, широко распахнув руки, сделал несколько шагов мне навстречу.

Это был Алексей Недогонов. Он тоже только-только приехал из своей армейской газеты на сборы. Стройный, подтянутый, красивый, он казался повзрослевшим. Может быть, из-за висков, которые уже засеребрились.

В офицерской форме, ладно сидевшей на нем, он еще больше стал походить на Лермонтова. О сходстве с ним Алексеем частенько говорили друзья, и он, по-видимому, этим втайне гордился. Его глаза под черными полосками бровей и сейчас лукаво светились, но не было в них той мальчишечьей улыбки, которую я хорошо знал. Что-то новое, мужественное, серьезное появилось в них.

Он был почти в лермонтовском возрасте, ему еще не исполнилось и тридцати, а за плечами была целая нелегкая жизнь.

В то время, когда сошлись наши фронтовые пути, он не был известным на всю страну, хотя уже писал уверенно и надежно, с тем подкупающим, чисто недогоновским обаянием, которым отмечено лучшее, что он сделал в поэзии и чего не могут дать ни опыт, ни мастерство, ни образование.

Пять дней и пять ночей, которые нам выделила война, мы не расставались ни на минуту. Вспоминали друзей-товарищей, воюющих на других фронтах, вспоминали тех, кого навсегда отняла у нас война, говорили о наших фронтовых путях-дорогах, не столько о пройденных, сколько о предстоящих. Запасом читали стихи.

Поселились мы в домике пожилой женщины. Кроме нее, в двух комнатах никто не жил. Муж умер незадолго до войны, а два сына воевали.

Дорогой Маркуша!
Срочно выехал к себе. Крепко
тебя целую, обнимаю. Твой
мой адрес Алеха
П.П. 11709-к А. Недогонов
9/IX-43 Ну, все! Жаль не простились...

Мы вошли в отведенную нам комнату и увидели посреди стола миску с красными, круглыми, тугими, без единой вмятины и морщинки, солеными помидорами. Хозяйка предложила нам отведать помидоры собственного посола. Мы взяли по помидорине и, чуть надкусив, с наслаждением выжили ароматную, слегка солоноватую влажную мякоть.

Алексей ахнул от удовольствия и тут же стал спрашивать хозяйку дома о ее сынах. Они были нашими одноклассниками, воевали на разных фронтах. Помню, одного из них звали тоже Алексеем. Она показала фотографии сыновей, давние письма, стала снова угощать своими изумительными помидорами и вдруг заплакала: — Я будто сыночков своих угощаю...

Алексей обнял ее за плечи. И так они, опустившись на лавку, безмолвно сидели несколько минут. Ей, наверно, думалось, что она сидит со своим сыном Алексеем, а мне показалось, что это Алексей Недогонов сидит в обнимку со своей матерью.

В первый же день нашей встречи я написал стихотворение и прочел Недогонову:

Так давно повелось на свете,
Что, солдатскому долгу верны,
На войну уезжают дети —
Приезжают мужчины с войны.
Может, это мне показалось
Иль впрямь от неожиданных вьюг
Все, к чему война прикасалась,
Побелело вокруг.
Я невольно смотрю с уважением,
Даже с завистью, на виски,
Опаленные вихрем сраженья,
Белым пламенем первой пурги.
И в ответ мне глядят родные,
Те, которых забыть нельзя,
Чуть жестокие, озорные,
Повидавшие смерть глаза.

Алексей застенчиво улыбнулся и сказал: «Посвяти его мне...» — «Так оно тебе и посвящено», — ответил я и показал страничку тетрадки, где над стихотворением стояло посвящение.

Потом Алексей читал свои стихи, читал, покачиваясь в такт ритму, слегка нараспев, предельно просто:

Прошедшее — в далекой дымке.

Оно глядит, как свет из мглы.

Я помню домик каранки

за Симеизом у скалы.

Он жил отдельным государством,

где диктатурой — тишина.

Тот домик был ковровым царством,

а в нем царственно она...

Это было стихотворение «Ковры», опубликованное после гибели поэта. Жаль, что вторая строфа, здесь воспроизведенная, нужная в стихотворении и точно написанная, случайно опущена во всех изданиях.

Мы не замечали времени. Ложились далеко за полночь, вставали рано: надо было успеть позавтракать, а в восемь ноль-ноль, как говорят военные, начинались замятия. Мы слушали лекции, обменивались опытом армейских газет в наступлении, а опыт, нелегко добытый за два с лишним года войны, был у каждого из нас.

После занятий шли домой, где посреди стола нас неизменно поджидала миска с помидорами. И снова читали стихи, и снова делились пережитым. Мы с Недогоновым начинали Великую Отечественную в дивизионных газетах, в очень трудное время, на самом краю войны, который и называется передним краем.

Нам было что рассказать друг другу.

Не прошло и пяти лет с той нашей единственной встречи на войне, как не стало Алексея Недогонова. Уцелел на двух войнах, он погиб мартовским вечером, в трамвайной катастрофе, на московской улице, когда ему едва исполнилось тридцать четыре года. В руках у него была верстка его первой книги, которую он успел прочитать и даже подписать свою поставить. Через несколько месяцев вышла книга «Простые люди», и в том же 1948 году он получил Государственную премию первой степени за напечатанную в журнале «Новый мир» поэму «Флаг над сельсоветом».

Он остался в моей памяти живым, красивым, двадцатидевятилетним, чернобровым, с посеребренными висками, легко шагающим по зеленому Сватову. Я слышу певучий голос, ощущаю крепкое рукопожатие.

А проститься тогда, в Сватове, нам не пришлось.

В последнюю ночь нашей встречи мы уснули в пятом часу утра. А через час пришел дежурный по редакции, сотрудник газеты, и разбудил Недогонова: его срочно вызывали в часть.

Алексеем было жаль будить меня. Сотрудник редакции мне рассказал: он тихо встал, оделся, стараясь не шуметь, постоял возле моей кровати, затем оторвал половинку листа, лежащего на столе, и набросал несколько прощальных слов.

Я храню эту записку с помидорными пятнами, и живет в моей душе: «Ну, все! Жаль не простились».

Леонид Ленч

РУССКАЯ ДУША

Я никогда не знал и не искал — покоя...

Сергей Васильев

Трудно писать об ушедших друзьях, пишешь, и все тебе кажется, что строки твои не выражают подлинность твоих мыслей и твоих чувств, что не хватает им глубины и теплоты!

Мне писать о Сергее Васильеве, о милым моем Сергее, Сереже, Сережке, особенно трудно. В нашей дружбе было нечто большее, чем простая дружеская приязнь двух мужчин, двух литераторов — людей в общем-то одного поколения, хотя Сергей Васильев и был моложе меня на несколько лет. Наша дружба была проникнута духом братства.

Он был русским человеком, как говорится, до мозга костей, сибиряком. Сибирь, ее суровая и прекрасная природа, ее просторы, разливы ее великих рек, «подобные морям», создает удивительные человеческие характеры. Сергей Васильев обладал именно таким характером — сплавом бережной нежности со взрывной «яростью азиата». Он был духовно прям, как былинный богатырский меч. Его любовь к своей Советской родине была для него так же органична и естественна, как явления восхода и заката солнца. Оптимист и весельчак, наделенный таким же естественным чувством юмора, он обожал «всяческую жизнь» и ненавидел, презирал и едко высмеивал «всяческую мертвечину», откуда бы она ни высывалась свое рыло — из жизни или из литературы.

Ему было присуще ощущение себя как хозяина своей страны и всей нашей жизни.

В прекрасной песне на музыку Дунаевского — «Лучами красит солнышко стальное полотно» он из самой глубины души не пропел, а воскликнул:

Эх, сколько мною пройдено,

И все вокруг — мое!..

Как всякий истинный поэт, он был самобытен в своем творчестве. «Васильевский остров в поэзии есть» — написал о нем Михаил Светлов. Но, будучи «островитянином» (такого же, впрочем, склада, как его друг Александр Прокофьев), он в своих симпатиях и антипатиях не был узким, однолюбим. Мы много говорили с ним о современной поэзии, и он, помню, не раз отдавал должное творческим поискам Андрея Вознесенского в области формы (что не мешало ему написать смешную пародию на стихи этого поэта) и эмоциональному накалу гражданских стихов Евг. Евтушенко, творчество которого он высоко ценил.

Охотник и рыболов, неистовый автомобилист и столь же неистовый любитель пешеходных лесных блужданий, он знал, понимал и чувствовал природу России как мало кто другой. Он обожал ее птиц и ее зверей и с полным правом мог повторить вслед за Есениным: «И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове».

Он был знаменитым голубеводом и голубеведом. Голубей он любил с детства и мог — только заведи! — часами говорить о их повадках. В Переделкине у него на даче жили голуби и жил кот — солидный, с большим чувством собственного достоинства тигрово-полосатый зверюга. Коты, как известно, тоже любят голубей, но с позиций кошачье-кулинарных. Васильевский кот голубей не трогал, он даже не смотрел на них, — подобно монаху-францисканцу, который не смотрит на проходящих мимо него женщин. Мне Сергей говорил, что он проводил «среди своего кота систематическую воспитательную работу» и вот, «как видишь, добился неплохих результатов!».

Звонит, бывало, зимой по телефону:

— Слушай, Ленечка, давай махнем ко мне в Переделкино часа на два, у меня там маленькое дельце, а заодно пошляемся с тобой по лесу, подышим кислородом...

— Какое же у тебя там дельце, Сережка?

— Коту своему везу пропитание на неделю. Кладу под дачу в разных местах, — он, бродяга, их наперечет знает, у нас с ним все рассчитано и проверено — свой недельный паек он получает от меня аккуратно!

Любивший дружить и умевший дружить, гостеприимный хозяин, признанный застольный остряк и запевала, Сергей Васильев был, если заглянуть в классическую нашу поэзию, сродни душой славному гусару Денису Давыдову.

Никогда не забудет родина поэта, написавшего с такой высокой и звонкой страстью стихи о ее черемуховых буранах и червонных листопадах, не забудет его военных стихов, полных нежной любви к своему народу и лютой ненависти к его врагам, его поэм, запечатлевших по-своему, по-васильевски дыхание времени, его блистательных эпиграмм и пародий, его отличных переводов с азербайджанского и других национальных советских языков.

Сергей Васильев в своей работе над стихом был настоящим мастером. Иногда мучительно и долго искал он то самое заветное слово, которое, будучи найдено, самоцветным огнем озаряет изнутри все стихотворение. В стихах из курганского цикла «Мой брат кузнец Жора», он, на мой взгляд, точно, просто и вдохновенно сказал о поисках этого самоцвета:

Вот бы мне такое слово

Огневого образца,

Чтоб ложилось как подкова

На копыто жеребца!..

Последний год жизни был для Сергея Васильева годом большой удачи и большой радости. Он, уже больной, успел дописать свою поэму о Кюхельбекере — значительную по теме и мастерскую по исполнению. Ее высоко оценили и любители поэзии, и друзья — поэты и критики. Как это больно, что смерть беспощадно сломала ему крылья на высоте его творческого взлета!

Михаил Савельев

ПОГАСШИЕ ПЕЧИ

Вот и затих
Именитый мартеновский цех.
В мощной усталости дремлют пролетов литые оплечья.
Это время, набрав удивительный, мудрый разбег,
Гасит сталеплавильные печи.

Так оказалось:
У них, прокаленных свирепым огнем,
Багрецом наполнявших рабочие зори,
Не угасавших ни в праздник, ни ночью, ни днем,
Тоже бывает
Час скорби и горя.

И оказалось:
Не вечно держать
В каменных душах металла кипящую лаву.
Как человеку, им надобно испытать
Подвиг при жизни,
А после — посмертную славу.

Сталь Революции!
Ты закаляла сердца!
Ложилась в мосты и простую поковку
И в рельсы того, комсомольской закваски юнца,
Что в коммуне

Наметил себе остановку.
Сколько нас втиснулось в тишь цехового двора.
Несмываемый, жесткий загар на лицах.
Лишь молчаливая рябь серебра
По обнаженным сединам струится.

Помни же вечно, великая новь:
Были они этой славы предтечей —
Гордость Заставы,
Поэтов святая любовь —
Отпыхавшие печи!

Олег Алексеев

* * *

Отцу опять тринадцать лет,
Опять сидит за партой в школе,
И ног босых проворный след
Мелькает то в бору, то в поле.
В ночное скачет на коне,
Купается в морозной речке
И на огромном валуне
Сидит под солнцем, как на печке.
Еще не знает ничего,
Про тяжкий путь, про страх и горе —

Ровесник сына моего
С грустинкой легкою во взоре.
Калиной кормит снегирей.
На свист к нему летит синица...
А глухота концлагерей
Ему и в страшном сне не снится.
Спешит тропинкой межевой,
Всегда — в игре, всегда — в движенье,
Отец мой — маленький, живой —
Хотя б в моем воображенье...

Петр Великий

ОБЕРЕГ

Подвели к вековой березе,
посмотреть велели наверх,
где просвечивал красной слезкой
древний камешек — оберег.

Где взяла ты его, береза?
Меж космических вех
журавли его, что ли, сбросили?
Расскажи, оберег!

В 41-м горела Псковщина
и стонала святая твердь,
но, поруганная и беспомощная,
не желала она умереть.

Шла на запад колонна пленная,
бабы с девками шли.
Где прошли их ноженьки белые —
там рдяные цветы взошли.

И одна из тех псковитянок
упросила конвойных зверей,
чтобы ей разрешили оставить
на березе ее оберег.

Его мама носила и бабушка,
а давным когда-то давно,
как рассказывал дед, — его батюшку
уберег на Бородино.

Забралась она, светловолосая,
на вершину, где соловьи,
оберег надела березе —
«Ты мне родину сбереги!..»

Щелкнул немец из парабеллума,
и слетела она навек,
беззащитная птаха белая...
А над ней висел оберег.

Время к горю радость примешивает.
Ты, береза, и ты, человек,
не забудем расстрелянных,
не забудем повешенных —
этот страшный наш оберег.

Постою у березы, беретик
молча скомкаю. Век наперед

не снимай, прошу, берега,
чтобы родину оберег,

пусть поют соловьи немислимо,
листопады пускай и снег,
и Россия

на дереве жизни —
красный камешек-оберег.

БРАТИСЛАВСКИЕ СВЕЧИ

Был город сквозь метель
похож на акварель,
а продавец свечей смешон и несолиден.
И вдруг увидел я простую параллель —
я женщину в свече увидел!

Я понял соответствие между свечой и женщиной,
я понял, как близки их судьбы.
По сути свечи — женщины.
А смысл женщин — свечи.
Кто против этого? Проголосуйте!

Я вспомнил, как, любимая, ты плакала в ночи
в форме свечи,
в форме свечи...

Прости, я был виновен.

Жить научи в форме свечи. Прости и промолчи.

Но помню, как впервые ты мне собой светила.
Светила, затмевая полночные светила!
Чиста и горяча стояла, как свеча,
и полыхали волосы, стекая по плечам!

Так стой передо мною, от темноты леча,
моя одушевленная свеча!

Я к пламени ладоней твоих тянусь
и, может быть, согреюсь,
а может, обожгусь...

Игорь Шкляревский

* * *

Белая ночь, и худой браконьер у костра.
Брызгая светом, в себя закрутилась кора.

Черного пепла виток побежал по траве.
Бедный скиталец, что у тебя в голове?

Думу какую ты думаешь в этой глуши?
Можно на пальцах твоих сосчитать барыши.

Только на пальцах не правой, а левой руки,
той, что зарыта в песок возле Вислы-реки.

Выпьем за речку твою, что соседних бедней.
И за упрямство отчаянных русских людей.

Выпьем за драную сетку твою, браконьер.
Может, ты самый последний уже в СССР.

Выпадет случай, в Москве у меня погости.
Сына не мучай. На стройку его отпусти.

Леонид Терехин

* * *

Обувь выбрать — экая забота
кажется сегодня для иных!..
Коридор протезного завода
полон отголосками войны.
В непогоду —
боли обостренье.
Как в бою, простреливает все.
Вынесенный из-под артобстрела,
он ортобувь на шнурке несет.

Но солдат — он никогда не ноет.
У него лицо — как в том бою,
где он потерял в воронке ноги
и оставил молодость свою.

И стоит он на протезах тверже,
чем иные на своих ногах.
И меня идти он учит строже
по земле — не топтать наугад.

Моисей Цетлин

СОЛДАТКИ

Горько стонет в Трое Андромаха
Над убитым острой медью мужем.

На забрале городском Путивля
Ярославна плачет о супруге:

«Полечу зегзицей по Дунаю,
Омочу бебрян рукав в Каяле».

Воют на Тамбовщине солдатки,
В Сталинграде, Ватерлоо, Каннах.

Воют бабы с Эбро и Ла-Платы,
С рисовых полей и латифундий.

Но, как древле с горестной Каялы,
Ждут мужей с надеждою усталой.

Ждут всю жизнь, совсем седые ныне,
Вдовы в Пскове, Курске и Берлине.

Владимир Карнеко

ОТ ИМЕНИ...

Мы лежим под снегами,
а вверху в ослепительной сини,
словно белые птицы,
плывут и плывут облака...
Вы не плачьте над нами,
голубые березы России,
вы не плачьте — вы ждите пока.

Нас, обмытых дождями
и отпетых степными ветрами,
все зовешь ты, Отчизна,
оглохших своих сыновей.
Но услышим тебя мы,
как весной затоскует над нами,
затоскует захлеб соловей.

Мы — не прах. Мы — нетленны.
Мы еще, дорогие, вернемся.
Над родимой землею
весенней грозью пройдем.
Мы подснежником первым,
мы колосом спелым пробьемся,
на ромашки росой упадем.

Мы лежим под снегами,
а вверху в ослепительной сини,
словно белые птицы,
плывут и плывут облака.
Вы не плачьте над нами,
голубые березы России,
вы не плачьте — вы ждите пока...

В МАЕ 45-го...

Был строг приговор трибунала,
и вздрогнул эсэсовец тот.
Душонка его угадала
короткую фразу: «В расход!»...

Да, понял он, что это значит,
и нас ни о чем не просил,
и только на солнечный зайчик
тоскливо глазами косил;

на солнечный зайчик, который,
скакнув через яму в земле,
на лягнувшем брызнул затворе
и затрепетал на стволе.

А май бушевал повсеместно!
И черное око ствола
казалось совсем неуместно,
и яма ненужной была.

Но синяя жилка дрожала
на лбу, что уж начал потеть...
Мне чья-то ручонка мешала,
мешала его пожалеть.

Она, та ладошка, спнела,
из снега торча на юру,
и тонко и страшно звенела
на лютом декабрьском ветру.

Был этой ладошкой проколот,
насквозь я на том рубеже,
и снежный немислимый холод
в моей поселился душе...

Бои... Переправы... Границы...
И — залпы великого дня:
— По-бе-да!.. — Но этот убийца
стоял и глядел на меня.

Вокруг ликовала природа,
сирень запышнела уже...
Но снег сорок первого года
еще не растаял в душе.

И это она повелела,
сирени сплошной вопреки,
глядеть не сквозь прорезь прицела —
сквозь пальчики детской руки!

Валентин Резник

ОТЦУ

Ни чинов, ни регалий не нажил,
И сундук не трещит от вещей,
Только годы партийного стажа —
Вот и все, что в кубышке твоей.
Ни герой положительной повести,
Ни плакатной души человек —

Жил ты все-таки очень по совести
В свой не очень-то совестный век.
И, в глаза твои чистые глядя,
Я в молчанье к тебе подхожу
И волос побелевшие пряди,
Словно знамя, к губам подношу.

Валерий Катралов

* * *

Нутро взорвалось у завода
зимой сорок третьего года.
И пламя лизало глаза.
Гудела земля и кипела,
спекалась в единое тело.
И пепел летел в небеса.

Ударной волною и звуком
с сестрою мы загнаны в угол.
Заплакала дверь на петле.
Сегодня отец не вернется.
И в небе сегодня два солнца,
и надо нам жить на земле.

Диомид Костюрин

БАЛЛАДА

Черных дней и ночей череда,
Бесконечной тревоги дорога...
Он сказал: — Она так молода,
Береги ее, сын, ради бога!

Тихий голос печален и строг —
Тридцать лет как сомкнулась могила
Он сказал: — Ты скажи ей, сынок,
Чтоб она ко мне реже ходила...

Полыхнула по окнам вода,
Эти капли стального налива.

Он сказал:
— Она так молода...—
Он сказал:
— Она так терпелива...

Ночь ревнивою болью больна —
Мне такая любовь не дана...

Обнажилась под утро земля,
В смутном небе прорезалась просинь.
Сняли шапки свои тополя,
Над кладбищем сугулится осень.

Лариса Сушкова

* * *

На ветру уживчивом не сохнет
Темное полотнище стены.
Разве иероглифами — окна
Произвольно, порознь зажжены?

Или, расточительны без меры,
Сновиденья встретились внахлест?
Очи заблудившейся химеры
Вздрогнули от хохота и слез?

И, неслышимый, укрылся всадник,
Проскакав по кровле за карниз?
Или колеей воздушной сани,
Кинув след огняный, пронеслись?..

Лишь мерцает на ночном асфальте
Чешуя недавнего дождя.
Миражи мои, не остывайте!
Все уснут немного погода.

Александр Исполюнов

* * *

Мы к женщине приходим, как к земле,
Которая нам возвращает силы.

Когда тепло я раздарю камням
И мир мою доверчивость обманет,
Когда удар собьет и ослепит —
Прильну к земле, родившей все живое.
В невидимых лучах ее тепла
Растает иней на моем лице,

Срастутся кости, заживут укусы,
Для боя вновь созреют кулаки.

Дай силы мне, любимая земля!

Теперь, когда я весь — страданья ступок,
Я — сжатой боли скрученный комок,—
Вхожу из темной и дождливой ночи...

Сейчас она откроет мне... Сейчас...

Юрий Денисов

* * *

Стою, как будто в землю врос,
к твоей, отец, склоняюсь могиле.
С тобой всю жизнь мы жили врозь,
всю жизнь мы врозь с тобою жили.
И вот сейчас стою, скорбя,
вблизи твоей простой оградки...
Так редко видел я тебя,
так наши встречи были кратки.
...Есть фото у меня твое:
на нем — твоя рука упруго,
весь день сжимавшая цевье,
навек легла на плечи друга.
Еще ты молод, но война

не за горами.
На примете
ты у нее уже: она
уменьшит жизнь твою на свете.
Еще смешлив ты, ладен весь,
еще ты счастлив на пределе,
а значит, я уж где-то есть:
смеюсь и плачу в колыбели.
...Отец, как жаль, что не пришлось
избыть разлуку нам,
но если
с тобой всю жизнь мы жили врозь,
зато всю вечность будем вместе.

Василий Казанцев

* * *

Не в глубинах заботливых леса,
Где бесшумно-уютно, тепло,—
На камнях, что тверды, как железо,
Это дерево ночи взросло.

Под сияньем холодного свода,
Что пронзающе чист и жесток...
И дала ему сердце природа —
Как горящий весенний цветок.

Вьюга пела. Метель свирепела.
Несся ветер во всю свою прыть.

* * *

От далекой дороги усталый,
Я однажды в Москве побывал.
Я Москвы — не увидел сначала...
Я увидел — огромный вокзал.

В неоглядно вознесшемся зале,
В ярком свете, похожем на мглу,
Пили, ели. И пели. И спали.
На скамьях, на тюках, на полу.

Билась радость, томилась обида.
В беглом взгляде — мелькала вина...

Столько горя оно претерпело,
Чтобы этот цветок — защитить.

А усталый ценитель захожий
Смотрит грустно, молчанье храня.
«Под такую-то толстою кожей?
Да такое пыланье огня?»

Все насмешки стерпело б чужие.
И любой неприветливый взгляд.
Но суровые камни родные
На него с недоверьем глядят

За спиной старика инвалида
Громова стояла война.

Я на площадь широкую вышел —
Долгожданного счастья глотнул.
Я сначала Москвы — не расслышал.
Но расслышал рокочущий гул.

Необъятный, глухой, разноликий.
Обдающий дыханьем густым.
Разнозначный, разноязыкий.
Над землею стоящий, как дым.

Звуки скомканно бились, срывались,
Резко дыбились. С разных сторон
Накатившись — скрестились, смешались
Вологодчина, Курщина, Дон.

Обнажив свои дали сквозные,
Все дороги свои и поля,
Вся огромная встала Россия.
Вся безмерная встала — земля.

* *

С крутого косогора
Открыт простор для взора.
И светится средь бора
Высоких сосен медь...
Все б хорошо — озера
Вдруг начали мелеть.

И я сказал в печали:
— Потоки и ключи,
Мелеть озера стали.—
Ответили ручьи:

— Слыхали вести эти.
И понимаем вас.
Но если б все на свете
Зависело от нас.

В леса пошел я, в травы,
В глухие голоса.
— Скажите мне, дубравы...—
Ответили леса:

— Слыхали вести эти.
И понимаем вас.

Молдаван, и литовцев, и сванов,
И таджиков — слились голоса.
Высь нагорий — и ширь океанов.
Раскаленные льды и леса.

И подрагивал купол тяжелый.
И, как ветер тяжелый,— гудел.
И железный — из рупора — голос
Несгибаемо твердо гремел.

Но если б все на свете
Зависело от нас.

— Печальное событие
В зеленой стороне.
О тучи, мне скажите...—
Сказали тучи мне:

— Слыхали вести эти.
И понимаем вас.
Но если б все на свете
Зависело от нас.

Не спит в груди тревога.
Горит в душе беда.
Все ввысь и ввысь дорога.
То круто, то отлого.
И так — дошел до бога.
До высшего суда.

— Ты здесь за все в ответе.
Ты высшей правды глас.
— О если б все на свете
Зависело — от нас...

III

*Душа горела. Голос пел,
В вечерний час звуча рассветом,
Я шел к блаженству. Путь блестел
Росы вечерней красным светом.*

А л е к с а н д р Б л о к

Диалоги

Алексей Марков

* * *

Отсветы, отсветы воспоминаний,
Отсветы первой — последней любви,
Отсветы беглых, мгновенных свиданий...
Ты их от сердца пойдя оторви!

Отсветы ласковых слов материнских,
Отсветы белой цветущей земли...
Все это так оглушительно близко,
А остальное — исчезло вдали...

* * *

Тени, тени, всюду тени
Дней минувших и людей
Нету прошлому забвенья
В горькой памяти моей!

Совершалось — не свершилось,
Повторяясь вновь и вновь.
Словно кара, словно милость,
Продолжается любовь...

Прикрывается работой,
Отвлеченностью идей,
И родит, и губит что-то
Ненасытностью своей.

И, сжигая поколения,
Разбивая души в кровь,
Возникает новой тенью
Жизнь, творящая любовь.

Владимир Топоров

СПЯЩЕЙ ЖЕНЩИНЕ

Мир весенний, зеленый, синий
Вобрала ты в себя одна.
В совершенстве телесных линий
Вся природа воплощена!

Кровь струится под теплой кожей,
Приливает к твоим вискам.
И во сне ты не спишь, быть может,
А причастна иным векам.

Вольно волосы разметала.
Кем ты,
Кем на земле была? —
То ли с тронов царей свергала,
То ли по полю жницей шла.

И на ласку ты отзовешься,
И дыхание — горячо.
Это счастье, когда уткнешься
Ты доверчиво мне в плечо!

Петр Кошело

ПУТЬ

Я говорил: мир зол, да мудр.
А время в никуда летело.
В очередном из наших утр
ты просыпаться не хотела.

Спала, не ведая о том,
что в серых небесах рассветных,
вселенским разумом ведом,
прослеживался путь наш бедный.

Нас время медленно влекло,
река спокойствием дышала,
и лишь плеснувшее весло
движение обозначало.

Мы были небом и землей,
мы были радостью и болью,
моей несказанной строкой,
а проще — были мы с тобой,
и это все звалось любовью.

Вослед другие, день за днем,
нас повторят в иные сроки,
и в одиночестве своем
они не будут одиноки.

Так, уплывая в тишину,
мы убывали в неизвестность,
ладонью трогая волну
и сердцем ощущая вечность.

Элег Дмитриев

МИГ ЕДИН

Я верил — ничего душа не просит,
Я полагал, что дни мои легки,
И вдруг на золотом скрещенье просек
Послышалось:
«Коснись моей руки!»
Я замер, но пустынные аллеи
Не открывали мне души живой —
Лишь только стали сумерки светлее,
Да желтый лист

Полет замедлил свой.
«Руки моей коснись...»
Но где ты, где ты?
«Я рядом здесь с тобой...»
Но где же ты?
Лишь неодушевленные предметы,
Да осени привычные приметы,
Да пустота холодной высоты...
Я руку протянул, и в то ж мгновение

Вдруг пальцами застывшими —
Сквозь мглу —
Столь ясно ощутил прикосновение
К трепещущему, легкому теплу!
Почти в испуге я отдернул руку
И снова протянул перед собой
Уже без страха,
Как навстречу другу,
Да ощутил лишь холод голубой...
И понял — повторенье невозможно.
Хоть намекни, просившая меня
В какой я век забрел неосторожно?
Сюда пришла ты из какого дня?

Зачем на миг един соприкоснулись
Два времени
И жизнь признала жизнь?
О хоть бы раз еще
Ко мне вернулись
Твои слова:
«Руки моей коснись...»
Сказать бы — померещилось, примни-
лось, —
И взяться за обычные дела.
Шепчу: «Приди еще! Яви мне милость,
Кто б ни была ты!
Где б ты ни была!»

Валентина Творогова

* * *

Стали тяжелыми ветки рябин,
Долгим дождем потянуло из сада.
Ты же меня никогда не любил! —
Что тебе надо? Что тебе надо?
Так получалось — сводила судьба,
Но уходили — ни слова, ни взгляда!
Ну, пожалей — не меня, так себя:
Что тебе надо? Что тебе надо?
Как я любила! Но лучше — молчи.
Мне от тебя и беда как награда...
Чертим круги, словно птицы в ночи:
Что тебе надо?
Что тебе надо?

Вадим Рабинович

* * *

Униженно прошу твоей руки.
Так у реки склонившаяся ива,
Чтоб отразиться в зеркале реки,
Упала на колени у обрыва.
Как у обрыва — жду и не дождусь.
Вниз головой. Во глубину. С откоса.
В твои колени жаркие уткнусь
Выпрашивать согласие. Безголосо
Заглядывать, очнувшись, в тьму очей,
Твоих ночей... Но нету отраженья.
Ты не моя. И я не твой. Ничей.
Уж не лицо, а лик без выраженья.

Немое равнодушие луны,
Одетой в легкомысленную тучку.
И волосы огнисты и черны.
Как камни тяжелы. Как дым летучи.
Как черный камень. Как речной гольш,
Отполирован ветром и волною.
Недвижна и безмолвна ты стоишь
Бесстрастная. И я перед тобою
Прошу униженно твоей руки.
На безымянном пальце в маникюре
Блестит кольцо, как медь, на дне реки,
Тускнеющее в утренней лазури.

* * *

А. Б.

Мне снилось — с тобой мы теперь старики,
Вдвоем мы сидим за столом.
Но я узнаю очертанья руки,
И голос, и дождь за окном.

Ты строго спросил меня: «Как ты жила?
Любовь пронесла сквозь года?»
А в голосе тайная нежность была.
Я тихо ответила: «Да».

«Теперь уже скоро! Ты больше не плачь,
Мы помним, мы любим и ждем!»
Качался за черным окном карагач
Под черным осенним дождем.

Проснулась я... Комната лодкой плыла,
Был ветер на сто голосов,
И капли стекали по глади стекла,
А я не считала часов.

Рюрик Изнев

ПАДЕНИЕ ЛЮБВИ

Даже буквам в клетчатой тетради
Тесно, тесно до мозга костей,
Что ж сказать о диком маскараде
Жизнью необузданных страстей.

Ведь корсар не знал о телеграфе,
Точно воду, проливая кровь,
А теперь, чтоб не нарушить график,
Кто не сбросит с плеч своих любовь.

Деловод не может быть корсаром,
Для него святыня — «ундервуд».
И не пронесется страсть пожаром,
Потому что страсть грехом зовут.

Вместе с призраком средневековым
Страсть ушла к прадедовским гробам.
Не кощунство ль называть любовью
Краску губ, прилипшую к губам.

Рождены без страстного порыва,
Размножаясь точно муравьи,
Люди все же с грустью молчаливой,
Как сквозь сон, тоскуют по любви.

Но не той, что скроена, как платье,
Но не той, что взвешена, как куль,
По стихийно сорванным объятьям,
Что сулят не горькую тоску.

Не тоску по траурному морю,
По едва раскрывшимся цветам,
По блаженству сказочного горя,
По библейским вымыслам-китам.

И уходит от дворцов и хижин,
Полуанемичных площадей
Страсть, все ниже опускаясь, ниже,
До сердец отверженных людей.

Здесь она нашла себе раздолье,
Здесь она нашла приют себе.
Вместо песни — воет волком в поле,
Завывает с бурями в трубе.

И бредет пустыней вне закона,
Позабыв, что значит слово — дом,
Осеня падших и влюбленных
Ярче звезд сверкающим клеймом.

СВИДАНЬЕ

Песня черного дрозда —
первый похвист, ветер, шорох.
Смолкла песня. И звезда
взорвалась, как дымный порох.
То игра безгласных туч —
отошли, оглохли громы.
Но по-прежнему могуч
дух грозы, тревоги, дремы.

Острова больного сна,
болевого ухаб, паденье.
Но из омота, со дна
подниматься — наслажденье!
Слышишь? Я с тобою всласть
вижусь, знаюсь. И на свете
существует разве власть
запретить свиданья эти?

В воспоминаниях
современников

Сергей Поделков

ДАЛЕКИЙ ДЕНЬ

Когда я слышу имя — Павел Васильев, мне вспоминается горячий июньский день 1932 года, зеленая Москва в солнечном чаду и обширная комната редакции «Земля советская». Она находилась в Большом Черкасском переулке, в здании ГИХЛ, на шестом этаже.

Я открываю дверь — и замечаю в передних углах за столами двух сотрудников и секретаря журнала Даниила Романенко. У простенка, между распахнутыми окнами, на столе главного редактора И. Касаткина сидит, свесив ноги, курчавый остроскулый парень. Мы незнакомы, хотя на литературных вечерах не раз мельком взглядывали друг на друга. Завидев меня, он соскакивает на пол и мгновенно оказывается рядом, порывисто протягивает руку.

— Поэт Павел Васильев! — громко и серьезно отчеканивает он. Я называю себя и пожимаю его сухую, жестковатую руку.

— Да, я знаю тебя, ты мне нравишься, — несколько покровительственно говорит он и дружелюбно обнимает меня за плечи, — садись, мы тут о поэзии рассуждаем.

Васильев метнул на меня улыбающийся блестящий взгляд. Он высказывался с непринужденной уверенностью:

— Поэзия на чем держится? Любую идею, как жену, нагишом на улице не выпустишь. Одевать ее надо ладом, в образную ткань да в пуховые слова.

Васильев повернулся ко мне, сидевшему справа от касаткинского стола:

— А судра — это буря, что ли?

— Буря, метель, вихревая поэмка, — объяснил ему я.

— Не слышал этого слова. Редкость в языке. Данила, — объяснил он Романенко, — у Сергея есть стихотворение «Судра». Лучшее из того, что он читает... Судра! Судра!

— Судра! — повторил Романенко. — Звучит. В каком говоре добыл?

— В нашем доме старуха живет. Уроженка Пинеги. Зимой, как заметит, она охает: «Пояснику ломит, никак судра зачтется». Говор бабки.

Так близко, вплотную Павла Васильева я видел впервые. Мы обменивались мнениями о творчестве совершенно разных поэтов, дореволюционных и современных. Он особенно восторгался Языковым и Есениным, читал отдельные стихотворения наизусть. В эти минуты его узкие, чуть зеленоватые глаза широко раздвигались и поблескивали, а тонкие ноздри еле заметно вздрагивали. Суждения Васильева были свежи, необычны, богаты мыслью и исподволь настойчивы. Уверенность чувствовалась в каждой определяющей фразе. Нечего греха таить, характеристики поэтическим явлениям давались нами решительно, без оглядки. Васильев остроумно их припечатывал, как «тавро» на некоторые «ведущие» в то время имена. Мы были очень молоды: ему шел двадцать второй, мне — двадцатый год.

Впрочем, резкость, пожалуй, была не столько от нашей молодости, сколько от тогдашней полемической обстановки. И именно она, эта обстановка, во многом определяла нашу остроактивность и ригоризм высказываний.

...Под конец, перед тем, как разойтись, все стали просить Васильева прочесть что-нибудь новое.

— Могу... — вкрадчиво сказал он, хитро поглядывая то на одного, то на другого, и прочитал стихотворение «Любовь на кунцевской даче».

Позже с Васильевым было много встреч и разговоров — веселых и грустных, восторженных и угрюмых, — преимущественно не в застолье, а на творческих собеседованиях, в писательском клубе, на поэтических вечерах и даже в Литинституте, куда он иногда заходил поглядеть со мной и оставался слушать лекции, но эта прорезается в памяти всегда первой, солнечной, искрящейся до удивления.

Павел Васильев
1910–1937

Наши
публикации

ЛЮБОВЬ НА КУНЦЕВСКОЙ ДАЧЕ

Сначала поезда как бы во сне
Катились, отдаваясь длинным, гулким —
Стоверстным эхом.

О свиданье, дне,—
Заранее известно было мне,
Мы совершали дачные прогулки,
Едва догадываясь о весне.
Весна же просто нежилась пока
В твоих глазах.

В твоих глазах зеленых
Мелькали ветви, небо, облака —
Мы ехали в трясущихся вагонах.
Так мир перемещался на оси
Своей, согласно общему движенью,
У всех перед глазами.

Колеси,
Кровь бешеная, бей же без стеснения
В ладони нам, в сухой фанер виска.
Не трогая ничем, не замечая
Раздумья, милицейского свистка,—
Твой скрытый бег, как целый мир, случаен...
И разговор случаен... И к ответу
Притянут в нем весь круг твоих забот,
И этот день, и пара рваных бот,
И даже я — все это канет в Лету.

Так я смеюсь. И вот уж наконец
Разлучены мы с целым страшным веком —
Тому свидетель ноющий слепец
С горошиной под заведенным веком.
Ведь он хитрил всегда. И даже здесь,
В моих стихах. Морщинистым и старым
Он два столетья шлялся по базарам —
И руку протянул нам...

— Инга, есть
Немного мелочи. Отдай ему ее.—
Ведь я тебя приобрел без сдачи.
Клянусь я всем, что видит он с моё...

И тормоза... И кунцевские дачи.
Вот отступление: ясно вижу я,
Пока весна, пока земля потела,

Ты счастье двух мелких буржуа,
Республика, ей-богу, проглядела.
И мудрено, что вижу я сквозь дым
Теперь одни лишь возгласы и лица.
Республика, ты разрешила им
Сплетать ладони, плакать и плодиться.
Ты радоваться разрешила. Ах,
А если нет? Подумаешь — обида!
Мы погрешим, покудова монах
Еще нам индульгенции не выдал.

Но ты... не понимаешь слов, ты вся,
До перышка, падений жаждешь снова
И, глазом недоверчиво кося,
С себя старье снимаешь и обновы.
Но комнатка. Но комнатка! Сам бог
Ее, наверно, вымерял аршином —
Она, как я к тебе привыкнуть смог,
Привыкла к поздравленьям матерщинным.
Се вызов совершенству всех Европ —
Наполовину в тишину влюбленный,
Наполовину негодующий... А клоп
Застынувший — как поп перед иконой!
А зеркальце разбитое — звездой.
А фартучек, который не дошла...
А вся сама ты изучаешь зной...

Лебяжьей шеей выгнута рука,
И алый след от скинутых подвязок...
Ты тяжела, как золото, легка,
Как легкий пух полузабытых сказок.
Исчезло все. И только двое нас.
По хребтовине холодок, но ранний,
И я тебя, нацеливаясь, враг
Охватываю вдруг по-обезьяньи.
Жеманница! Ты туфель не сняла.
Как высоки они! Как высоко взлетели!
Нет ничего. Нет берега и цели.
Лишь радостные, хриплые тела
По безразличной мечутся постели.
Пускай узнает старая кровать
Двух счастлих вес. Пусть принимает мплость

Таить, молчать и до поры скрывать,
Ведь этому она не разучилась.

Ага, кричишь? Я научу забыть,
Идти, бежать, перегонять и мчаться,
Ты не имеешь права равной быть,
Но ты имеешь право задыхаться.
Ты падаешь. Ты стынешь. Падай, стынь,
Для нас, для окаянных, обреченных.
Да здравствуют наездники пустынь,
Взнуздавшие коней неукротенных!

Пусть слышишь ты...

Как рассветало рано.
Тринадцатое? Значит, быть беде!
И мы в плену пустяшного обмана,
Переплелись, не разберешь — кто где...
— Плутовка. Драгоценная. Позор.
Как ни крути — ты выглядишь по-курьи.—
Целуемся. И вот вам разговор.
Лежим и, переругиваясь, курим.
Весна, 1931

Екатерина Шевелева

ПРОГРАММЫ

Дожила до встречи долгожданной.
Вижу: мы друг другом позабыты.
Ты — в другой программе, мой желанный,
Совершенно разные орбиты.

Между нами странная преграда —
Нечто вроде стенки-невидимки.
Говорим. Но с каждой фразы надо
Скалывать безжизненные льдинки.

Говорим о пустяках, о деле.
Но, как будто в первый день творенья,
В глубине вселенной еле-еле
Видится всевышнее горенье.

Сквозь чужие ритмы, излученья,
Хаос, где кипит любовь и ярость,
Я к тебе, а может быть, точнее —
К сути мирозданья прорываюсь...

ПРОЩАНИЕ

Забавно, что день необъятно широкий
Стал узким, кинжальным лучом;
Что лес — как крыло черно-белой сороки,
Которой мороз нипочем;
Что все же ручей непокорно щебечет
Под тяжестью сонного льда;

Что в сердце живет ожидание встречи.
(И даже не важно когда.)
Забавно, что все же проносится ветер,
Что звездный костер не погас;
Что все-таки есть чудеса на планете,—
Что эти стихи не про Вас.

Владимир Дагуров

* * *

Такая женщина — подарок
скупой на радости судьбы.
Но жаль, душа моя — подранок
и взмахи крыл ее слабы.

До твоего седьмого неба,
увы, не долететь никак.
Журавль тот — словно юность. Мне бы
синицу верную в руках!

...Устами губ моих касалась,
улыбкой тихой осеня,

и мне казалось, мне казалось —
вдыхала жизнь свою в меня.

Послушай, что ты натворила —
как будто мир мне в новизну,
как будто окна отворила,
впуская ветер и весну!

Люби, как прежде, бесшабашно,
но знай — я стал стократ сильней,—
как бы самой не стало страшно
моих разбуженных страстей!

ВЕСНОЮ

...так забывший меня человек
мне сказал. Так я с ним распрощалась —
на двадцатый, на будущий век...
Впрочем, так ли уж много осталось?

Эти юные брови поднять
с удивленьем, вопедшим в привычку.
Я не стала чернила смывать,
чтоб в зеленую сесть электричку.

Чтобы ехать по этой весне,
сколько надо веселой отваги:
вот герань рассмеялась в окне,
вот деревья — спиною ко мне,
так стоят, будто свернуты флаги.

Будто все, что сверкало тогда,
позаржавело в старой укладке...
Вот река. Вот речная вода.
Вот мужчина ладонью из кадки

серебристую гниль зачерпнул.
Воспарили стрижи над погостом.
Я о чем?.. Как ножом полоснул —
этим древним с тобою несходством.

Как целуют, как любят его?!
Как, должно быть, уродливы дети...

Как, пожалуй, и нет никого
у него на целехоньком свете!

Как, быть может, терпел от людей,
как, должно быть, собой понаскучил,
как невнятной печалью своей
ясный разум напрасно измучил!..

Разве я создала этот мир,
эту жадную страсть человека,
этот парк, где эстрада и тир,
этот рай, где фонарь и аптека?!

Разве я ненавижу его?
Разве, глядя на угли заката,
не надеюсь утешить того,
перед кем — навсегда виновата?

Не надеюсь — своими избыть
чьи-то — втрое тяжеле — утраты?
не пугаюсь — воды попросить?
не услышу — из хвои и мяты:

— Будет жалостным голосом выть!
Я и сам не ушел от расплаты.
Вот росы жемчужовая нить —
чем богаты, тем, стало быть, рады...

СНЕЖНАЯ ГРОЗА

И ты живешь без перемен,
и я живу без перемены:
все тот же восхваляешь плен,
все те же проклиная стены.

Все тот же радостный глоток
моей божественной свободы
мне снова легкие прожег,
а впереди — какие годы!..

Раздолье пухлой нищеты,
в ослепшей богадельне старость.
Цветут чернильные цветы:
еще на доньшке — осталось!

Какая щедрая земля!
Какая дивная погода!
Под высотой небосвода
звонят, как в детстве, тополя!

Как будто в лужице — ледок,
как будто в доме — плещут внуки,
и в камень бабкиной науки
лихой вгрызается зубок!

А в нити бабкина тканья
опять вплетаются стрекозы.
А на окне — цветут морозы,
а в речке — пышет полынья.

А в печке — маковка огня,
а в поле — блещет огневица,
и чья-то круглая зеница
в испуге смотрит на меня.

Но эта снежная гроза
под Рождество глухого года —
моя последняя работа,
твоя последняя слеза!

Павел Мелехин

* * *

Не имею кольца Соломона,
Не кольцую я пойманных птиц,
Но меня полюбила ворона,
Выделяя из множества лиц.

Видно, я ей пришелся по сердцу,
Этой гостье, совсем неручной,
Что она в материнские сенцы
Прямо с улицы скачет за мной.

Ах, моя дорогая плутовка!
Ты по-детски смешна и легка,
Как-то мне, человеку, неловко
Принимать от тебя червяка.

Я не против — люби на здоровье,
Разгоняй, как в падении, кровь,
Тем уж паче, что я проворонил,
Потянувшись за славой, любовь.

С ней, далекой, не свидеться боле.
Не скажу, что хожу по ножу —
Только полную пазуху боли
С окаянной размолвки ношу.

Что еще там смертельной накатит?
Но и даже большого больней,
Не хотел бы, чтоб брат твой накаркал
Где-то новое горюшко ей.

Пусть ей вновь посчастливится в чем-
то!..

Оттого ли, что так одинок
Иль какую тоской своей черной
Я тебя, чернокрылка, привлек?!

Это ж надо такому случиться:
И какого я клана дитя,
И какого полета я птица —
Ты вещаешь, за мною летя.

Не мрачнее мы прочих, по сути:
То про нас знаменитый Эдгар
По напутал, а я — перепутал
И тобою лишь кур испугал.

И когда, с ветерком озоруя,
Черной стрелкой ты мчишься в зарю, —
«Ничего!» — вслед тебе говорю я,
«Невермор!» — я себе говорю.

Светлана Кузнецова

* * *

А вы торопились, а вы не спросили,
А вы посчитали все это игрой.
А там начинались стихи о России,
За тем перелеском, за тою горой.

Там время чеканило высшие пробы
На всем, что в отвал отходило пустой,
И там я однажды сронила в сугробы
Тяжелый наследственный крест золотой.

Сронила открыто, сронила, как откуп,
Приучена опытом предков — платить.
Так что же нейметя небесному оку?
Оплачен мой счет, и не стоит грустить.

Оплачен мой счет, и оплакана доля.
Сибирская тройка умчалась, спеша.
Огромность родного осеннего поля
Теперь только может осилить душа.

И то не осилит. По краешку муки,
Как ведьма, пройдет, заклинанья творя.
Но знаю, за миг до последней разлуки
Над ней ослепительно вспыхнет заря.

Что я призову у последнего крова,
На самом последнем из смертных кругов?
Лишь черную магию русского слова.
Лишь белую магию русских снегов.

* * *

И вот опять мне снится родина.
И вот опять пуржит пурга.
Что мной утеряно, уронено
На те высокие снега?
Что мной утрачено, убито?
Никак сегодня не пойму,
Какой неведомый убыток
Мешает счастью моему?
Зачем я радовалась мало?
О чем болела голова?
...Ах, здравствуй,

Здравствуй,
Здравствуй, мама,
Как хорошо, что ты жива!..
Она, в пальто своем не новом,
Бедна, беспомощна, бледна,
Платком покрытая пуховым,
На белизне стоит одна.
— Давай пойдем вдвоем по полю,—
Она тихонько говорит.
— Давай поплачем, дочка, вволю,
Покуда солнце не горит...

* * *

Печально, что это случилось до срока,
До срока, который дается другим,—
Мне время открыло, что я одинока,
И в том беззащитность моя перед ним.

Мне время не то еще пооткрывало,
Вот только поведать никак не смогу,—
Березовым соком зальет покрывало,
Что я постелила на майском лугу.

Мне время открыло, что в том моя сила
Среди многоцветной и злой суеты,
Что я у него никогда не просила
Таких откровений, такой прямоты.

Заря надо мною сильней заалеет,
Под ветром покорно поникнет трава,
Березовым соком мне губы заклеит,
И приторно-сладкими станут слова...

* * *

Вот уже падают листья...
Господи, где мое лето?
В шкуры песцовы да лисьи
Горе богато одето.

Горе мое за горами
Шубу себе добывало.
Горе мое вечерами
Ярко унты расшивало.

Там, где безлюдны распадки,
Горе мое не сучало,

Вольные волчьи повадки
Молча оно изучало.

И на забытом погосте,
Помня конец и начало,
Черным на белой бересте
Время утрат отмечало.

Горе со мною навечно
В радости или в печали.
В щедрой Сибири сердечно
Нас земляки повенчали.

* * *

Наступая на зыбкие тени,
Проходя по осенней поре,
Что мы знаем о смерти растений
В сентябре, в октябре, в ноябре?

Что мы знаем о смерти любимых,
Что мы знаем о смерти друзей,
В нашей памяти бедной хранимых
Посреди ежедневных затей?

Повинуясь случайному мигу,
Повелевшему встать на краю,
Постигаю последнюю книгу,
Уходящую книгу свою.

А она торопливо вбирает
Золотого распада слова,
Ведь над нею листва умирает,
Ведь под ней умирает трава.

ЧИСТОЕ ПЛАМЯ

Вы спрашиваете,
Сколько стоит эта скульптура?
Я не продаю, не дарю,
Не выпускаю из дома
Своих скульптурных работ,
Они —
Моя записные книжки,
Моя память,
Мое прошлое,
Одетое в камень...
Спортивного типа,
Всегда в форме,
Она была одной из самых
Заметных студенток нашего института.
Без нее не делалась стенгазета,
Без нее не проходили капустники,
Без нее не могли состояться
Предвыборные вечера нашего агитпункта.
Каждый день она была какая-то новая,
Хотя наряд ее
Менялся не так уж часто.
Поговаривали о ней разное.
Но то, что в ней было что-то такое,
В этом я вам могу поклясться.
Что-то такое было!
Образ ее
Преследовал меня
До тех пор, пока я не высек из камня
Ее почти демонический профиль...
Однажды
Меня пригласили на вечеринку.
Поздно ночью,
Когда мы уже расходились,
Она подошла ко мне
И тихо сказала:
— Ты останешься у меня,
Не правда ли? —
В ее сероватых
С голубыми молниями глазах
Было такое,
Чего я раньше никогда
И ни у кого не видел.
Эти голубые молнии
Ударили меня куда-то,
Нет, не в сердце
И не в голову,
Скорее всего — в горло.
Я сразу почувствовал,
Что попал в тот мир,
Где хозяин своих поступков уже не я,
А вот эти ее
Сероватые глядящие на меня
Два колдовских глаза.

Она любила говорить так:
— Смотри на меня, смотри,
Я — королева! —
И до сих пор,
Уже прошло так много времени,
Я продолжаю верить в то,
Что она была королевой.
Она была королевой во всем.
Если творец
Когда-нибудь достигал совершенства,
То это
Им сотворенная женщина.
А надо мной вечно витали
Какие-то отвлечения,
И подвержен я был
Таким неожиданным порывам,
Что объяснить их
Не мог и не могу.
Я очутился в горах за Ашхабадом.
Каким это образом произошло,
Как я уехал,
Даже не попросившись
С дорогой мне женщиной,
Я не знаю.
В Фирюзе я столкнулся
С интересной работой,
И эта работа
Поглотила меня всего.
И лишь в какие-то редкие промежутки
Я вдруг вспоминал свою королеву.
Мне делалось грустно,
И тогда я начинал думать,
Что о ней
Поговаривали.
В столицу я возвратился
Перегруженный впечатлениями.
А еще
Я притащил в Москву
Из своего несуразного путешествия
Такой же несуразный,
Дикий
И совсем беспородный
Камень.
Скульптурой тогда
Я не занимался.
Но камень,
Этот большой,
Плоский камень
Мне чем-то понравился,
И я не захотел с ним расставаться,
Потому что в нем было,
Было что-то такое.

Встретились мы с ней дня через три,
 Какая-то измученность,
 Нет, скорее озабоченность
 Легла на ее лицо
 За время нашей разлуки.
 Глаза ее не метали голубых молний,
 Они оставались спокойно серыми,
 Припорошенными чем-то печальным.
 Мы больше молчали,
 Чем разговаривали.
 Она не спросила меня,
 Почему я уехал,
 И не приглашала к себе...
 Она сказала:
 — Ты знаешь,
 Со мной что-то случилось.
 Нет-нет, ты не подумай,
 Я не хочу, чтобы ты возвращался,
 Но со мной что-то произошло.
 Мне двадцать два.
 Я думала.
 Вглядывалась.
 И ничего не видела.
 Но вот наконец темнота рухнула.
 Мне необходим прочный друг,
 Верный локоть,
 Надежный товарищ. —
 Мужем ее стал
 Крепкоскулый
 Тяжелостопный парень,
 Выпускник нашего института.
 Более дружной и радушной
 Семейной четы
 Я никогда в жизни не видел.

И вдруг
 Она заболела.
 Болезнь длилась недолго.
 Она умерла сразу.
 Никакой
 И ничьей вины
 В ее гибели не было.
 Однако
 Сердце мое
 При воспоминании о ней
 Звенит тонкой-претонкой болью,
 В которой, наверно, есть
 И угрызения совести,
 И горькое сожаление,
 И тяжесть утраты...
 Вы спрашиваете,
 Сколько времени
 Потребовалось для работы
 Над этой скульптурой?
 Трудный вопрос.
 Прошло двадцать два года,
 Прежде чем я увидел в камне,
 Который был найден
 Там, далеко,
 В горах,
 Ее стремительный,
 Ласковый,
 Гордый профиль.
 А все остальное — так просто.
 Главное, не убрать лишнего,
 Не изуродовать того,
 Что было прочувствовано и пережито.
 Я не продаю
 Своего прошлого.

Юрий Кузнецов

АФРОДИТА

I
 Брызги с моря. Забытые виды.
 Остановишься в темной тоске.
 Все следы, даже старые, смыты,
 Гаснет пена на мокром песке.
 Только ветер гуляет от веку,
 Только волны взрывают песок.
 Даже плюнуть нельзя человеку,
 Отсечет ему ухо плевком.
 В эту пору мелькнул на деревне
 Книжный червь — человек никакой.
 И поведал о спящей царевне,
 Что выходит из пены морской.

— На деревне дурак заведется,
 А на море морской дурачок.
 Грянет гром — и царевна проснется! —
 Так сказал и шмыгнул, и молчок.

И завелся тотчас на деревне
 Сирота — человек никакой.
 Он свихнулся на спящей царевне,
 Что выходит из пены морской.

Вечерами, когда над простором
 Ведьма в ступе летит на луну,
 На коленях стоял перед морем
 И кричал «Выходи!» — на волну.

Натаскал он на море собаку
И бродил начеку допоздна.
По его угорелому знаку
Прямо в волны бросалась она.

Дни и звезды текли одинако,
Только пену пустыня несла.
Иногда выносила собака
То звезду, то обломок весла.

Грянул гром — не твои вороны
Пронеслись до окольной воды.
Чох-машина! Колеса стальные
Поперек оставляют следы.

Глянешь прямо — в отсутствие вводит,
Глянешь с тылу — того мудреней,
А внутри ум за разум заходит,
Чох летит через десять морей!

Но «ура» завопил на деревне
Сирота — человек никакой.
И в сердцах позабыл о царевне,
Что выходит из пены морской.

С диким лаем собака носилась
Вкруг машины, сужая круги.
— Запирайтесь! Собака взбесилась!
Божья кара за наши грехи!

Вспал дурак на высокую сопку,
Одолжил у соседа ружье.
Опрокинул для верности стопку:
«У, собака!» И встретил ее!

Пена бездны из пасти светилась...

*

Сумасшедший на улице пел,
Как из бешеной пасти явилась
Афродита...

А он не успел!

II

Не тоскуй по царевне, пехота!
Не пыли на крутом бережке.
Капитан угорелого флота
Приволок ее в старом мешке.

На два стона сосна раскололась,
На два звона — ни свет ни заря.
Он услышал надтреснутый голос:
— Выходи, окаянная фря!

Пал с угора он поступом скорым:
Не старик ли на пенной гряде

С разговором стоит перед морем
И грозит кулаками воде?

— Наигрались мы в детские прятки,
Сорок лет разгонял я туман.
Выходи! Я спалил твои тряпки!..
— Выходи! — повторил капитан.

— За кого? —

Капитан улыбнулся:
— Вот мешок, коли случай такой. —
И от моря лицом отвернулся,
Старика заслоняя собой.

Но в скале перед ним отразилась
Даль морская до самой звезды.
И нагая богиня явилась
Из струящейся в пену воды.

Все старик, извернувшись, увидел,
Все припомнил и разом забыл:
Вот кого он любил-ненавидел
И на ком свою душу сгубил!

Пойте, пойте, ракушки пустые,
Что лежите в дырявом мешке.
Пойте, пойте про дни золотые
На чужом и родном бережке.

— Не вертись, коли сердце не радо! —
Прошипел капитан спрехвала,
Не сводя угорелого взгляда
Со скалы: вот она подошла.

Как заря, ее тело светилось.
— Человек, на меня не смотри! —
Вот шагнула в мешок. Опустилась.
И забрезжил мешок изнутри.

И запели ракушки пустые
Про богиню в дырявом мешке,
Про веселые дни золотые
На чужом и родном бережке...

Обступают, бывало, хозяйки,
Осторожный прибрежный народ:
— Расскажи нам, старик, без утайки,
Много ль горя она принесет?

Отвечает старик горемычник,
Что на солнце сидит у ворот:
— А ее задержал пограничник,
Показания, сволочь, дает!..

Брызги с моря. Забытые виды.
Остановишься в тайной тоске.
Все следы, даже свежие, смыты,
Гаснет пена на мокром песке.

Анна Ахматова
1889—1966

В Отделе рукописей и редких книг Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина хранится большая часть обширного архива Анны Ахматовой. Незадолго до смерти часть рукописей была собрана автором в конверте с надписью: «А. А. Ахматова. Пролог (Сон во сне), 1965». Как явствует из названия, в конверте собраны материалы, имеющие отношение к пьесе «Пролог», над которой Анна Ахматова работала в последние годы жизни. Сорок восемь пронумерованных автором листов включают наброски отдельных сцен из пьесы «Пролог», планы пьесы, прозаическое обрамление к ней под названием «Нечто удивительное» и, наконец, черновые автографы стихотворного произведения «Большая Исповедь».

Возможно, «Исповедь» задумывалась автором как стихотворное вступление к пьесе, на это указывает необычная для Ахматовой нарочитая «театральность» стихов, рассчитанных на произнесение со сцены. Это произведение представляет собой уникальное явление в качестве материала чернового, необработанного, записанного на бумагу впервые.

М. Кралин

«БОЛЬШАЯ ИСПОВЕДЬ»

В с т у п л е н и е

Позвольте скрыть мне все: мой пол и возраст,
Цвет кожи, веру, даже день рожденья
И вообще все то, что можно скрыть.
А скрыть нельзя — отсутствие таланта
И кое-что еще, остальное ж
Скрывайте на здоровье.

1

24 августа 1963

Но говорят — в разбомбленном когда-то,
А ныне восстановленном строеньи
Нашли обрывки старого письма.
Подумаешь еще — делов палата,
Однако на поверку вышло так.
Знакомым всем тот показался почерк,
И всем мерещилось, что с ним такое
Уже когда-то в жизни приключилось,
И множество подобной чертовни.
(Диктуй, диктуй, я на коленях буду
Тебе внимать — неутолимой жаждой
И я больна — но это скроем мы.)
И захотел тут даже повесть сделать,
Но все заголосили: «Ни за что!»

2

Довольно нам таких произведений,
Подписанных чужими именами,
Все это нашим будет и про нас.

А что такое «наше»? и про что там?
Ну, слушайте, однако.

И з и с п о в е д и

И эта нежность не была такой,
Как та, которую один поэт какой-то
В начале века назвал настоящей
И тихой почему-то. Нет, ничуть —
Она, как первый водопад, звенела,
Хрустела коркой голубого льда,
И лебединым голосом молила,
И на глазах безумела у нас.

3

Все было очень чинно и достойно:
Двадцатый Век, Москва, весны начало,
Друзья и книги, и в окне — закат.
.....
Нам бы тогда же сделаться врагами,
Почувствовав, что-то здесь неладно,
Но почему-то мы не догадались,
И пропустили время. — Ерунда.
Такое ли еще бывало в мире,
А впрочем, я не знаю. Не из ада ль
Повеял ветер, или дуновенье
Волшебное вдруг ощутили мы.
Все кончено. Корабль идет ко дну,
И маски прочь — и я с тобой в плену.
Еще я слышу свежий клич свободы,
Мне кажется, что вольность мой удел,

И слышатся «сии живые воды»
Там, где когда-то юный Пушкин пел.

4

Мы, помнится, готовы были оба
Терпеть нежданные дары Судьбы,
Как надлежит и с твердостью спокойной,
А может, и насмешливо чуть-чуть.
Но умереть от нежности друг к другу
Боялись мы — и этот страх все рос
И постепенно заполнял пространство,
Которое и так неодолимо
И траурно лежало между нами...
И пересечь которое, пожалуй,
И в голову нам не могло прийти.
А рядом громко говорила Федра
Нам, гордым и уже усталым людям,
Свои невероятные признания,
И «больше не читавшая» Франческа
О первенстве заботилась своим.
Я понимаю, как все это сложно.
Но все же попытайся уцелеть.

5

Так вот когда с тобой беда случилась.
Беда случилась — ты ее познал.
Теперь ты знаешь, что ни с чем на свете
Ее нельзя сравнить и утолить:
Ту жажду, что приходит раз в столетье,
А может быть, и реже, бедный друг.
Ни ветрами свободных океанов,
Ни запахом тропических лесов,
Ни золотом, ни водкою кабацкой,
Ни шкиперским крепчайшим коньяком,
Ни музыкой, когда она небесной
Становится и нас уносит ввысь,
Ни даже тою памятью блаженной
О первой и несознанной любви,
Ни тем, что люди называют славой.
За что иной согласен умереть.
И только мы с тобою знаем тайну,
Как утолить ее, но мы не скажем
Под злою пыткой и друг другу даже,
Особенно друг другу. — Замолчи!

Публикация М. Кралина

Михаил Кузмин 1875—1936

Михаил Алексеевич Кузмин начал печататься в 1905 году. Его творчество развивалось в разных жанрах: поэзия, проза, драматургия. Но главным для Кузмина была поэзия. «Читая стихи Кузмина, я вспоминаю городские улицы, их напряженное, тревожное ожидание. Стихи Кузмина достойны того, чтобы для них была открыта душа одышающего воина и труженика, творца железных будней». Так писал Александр Блок о книге М. Кузмина «Сети». Говоря о стихах Кузмина исторического характера, Блок замечает, что о каких бы землях ни писал поэт, русский характер его виден всегда.

Умер М. А. Кузмин в 1936 году в Ленинграде.

«День поэзии 1979» предлагает читателям стихотворный цикл Михаила Кузмина «Харикл из Милета», прежде не публиковавшийся.

ХАРИКЛ ИЗ МИЛЕТА

I. ОТЪЕЗД

В ранний утра час покидал Милет я;
Тихо было все, ветерок попутный
Помощь нам сулил, надувая парус,
В плаваньи дальнем.

Город мой, прощай. Не увижу долго
Я садов твоих, побережий дальних,
Самоса вдали, голубых заливов,
Отчего дома!

Круг друзей своих покидаю милых,
В дальний чуждый край направляю путь свой;
Бури, моря глубь — не преграда ждущим
Жизни и счастья!

Как зари приход, как маяк высокий,
Как костер вдали среди ночи темной,
Так меня влечет через волны моря
Рим семихолмный!

2. У МАНЛИЯ РУФА

Тихо в просторном доме у философа Манлия Руфа,
Сад — до тибурских ворот;
Розы там в полном цвету, гиацинты, нарциссы и мята,
Скрытый журчит водомет.
В комнатах окна на юг (на все лето он Рим покидает),
Трапеза окнами в сад.
Часто заходят к нему из сената степенные мужи —
Мудрыя речи ведут;
Часто совета спросить забегают и юноши к Руфу —
Он как оракул для них.
Манлий — знаток красоты: от рабы до последней безделки
Все — совершенство в дому;
Лучше же нет его книг — что за праздник пытливому духу,
Вечно бы книги читал!
Ласков Манлий со мной, но без крайности, без излишней —
Сдержанность мудрым идет.

3. В ЦИРКЕ

Я белым камнем этот день отмечу!
Мы были в цирке и пришли уж поздно,
По всем ступеням зрители теснились,
С трудом пробилась с Манлием мы к месту.
Все были налицо: сенат, весталки,
Лишь место Кесаря еще пустело.
И, озирая пестрые ступени,
Двух мужей я заметил: их глаза
Меня остановили... я не помню —
Один из них был, кажется, постарше
И так смотрел, как заклинатель змей:

Глаз не сводил он с юноши, тихонько
Неслышно говоря и улыбаясь.

А тот смотрел, как будто созерцая
Незримое другим, — и улыбался...
Казалось, их соединяла тайна.
И я спросил у Манлия: «Кто эти?»
— Орозий-маг с учеником, их в Риме
Все знают, даже задавать смешно
Подобные вопросы. Тихе... цезарь...—
Что будет, что начнется, я не знаю,
Но белым камнем я тот день отметил.

4. ЭРОСУ

С чем сравню я тебя, тайной любви огонь?
Ты — стрела из цветов, сладкую боль с собой
Нам всегда ты несешь; ты — паутины сеть,
Льву ее разорвать нельзя.
Аргус ты и слепец, пламя и холод ты,
Кроткий, нежный тиран, мудрость безумного,
Ты — здоровье больных, буря спокойных,
Ты — искатель цветных камней!

Тихо все в глубине, сердце как спит у нас,
Эрос, мудрый стрелок, сердце пронзит стрелой.
Словно луч заблестит алой зарей дневной —
Мрак ночной далеко уйдет.

Все сияет для нас, блеском залито все,
Как у лиры струна, сердце забьется вдруг.
Будто факел зажгли в царском хранилище —
Мрак пещеры убит огнем!

Эрос — факел святой, — мрак разогнал ты нам!
Эрос — мудрый стрелок, — смерть и отраду шлешь!
Эрос — зодчий хитрец, — храмы созиждешь ты, —
Ты — искатель цветных камней!

5. У МАГА

Я к магу шел, предчувствием томим...
Был вечер, быстро шел я вдоль домов,
В квартал далекий торопясь до ночи.
Не видел я, не слышал ничего,
Весь поглощенный близостью свиданья...
У входа в дом на цепи были львы,

Их сдерживал немой слуга, в покоях
Все было тихо, сумрачно и странно.
Блестела медь зеркал, в жаровне угли
Едва краснели. Сердце громко билось...
К стене я прислонившись ждал в тиши...
И вышел маг, но вышел он один.

6. НАСТАВЛЕНИЯ МАГА

Радостным, бодрым и смелым зрю я блаженного мужа,
Что для господства рожден, с знаком царя на челе.
Всем не одно суждено, не одно ведь для всех — добродетель,
Смело и бодро идет вечно веселый герой.
В горных высотах рожденный поток добегаёт до моря —
В плоских низинах вода только болото даёт.
С кровли ты можешь увидеть и звезды далекие в небе,
Темную зелень садов, город внизу под холмом.
Скорым быть, радости вестник, тебе надлежит; осушивши
Кубок до дна, говори: «Выпил до капли вино».
И между уст, что к лобзанью стремятся, — разлука проходит.
Скорым быть нужно, герой, куй пока горячо.
Радостна поступь богов, легка, весела их осанка,
Смех их — премудрей всего, — будь им подобен, герой!

7. * * *

Казнят? Казнят? Весь заговор открыт,
Все цезарю известно — боги, боги!
Орозий, юноша и все друзья
Должны погибнуть иль бежать спасаться.
По всем провинциям идут аресты,
Везде как сеть раскинут заговор.

Наверно, правду Руф сказал, но что же будет?
И юноша погибнет! Он шепнул мне:
«Во вторник на рассвете жди меня
У гаванских ворот; увидит цезарь,
Что не рабов в нас встретил, а героев!»

8. СМЕРТЬ

Как помню я дорогу на рассвете —
Кустарник по бокам, вдали равнину...
На западе густел морской туман,
И за стеной заря едва адела.
И помню всадника, он быстро ехал,
Был бледен, сквозь одежду кровь сочилась
И милое лицо глядело строго...
Сошел с коня, чтоб больше не садиться,
Достал мне письма; сам бледнел, слабая:
«Спешу, мой друг, мой конь — тебе, скорее.
Вот — Прохору в Ефес, вот — в Смирну, сам ты
Прочтешь, куда другие. Видишь, видишь:
Меж уст, к лобзанию близких, смерть проходит.
Убит учитель, я едва умчался.
Спешу, мой милый (все слабел, склоняясь
Ко мне). Прощай, оставь меня, не бойся».
И в первый раз меня поцеловав,
Он умер... На востоке было солнце.

9. КЛЯТВА

Солнце, ты слышишь меня? Я клянуся
великою клятвой:

Отныне буду скор и смел.

Солнце, ты видишь меня? Я целую свя-
щенную землю,

Где скорбь и радость я узнал.

Смерть, не боюсь я тебя! Хоть лицом и
к лицу тебя встретил:

Ведь радость глубже в нас, чем скорбь.

Ночь, мне не страшен твой мрак, хоть
темнишь ты вечернее небо:

К нам день святой придет опять.

Всех призываю я, всех, что ушли от нас
в мрак безвозвратный,

И тех, чья встреча далека.

Всеми любимыми мной и которых еще
полюблю я

Клянуся клятвой святой:

Радостный буду герой, без сомнений, упреков
и страха —

Орлиный взор лишь солнце зрит.

Я — Одиссей, аргонавт! Через темные про-
пасти моря

В златую даль чудес иду!

Публикация С. Григорьяна

ПРИ СВЕЧАХ

Эти страницы сборника «День поэзии 1979» позволяют современному читателю, человеку космического века, на какой-то миг как бы оказаться в машине времени и перенестись в век девятнадцатый, причем увидеть в нем не ослепительные вершины поэзии, а отдельные, разрозненные фрагменты литературной среды, в которой выросли любимые наши поэты.

Эти забытые страницы поэзии прошлого века доносят до нас отзвуки переживаний, отзвуки событий, участниками или современниками которых были представляемые авторы.

Андрей Зайцев

Федор Глинка
1786—1880

Федор Николаевич Глинка — русский поэт и прозаик, участник двух войн с Наполеоном, награжденный за храбрость золотым оружием. На основе своих военных дневников издал «Письма русского офицера...». Ф. Глинке принадлежит много патриотических стихов и военных песен.

Публикуемые стихотворения Ф. Глинки относятся к 1830—1840 годам. Стихотворения «Призыв к сельской тишине» и «Московские дымы» печатаются с рукописных копий с пометами автора, стихотворение «Две боязни» — с автографа.

МОСКОВСКИЕ ДЫМЫ

* * *

ДЫМЫ! Дымы!
Московские дымы!
Как вы клубитесь серебристо,
С отливом радуги и роз,
Когда над вами небо чисто
И сыплет бисером мороз...
Но мне приходит часто дума,
Когда на ваш воздушный ряд,
Над цепью храмов и палат,
Гляжу я из толпы и шума:
Что рассказали б нам дымы,
Когда б рассказывать умели!
Чего бы не узнали мы?
Каких бы тайн не имели
Мы (к тайнам падкие) в руках!
Что там творится в тайниках?..
Какая жизнь, какие цели
Сердца волнуют и умы
В громадах этих зданий крытых?..
О! сколько вздохов, сколько слез,
Надежд безжалостно разбитых,
Молитв и криков сердца скрытых
Московский дым с собой унес!!!.

* * *

Дымятся дома, где в веселье
Бокалы искрятся в звездах,
И вьется струйкой дым на келье,
Где бедный молится монах;
Все дым — но дым есть признак
жизни,
Равно и хижин и палат:
Дымись же, лучший перл отчизны,
Дымись, седмивековый Град!
Была пора — ты задымился
Не войском надпалатных труб,
Но, вспыхнув, как мертвец свалился,
И дым одел твой честный труп!
И, помирившись с судьбою,
Воспрянул ты, — и над трубою
Твоей опять кудрится дым:
За Русь, с бесстрашием героя,
Ты в руки шел к чужим без боя,
Но руки опалил чужим!..

* * *

Печален дом, где не дымится
Над кровлей белая труба:

Там что-то грустное творится,
Там что-то сделала судьба!..
Не стало дыма — и замолкнул
В поварне суетливый нож,
Замок на двери грустно шелкнул,
Борьбы и жизни стихла дрожь.
Заглох с разохшейся бадью
Колодезь на дворе глухом;
Не стало дыма над трубою,
И числят за пустелым дом!

* * *

О! Да не быть тому с тобою!
Не запирайся дверь Москвы:
Будь вечно с дымною трубою,
Наш город шума и молвы!..
Москва! Пусть вихри дымовые
Все вьются над твоей главой,
И да зовут, о град святой!
Тебя и наши и чужие
Короной царства золотой!..

ПРИЗЫВ К СЕЛЬСКОЙ ТИШИНЕ

С ночью день еще был в споре,
А серебряное море
Уж ложилось по лугам:
Это летние туманы...
И мелькают там и там
Стройно сосны-великаны,—
Ряд зеленых пирамид.—
И серебряное море,
И луна, с зарею в споре,
И холмов картинный вид,—
Неба розы и опалы,—
Отражаются в кристаллы
Полусонных летних вод...
— Что ж пред этим ваши залы,
Расписной чертогов сад.
Ваши штучные паркеты,
И нарядные кенкеты,
И толпа, и теснота,
Где приволье неизвестно,
Где душе, в условиях, тесяо,

Где и в людстве пустота,
Где, хвалясь палат убранством,
Страждут судорожным чванством,
Скрытой жаждою честей;
Сердцем сжатым цепенеют,
В самолюбии черствеют —
И хворают от страстей!..
— Нет! сюда, сюда скорее,
Узник города, приди:
Сердце бьется здесь бодрее,
Легче дышится в груди! —
Здесь, влюбившись в край затишный,
Променяешь город пышный,
Суету и шум пиров
И дворцы его и башни,
На коришневые пашни,
Да на золото снопов.
День за днем круглее мчатся
Здесь у сельской тишины;
А под шумом рощей снятся
Упоительные сны!..

ДВЕ БОЯЗНИ

По общей легковерью дани
Или по сказкам доброй няни
И деревенских мудрецов,
Я помню, в самом раннем детстве,—
Живя у кладбища в соседстве,—
Я страх боялся мертвецов.
Но мертвецы лежат так смиренно
В своих окрашенных гробах,
И хоть являются, да мирно
И часто в самых светлых снах.
Порой они приносят вести
О замогильных сторонах;
Но о коварстве, злобе, мести
И слова нет у них в устах.

Ни сладкой веры, ни надежды
Они не крадут из души:
Слеза любви кропит их вежды,
Вздыхает дружба их в тиши...
И жалко, право, просыпаться
Порой от тех заветных снов,
И уж решительно бояться
Не стал я больше мертвецов...
Крестом и дерном приодевшись,
Те не волнуют чувства моих;
Но ближе в мир живых
вглядевшись,
Я страх бояться стал живых!..

Федор Вишневский (Черниговец)
1838–1915

Федор Владимирович Вишневский родился в селе Князево Курской губернии в старинной дворянской семье. Получив образование в кадетском корпусе, он с 1857 года состоял на военной службе. С 1870-х годов Вишневский начинает публиковать свои стихотворения в печати под псевдонимом «Черниговец». Большое место в его творчестве занимают сатирические стихотворения, пародии, экспромты. В 1892 году его стихотворения были изданы отдельной книгой. Вишневский известен также и в качестве переводчика.

Стихотворение «Смутные намеки» относится к 1880 годам и печатается с автографа поэта, хранящегося в ЦГАЛИ.

СМУТНЫЕ НАМЕКИ

Слышу сердца шепот
Словно в отдаленьи...
Что в нем это — ропот
Или глас моления?

Внемлю сердца шепот,
Но звучит он чудно!
Внутренний свой опыт
Выразить так трудно!

Но упорно сердце
Шепчет и лепечет,
Словно скудоверца
От сомнений лечит.

Дышит этот лепет
Чем-то запредельным,
Навевая трепет
Позывом молельным.

Дышит неотступно
Памятью былого,
Только недоступно
Для ума и слова...

Или к райским кущам
Он зовет обратно
Иль сулит в грядущем
Полдень незакатный?

Или то, что глухо
Сердце нам вещает,
Лишь бессмертье духа
В общем означает?

Иль — сказать ли слово? —
Это лишь всецело
Блажь ума больного,
Бред больного тела?

И лепечет сердце
Мне свои загадки,
Только в скудоверце
Нет на них разгадки!

Лишь в часы наитий,
Внемля им тревожно,
Смутно смысла нити
Уловить возможно;

Передать же смысла
Ясно для другого
Неспособны числа
И бессильно слово!..

И неоднократно
Все проходит мимо,
Для ума невнятно
И неуловимо.

Публикация А. Зайцева

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД»

Почти по Гоголю

Окончился поэтический вечер.

Появляется молодой поэт, впервые выступивший публично.

Поэт. Вроде хлопали. Но что же на самом деле думают обо мне?.. Я, наверно, слишком серьезно отношусь к этому своему выступлению. Все нынче смотрят на вещи гораздо проще... Но все-таки? Стану тут, у колонны, — будто жду девушку или друга.

Входят двое, оживленно переговариваясь. Останавливаются у колонн, видимо, ожидая появления всей компании.

Первый. Не говори чепухи. Тихая лирика, громкая лирика. Поэзия должна говорить о вечном. Поэзия — это небо, солнце, трава.

Второй (*иронизируя*). Деревья: дубы.

Первый. Ну и деревья, если угодно. Поэзия не должна горланить и суетиться. Это все деловые ребята, которые хотят везде успеть. Индустриалисты. У них и поэзия — индустрия. Ты, старый, им близок: берегись. Они не пишут стихов — они только нюхают воздух. Фигаро здесь, Фигаро там. Всё хватают на лету, лишь бы заставить о себе шуметь. Тут тебе и космос, тут тебе и рельсы, тут тебе и тридцать девятый век, тут тебе и разговор с Габриелем Гарсиа Маркесом. Кривляние, ломание, современные ритмы... Души, старик, за этим нет. Душа — она тихая; она небо, трава и...

Второй. Так как же ты говоришь, что ты не за тихую лирику? Ты как раз...

Первый. Я н-н-не л-л-люблю этих идиотских слов — «тихая лирика». Какая «тихая лирика»? Эта лирика — она просто лирика, она не тихая и не...

Второй. Да, но ты за нее?

Первый. За кого?

Второй. Ну, вот за это, о чем говорят — «тихая лирика»?

Первый. Я тебе повторяю, что нет никакой «тихой лирики»; есть просто лирика.

Второй. Да, но говоря это, ты подразумеваешь именно то, что...

Первый. Да ничего я не подразумеваю. Это вы, со своими подтекстами, всё подразумеваете.

Выходит еще один человек и останавливается, с усмешкой слушая.

А я ничего не подразумеваю! Это у вас: говорится — зеленый, а подразумевается — серо-буро-малиновый. Публицистики, и подтексты, и всякое. А я говорю: лирика, и так и надо понимать: лирика. Небо, вода и...

Второй. «Тихая лирика».

Первый. Ну, ты, старик, ты даешь; тебе русским языком...

Второй. А я-то японец, что ли?

Первый. Нет, тебе русским...

Второй (*обращая внимание на усмехающегося слушателя*). А это что за Мефистофель? С тобой, что ли?

Первый. Да нет, я не знаю этого товарища.

Оба смотрят.

Третий. Вы извините, братцы. Я так, послушать поэтов. А сам я критик.

Теоба. А-а-а-а? А, простите...

Третий называет фамилию.

Первый. А-а-а-а...

Второй. А я не знаю.

Первый. Разрешите, я вам пошлю свою книжку. Правда, она уже несколько устарела, но...

Третий (*довольный тем, что оказался «системе»*). Пожалуйста, пожалуйста. Отчего же. Почитаем. Может, где и...

Первый. Да нет, не обязательно писать обо мне; мне что? Я же не (такой-то)... Меня эти дела не волнуют. Это пусть они — суетятся. А мне просто интересно мнение человека, которого я уважаю... Почитайте, посмотрите... А если любопытно будет, может, и напишете... Я, кстати, могу сказать, в какую редакцию: есть такой Вася Бубкин, так вот он работает в...

Второй. А я вас не знаю.

Третий (*скромно, но сухо*). Бывает.

Второй. А как вам весь этот спор?

Третий. Видите ли, и в «тихой», и в «громкой» лирике есть свои преимущества. Это разные тенденции внутри одного, единого поэтического процесса, но должен сказать, что нет смысла сталкивать лбами то, что вполне может...

Первый. Да погоди ты тиранить человека... Так вот, я говорю, есть такой Вася...

Второй. Да ты погоди, не перебивай. Всех рецензий не...

Третий. Так вот, я и говорю: это две тенденции, которые...

Первый (*в досаде*). Да погодите вы. Две тенденции, две тенденции. Вон, сегодня выступал малый... этот, как его... ну, новый.

Второй. Новый? А, новый... Да... Ну да... А талантливый малый. Как же его?

Первый. Да, как же? Может, вы помните? Вы же критик. Вам положено помнить.

Третий. Я не знаю, о ком вы.

Первый. Ну, вот этот... Стихи об отце... о природе...

Третий. А, этот? По-моему, его фамилия Мишаков... А что? Разве он вам понравился?

Первый. Да ничего. Слаб, конечно, в коленках... Но ничего. А где они нынче — которые не слабы? После нас что-то никого...

Второй. Да, тут ты прав.

Третий. Но, по-моему, он талантлив? А вы разве против? Вы, поэты?

Первый. Я же сказал — ничего.

Третий (*успокаиваясь: «проверил себя»*). Вот и я так думаю: ничего. Но как-то... нет у него направления, что ли? Куда он гнет, как говорил Лев Николаевич? Куда идет? Непонятно... Все они, молодые, — ныне такие.

Первый (*вдруг обижаясь за поэта-собрата*). Куда гнет, куда гнет? Всех бы вас, критиков... Малый думает о главном? Думает. Как он об отце-то! О, от души... У малого есть напор, есть техника. Чего надо?

Третий. Да, но этого мало.

Выходит еще один и останавливается с отчужденной миной: тоже, понятно, ждет своих. Прислушивается, но не подает виду.

Первый (*задиристо*). А чего же вам еще-то? Эх вы... критики.

Третий. Ну, во-первых, осторожней на поворотах... А то недолго и... Во-вторых...

Первый. Ну, что? что? А насчет поворотов мы...

Второй. Ладно вам. Ладно.

Третий. Да нет, давайте по существу. Я не вижу... традиции, не вижу...

Первый. ...на какую полку его положить... А полка одна: поэзия — это небо, вода и трава, и...

Второй (*дразня*). ...и родная деревня.

Первый (*с вызовом*). И деревня!

Второй. Что же ты живешь в городе?

Первый. Доказательство не из самых достойных.

Второй. А «творческое поведение»? Блок на твоём месте уехал бы в деревню.

Первый. Быт и поэзия — вещи разные.

Второй. Но тут «быт» — из сферы главного поведения.

Первый. Я бываю в деревне.

Второй. «Бываю»... Да я не против деревни; но нельзя же всех загонять в деревню! Поэзия — это и крик, и метафора, и, если надо, резкая публицистика, и «грохот турбин», и...

Первый. Поэзия — грохот! Ну! Ну, брат. Сам и сказал. Сам. Мне добавить — нечего... Поэзия — грохот. Вот и проговорился.

Третий (*обеспокоенный отклонением; ему надо окончательно установить свое мнение о новом*). Но погодите спорить. Речь шла о новом поэте. Как-то он, правда, никуда не...

Второй. Вы же сами говорили о разнообразии тенденций.

Третий. Да, но именно тенденций. А здесь какая тенденция? Каламбуры, каламбуры... Я не вижу... традиции; если угодно, не вижу и тенденции... как ни скучно само это слово для поэтического слуха.

Второй. Да какая тенденция? Что вы пристали к нему? Талантливый малый, и все... Правда, талантливый ли? Какой-то он... чего-то в нем не хватает.

Третий (*совсем обеспокоенный*). Вот и я о том же. Тут дело не в словах... Но чего же?

Первый. Может, таланта?

Второй. Почему же? Я-то, конечно, таких не люблю. Слишком он... не знаю, чего. Вот у (такого-то) — не люблю я его, — так там, по крайней мере...

Первый. Ну, сказал.

Второй. А что?

Первый. Ну, если о...

Второй. Ну, а что?

Первый. А вот спросим у товарища. Товарищ, вы нас извините, конечно, за нахальство, — мы поэты; вы были на поэтическом вечере?

Четвертый (*отчужденно молчавший; сдержанно*). Был.

Первый. Ну и как?

Четвертый. Что — как?

Первый. Как вечер; как поэты?

Четвертый. Вечер как вечер. Поэты как поэты. У этих дурная публицистика, у этих абстрактная вечность и мироздание, у этих простые люди и народный герой, у этих «музыкальное восприятие мира», у этих классичность и строгость, у этих напор и стихия, у этих метафора, у этих «живой и напевный» стих. Всё на своих местах. Только дела нет.

Молчание.

Первый. Ого. Серьезный человек.

Второй. А вы-то кто же, а?

Третий. В вашем суждении много интересного; но как-то не видно позиции. Вы, извините, поэт? Или критик?

Четвертый. Я прозаик.

Все трое. А-а-а.

Первый. Поэзия для вас — дело не-серьезное, да?

Выходит пятый и останавливается, ожидая четвертого.

Четвертый. Нет, отчего же. Пушкин и Блок для меня — серьезное.

Трое, помолчав, робко начинают:

Первый. Простите, а ваша фамилия?

Второй. А после Пушкина и Блока — так уж и никого?

Третий. Но были же в пятидесятые годы некоторые линии, которые...

Его фраза повисает последней: как самая длинная.

Четвертый. Простите, товарищи: вот вышел мой приятель.

Первый. Да и мы ждем... куда они там?..

Пятый (*бодро и насмешливо*). Что, споры, да? Ясно. Литература не существует вне споров. Истина. Добро. Красота. Социальность, гражданственность. Это только в принципе ясно, а как на деле, в конкретике...

Первый. А вы философ, да?

Пятый (*смеясь*). Угадали, брат! Угадали!

Первый. Ну, мы тут все философы.

Пятый. Я философ не в смысле «всех», а по специальности. Профессионал.

Первый (*мрачно и неприязненно, отодвигаясь. С желчной иронией*). Значит, «Истина — Добро — Красота»?

Пятый. Точно.

Первый (*глядя в сторону, вяло: просто от нечего делать*). А кто поэт, кто не поэт — хоть разберете с ходу?

Пятый. Думаю, да. Я поэзию люблю. Иначе и не пришел бы на вечер к своим... коллегам. Почему же нет... (*Прозаику*). Что ж, идем?

Второй (*прозаику*). Простите, а ваша фамилия?

Четвертый (*называет*)...

Второй. Не знаю.

Первый. Что-то такое читал. Средне. Ума много, а толку мало.

Четвертый (*сдержанно*). Идем.

Пятый (*защищая приятеля, но не без глордства*). Не очень-то вы воспитанные молодые люди.

Первый. В поэзии нет воспитанности. В поэзии есть талант и бездарность. Это в прозе есть воспитанность. Да еще в философии.

Пятый. Напрасно вы. (*Собираясь уходить*.)

Первый (*неожиданно активничая*). Ну, хорошо. Вот выступал молодой поэт. Впервые,

кажется, выступал. Фамилия его Фомичев, кажется. Ну, об отце; о природе.

Пятый. Помню.

Первый. Так вот: хороший он поэт? Как по-вашему?

Пятый. Извольте: у меня обо всех совершенно определенное мнение. Я вам скажу об этом поэте все, что я думаю... Он гражданствен, целеустремлен, в нем есть сила; но начало изобразительное у него еще недостаточно органично соединяется с началом моральным, нравственным.

Все помолчали.

Первый. Как, как?

Пятый. Начало изобразительное еще недостаточно органично соединяется с началом моральным, с началом нравственным; если требуется, я могу развить мысль...

Первый. Нет, не надо. А вот и Колька. Слушай, сколько это можно одеваться? Нина, что ли, на дороге попалась? Так тогда ты так бы и говорил, а то... теперь машину не поймаем, а...

Выходят разные люди; четвертый и пятый сухо кивают, удаляются.

Уходит компания поэтов.

Все это были литераторы, первыми покинувшие вечер: гардеробщики — свои люди.

Появляются другие литераторы и — просто любители поэзии.

Молодой поэт выходит из-за колонны.

Молодой поэт (*подавленно помолчав*). Моя фамилия не Мишаков и не Фомичев, а (*называет*.) (*Еще помолчав*.) Что мне делать? Такие уважаемые люди. Голова кругом. (*Еще помолчав*.) Проще всего, конечно, забыть обо всем таком, как о вздоре. Тихая, громкая, изобразительное, моральное... тенденция, традиция... Я слишком всерьез отношусь к своему делу — я не играю им. Я сам за деревья, за поле и небо, за истину и добро... Тут речь идет о жизни и смерти...

Да: как забыть? За их «словами, словами, словами» что-то и было... Этот, Первый, вообще — фигура... Но что же? И... что же? И как быть?

Как быть мне? Я поэт. Я слишком серьезно отношусь к своему делу: я снова и снова повторяю это. Тайна природы, тайна соотношения вечного и временного, высокая судьба деревни и русского поля, братство душ, человеческое счастье и образ высшего, нового человеческого быта, общества, порыв к небу белого, стройно-угластого «лайнера», тихое ще-веление поздних, тяжелых листьев — все это волнует меня; волнует до самых недр моего духовного существа... И они как будто об

этом и говорили? Об этом, а о чем же? Они об этом и говорили. Но что же? Откуда эта некая потерянности у меня в душе? О чем это я?

Нельзя о серьезном судить легко...

Нельзя разделять неделимое...

Но мое-то?

Мое собственное?

Чего я стбю?

Может, дело лишь в том, что сам я не выразил... не сказал... не донес...

А, не стану прятаться за колонны...

Пойду-ка, вон у того спрошу прямо: что он думает о моих стихах...

Вроде лицо живое.

Вадим Кожин

НА ВЕРНОМ ПУТИ

Медленный ветер из черных полей
взмыл над землей — развороченной, древней.
Снова я верю, что жил веселей,
чувствовал проще, мечтал откровенней.

Дед оступися, сбегая с крыльца,
ткнулся мне в горло щекою колючей.
Вспыхнула в темных глазницах лица
светлая искорка вечности жгучей.

Пусть он молчит, все я знаю о нем.
Долго, застывший в величье убогом,
смятый войной, опаленный огнем,
будет он выглядеть сказочным богом...

...Там осторожно смеется мой дед:
— Вовка, заря-то какая, гляди-ка.
Редко бываешь, креста на те нет,
это и несправедливо и дико.

— Ты окончательно прав, — говорю, —
это и дико и несправедливо, —
и, спотыкаясь, гляжу на зарю,
как она там полыхает красиво.

Стихи Владимира Урусова. Он живет в рабочем поселке на развороченной стройками и карьерами древней Владимирской земле и стремится к самому простому и самому трудному: дать той сиюминутной жизни, которой он живет, поэтическое бытие.

Безусловное его преимущество в сравнении с множеством сверстников заключается в том, что он смотрит в жизнь не через стекла поэзии. Это проявляется, помимо всего прочего, в полнокровном чувстве личной причастности и ответственности за все, что ни предстает в его стихах. Для массы теперешних стихов характерна, увы, прямо противоположная интонация: мир создан таким до меня или по крайней мере без меня, моя задача — только выразить и «поэтизировать» его смысл.

Совершенно иной пафос — подчас даже, пожалуй, чрезмерно вырывающийся наружу — в поэзии Владимира Урусова:

Еще не знаю, сколько верст осталось,
еще мой шаг небрежен и упрям, —
преодолев томящую усталость,
еще вхожу я в даль, как входят в храм...

...Здесь все мое — осеннее богатство,
и гул костров, и песни журавлей,
с моей природой равенство и братство
и нищенство натруженных полей.

Привет тебе, последняя обитель!
Здесь я хозяин, здесь я гражданин,
своей страны весомый представитель
и Родины своей угрюмый сын.

В багровой мгле ночного небосвода
ты, белая звезда моя, гори.
Шуми, моя зеленая свобода,
и сердце — не предай или умри!

Для обретения этой непреложной ответственности необходимо смотреть в современную жизнь из нее же самой, из ее безудержно движущегося потока, а не из уже отделившегося от нее мира поэзии, которым сплошь и рядом меряют жизнь сверстники Владимира Урусова.

Та же поэтическая тема звучит в других стихах с многозначительной концовкой:

Снова лето под желтым флагом
с мест обжитых — лесов, полей —
потайным ускользает шагом
в грубых окриках журавлей...

...Местность эта — любовь, отравы,
философская вещь в себе.
Распустила она коряво
свои корни в моей судьбе.

Но с какою небрежной мощью
в небе ржавом мерцает сталь,
и как буйно над нивой тощей
упивается ветром даль.

Мы пройдем, мы растаем снами
в этих токах земной крови.
Но пока
 есть долги
 за нами —
что пустыми играть словами,
что шуметь о своей любви.

Я отнюдь не хочу сказать, что стихи Владимира Урусова — некое безусловное творческое достижение. Они отчетливо выделяются именно на фоне слишком «литературных» стихов. В лучших строках Урусова покоряет и захватывает дыхание живого современного бытия. Но (пресловутое и все же неизбежное

Лев Аннинский

НОЧЬ ПОЭЗИИ

Не подумайте, что этот этюд для сборника «День поэзии» я назвал «Ночь поэзии» из желания скаламбурить.

Или что под словом «ночь» имеется в виду что-то мрачное, противоположное успеху.

Я вообще не понимаю этой иерархии оценок: утро — хорошо, день — неплохо, а вот вечер и ночь — плохо. Или, скажем, весна — лучшее время года. Чепуха какая-то. Всякое время по-своему прекрасно. И ночь ничем не провинилась перед утром, чтобы валить в нее все дурное. В ночи есть своя красота — только не дневная, не ясная, не структурная. Решения, принимаемые утром и реализуемые днем, вынашиваются, как правило, ночью. Ночь — накопление чувств, настроений, импульсов. Это оседание дневного опыта на дно души. Это время интуиции, время подсознательного вглядывания в себя, время исповедей, столь же невнятных, сколь искренних.

Я не «ругаю» поэтическую ситуацию, определяя ее таким образом. Я понять ее хочу.

А если и «ругаю», то, пожалуй, по соображениям непринципиальным. Доняли почтальоны: чуть не каждую неделю — пакет со стихами...

У нас ведь настоящая одержимость количествами в стихописании. Есть даже такое выражение: «урожай стихов». В этом году урожай стихов бедноватый, а вот в прошлом был — хороший. Неужели не чувствуете ложности в самом подходе к предмету? Стих — эта

«но») начинаешь задумываться: а выдержат ли эти стихи испытание временем, останутся ли в литературе как поэтическая реальность и ценность? Не слишком ли наспех (словно страшась утратить непосредственность ощущения жизни) это выговорено? Ведь во всех приведенных стихах опущены наименее удавшиеся строфы...

Подводя итог, скажу, что Владимир Урусов — на верном пути. И надо надеяться, он не один вступил на этот путь. Все помнят: если заметишь только что появившуюся на небосклоне звездочку, можешь быть уверен — она уже не одна.

Вместе с тем найти верную дорогу — еще только полдела. К тому же в этом всегда есть момент удачи. А настоящее творчество — это подвиг.

странная игрушка, отвечающая всеми гранями, эта словесная находка, этот фокус — ведь стих по природе своей, казалось бы, сверхъестественная концентрация духовной энергии. Мне одного тютчевского томика на полжизни хватает. Как я могу переварить «урожай» стихов? Особенно когда пишут — во что бы то ни стало. Даже когда «не пишется». Скажете: а, это все графоманы.

Отнюдь! Проблема не так проста, как принято думать. Это раньше было ясно: графоман — это который пишет не умея. Который пишет умеючи — писатель. Что-то плохо работает сейчас это разделение, особенно в поэзии. Потому что умеют — все. Научились. Самое понятие графоман надо бы вернуть к его первоначальному значению: одержимый писанием. Выявилась ли в этом многописании личность или осталась во тьме строк — это уже разделение внутри одержимости, причем это скорее различие между счастливыми и несчастливыми людьми, чем между умелыми и неумелыми. Утешу злорадствующих: сам я считаю себя несомненным и безусловным графоманом, а насколько я «умею», или, точнее, насколько я счастлив в этой форме самопознания, — не мне судить.

Вопрос, собственно, в другом. Почему мы все так одержимы? В этой преследующей нас жажде — остановить мгновенье, записать его, высечь на скрижалях, увидеть в скользющем

времени знак общеинтересного, нетленного, вечного, — не великая ли тоска по абсолюту? Не благодтворная ли и мучительная тяга за пределы каждодневного, примелькавшегося? Только тяга эта в нас — нерасчлененная какая-то, она... ночная: все кажется значительным в этой тихой тьме, хочется высказать это в с е... да не умеем внятно.

Ах, да: умеем. Если не выстроить, то уж выговориться — умеем. Спешим. Отсюда — поразительная легкость современного стихописания — на всех уровнях.

Вот автор первой книги, сибиряк:

Тихо-тихо.
Лишь легкие вздохи
полуночного ветра-чудицы
да несмелый волнующий запах
зрелых почек и первой травы.
Май
ступает...

Вот — из второй книги другого поэта (издано в Хабаровске):

Сосняки над холмами как гривы.
Словно гривы на шеях крутых,
И кусты — как заснувшие взрывы
На равнинах твоих.

Плохо ли это? Совсем не плохо! Искренне. Настроение есть. Душа высказана...

Что значит «душа»?

Ну, что-то свое, что-то волнующее, брезжущее... Да зачем расшифровывать? Стихи же! Вот она, ночь поэзии. Ночное бормотание души. Искреннее, глубокое. Неразборчивое. Почти без адреса. Себе и миру вообще. Ночному миру, слитному, огромному, неохватному...

Опытный поэт пишет о том же (издано в Кишиневе):

Когда поймешь — с ужасной простотой, —
что жизнь прошла, не принесла уменья,
что и читатель — он уже не твой, —
над ним права другого поколенья,

то и тогда — в тетрадки и тайком,
встав среди ночи, черкаешь для памяти
о самом сокровенном, дорогом,
о том, о чем вы тосковать устанете...

Тут неправда — про умение. Умение есть. А правда — в этом вот смутном вслушивании поэзии в свое дыхание. Читатель — не твой, он тоже собой занят, свое пишет, — но самой себе, самому себе что-то нужно доказать этим невнятным признанием. И структура стиха здесь соответственная: словно бы смятая, нечаянная, истинная именно нечаянностью.

Задача такой поэзии — не структурное завершение мира, а живой отпечаток его — знак

скользящего настроения, мгновенного движения психики. И легко, как вздох... Вздохнул — записал. Расшифровывать, переводить на язык прозы — смешно; поэзия ж не назидание.

Но ведь шлешь этот тайный вздох в пространство! Зачем?

А вдруг в этой бормочущей ночи кто-то чувствует так же? С к о л ь к о же импульсов нужно посылать вот так, «во тьму», без прицела, — чтобы «кто-то» наткнулся? Бесчисленное множество. Отсюда — такое половодье стихов. «Урожай».

Ведь и многие мастера стиха работают сегодня, учитывая эту ситуацию. Дайте мастеру карандаш и попросите: «Учитель! Отметьте в вашей новой книге важнейшее!» И он, почти не колеблясь, поставит семь-восемь крестиков в оглавлении. А остальное? Остальное — то, что называется «пространством книги». Никто не мыслит сегодня сброшюрованную пачку новых стихотворений — собранием шедевров, имеющих отношение к вечности или хоть исчерпывающих мир поэта. Семь-восемь блестящих, ударных вещей, а остальное — фон, дыхание, обстоятельства души — запись поиска. Ибо без этого нет к н и г и, а жизнь поэта — это книга, а потом еще книга, это цепочка книг, это летописание, пульс, где пики и спады так же естественны, как в самой жизни.

Мысленно обнимая бесконечные горизонты нашей поэзии, я думаю о том, что писание стихов — давно уже не сверхконцентрация духовного опыта, как мы думаем по инерции. Писание стихов сегодня — какая-то новая форма повседневной душевной гигиены миллионов людей, форма народного исповедничества, ритм непрерывного внутреннего диалога человека... с чем? С тем, что в его сознании — небуднично. Абсолютно.

И я понимаю людей в этой их тяге за грань элементарного и сиюминутного, знакомого и понятного. Эта тяга в людях извечна. Не может человек замкнуться на эмпирике, на внешнем устройстве, на том, что мелькает перед глазами каждый день. Но где, как утолить нынешнему человеку эту духовную жажду? Когда-то человек в этом состоянии взывал к высшим силам, но ведь не пойдет же современный двадцатитрехлетний инженер исповедоваться к батюшке, чтобы сориентировать свои впечатления меж полюсами вечности... Или, скажем, шел когда-то человек вечером в клуб... не в нынешний, с танцами и кино, а в старинный, «по интересам»... Или, скажем, у него был свой литературный кружок... нет, не теперешнее литобъединение при заводе, со сменными руководителями и очередью «опубликоваться» в многотиражке, — а именно литературный кружок в ста-

ринном смысле... Или, скажем, когда-то уединялся человек с томиком стихов любимого поэта...

Так и сейчас он читает! — скажете вы.

Нет. Не так читает, не затем читает. Да и мудрено ему сейчас найти родную душу, определить своего поэта в тех потоках стихов, которые вокруг. Он и не мыслит найти, он читает вовсе не с тем, чтобы найти. Он именно пробует поток, с мыслью: ну, как сейчас пишут? Он хочет сориентироваться.

Когда же доходит до творчества, то начинается то самое, что когда-то Мандельштам назвал поэтическим самообслуживанием. В том состоянии, в котором когда-то грамотному человеку хотелось стихов, и он читал любимого поэта, — теперь грамотный человек, словно отчаявшись найти любимого, — пишет стихи сам. Он это умеет. Он в поэзии сориентирован. В нем дышит жажда абсолюта. Святая жажда. И вот он вслушивается в тишину майской ночи... он вглядывается в ночные сосны... он вспоминает свое детство... Неужели все это так вот и уйдет бесследно, бессловесно? Но есть же во всем этом — смысл, есть какая-то тайна, есть невыразимая печаль...

Кому повем печаль мою?

Не сослуживцам же в буфете! Не толпе прохожих на эскалаторе! За сумасшедшего сочтут...

Но есть, есть и сегодня этот странный язык, на котором можно попробовать высказать это таинственное, волнующее тебя, неясное чувство оправданности жизни! Только надо принять одно несложное условие: язык такого высказывания должен быть не обычным, каким говорим всегда, а специальным: в нем должны быть ритм и склад.

Вот и получается та, в сущности, невероятная картина, что тысячи и тысячи людей, собирая дух свой, укладывают в рифмованные кирпичики и записывают. Рифмы — не для красо-

ты. Поэтический размер — не для роскоши. Это — снятие напряжения. Распечатание уст. Расторможение, разрешение. Я могу говорить о вечном, о чем «просто так» не скажешь.

Святая жажда... Но что же с этим делать? Что делать с этими потоками бумаги, с этими конвертами, с этими стонами души: прочтите, помогите, откликнитесь... Разве я в силах прочесть, прочувствовать, охватить воображением все то, что идет таким потоком! Но как я всех в принципе понимаю! И вас, инженер из Куйбышева. И вас, земляки-москвичи, физики, математики, филологи, регулярно приходящие — почитать вслух. И вас, семидесятипятилетний пенсионер из Киева, безнадежно и непрерывно посылающий мне заказные бандероли. Есть красота в этом ночном замороженном вслушивании в себя, в свою душу. Есть своя предрассветная прелесть в тихом полудье стиха, нас затопившем.

Ну, а когда придет утро? Когда ясно видимые всем острые лучи прорежут туман, вобрав свет, отбросив тени? Когда несколько новых имен врежутся в наше сознание и создастся два-три новых поэтических стиля, между которыми начнется борьба за влияние? Или — дальше — когда новый день воцарится в лирике, и мир в ее свете станет структурным, и придет ясность, и выстроится пирамида сил, иерархия мастеров — учеников — последователей? Ведь и день поэзии таит свои проблемы. Власть великих поэтов над умами — не мягкая. Что делать в этом резком свете тем, кто привык записывать стихами свое дыхание, свои мечты, свои печали?

Идти в эпигоны?

Или — искать новые формы для выявления той великой творческой силы, которая бродит в каждом человеке?

(Имена поэтов, которых я выше цитировал: Станислав Горохов, Виктор Еращенко, Алла Коркина. Новых им книг!)

Николай Глазков

ТУТАНХАМОНА ВИДЕЛ Я В ГРОБУ

Как редкостная птица марабу
И как жуки степные — скарабей,
Он был людей сегодняшних глупее —
Тутанхамона видел я в гробу.

Позабывая важную борьбу,
Он утолял тщеславие пустое:
Хлестал придворных плетью золотою —
Тутанхамона видел я в гробу.

С печатью величавости на лбу,
Он золота имел несметно много,

Но выглядел фальшиво и убого —
Тутанхамона видел я в гробу.

Мои друзья, знакомые, коллеги,
Живущие в двадцатом бурном веке,
Зря не пеняйте на свою судьбу —
Тутанхамона видел я в гробу.

Наш век свою имеет похвальбу,
Свои золотоносные распадки,
И благородней наших дней порядки —
Тутанхамона видел я в гробу.

Борис Слуцкий

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Я, как писатель, — средний.
Как читатель —
я то прочел, что и Шекспир не смог.
Я знаю то, что Данте невдомек.
Ясней и проще ясного, простого,
что метод мой — верней, чем у Толстого,
и глубже оптимизма глубина
и чем у Гоголя
и чем у Щедрина.
Поэтому я и приму без прений
то обстоятельство,
что я писатель средний.

Анатолий Брагин

* * *

Среди восьми родных сестер
Я потихоньку рос,
Не говорил: «Я нос утер»,
А «я утерла нос!».

Не говорил «на пруд пошел»,
А говорил «пошла»...
Среда влияла хорошо,
Я скромницей была.

Когда же вырос, возмужал,
То ощутил пробел:

Девчонок слишком уважал,
Стеснялся и робел...

Не целовал, не обнимал...
И верил: «нет» так нет!
Я за сестер их принимал,
Себе и им во вред.

И говорили вслух: «Чудной», —
Девчонки обо мне,
Пока не встретился с одной,
Понятливой вполне.

* * *

Не то во сне, не то на Сретенке
Я встретил женщину в наморднике.
Тоска стеснила грудь мою.
И я подумал:
«Вот красавица,
Вступившая в ужасный брак.
Положим, что она кусается.
Положим! Но зачем же т а к?...»
Окрашенный под цвет лица,
Намордник был из грубой кожи,
Шипами внутрь,
О правый боже,
Убить бы мужа-подлеца!
Я подошел и молвил:
— Ах!
Я так сочувствием терзаем,
Что с вашим гнусным негодяем
Готов поговорить впотьмах.
Я дурь повыбью из него.
Лишь дайте знак, и он — покойник! —
Но тут ближайший подоконник
Вдруг пробасил:
— Тебе чего?! —
При ярко вспыхнувшей луне
Я увидал его в окне.
Так вот он — деспот!
Жалкий лик

Был так искусан и пожеван,
Что, не сдержав невольный крик,
Я возопил:
— Да ты велик!
Хвала терпенью твоему.
Но одного я не пойму:
От гор Карпатских до Урала,
От океана до Байкала
Есть женщин ласковых немало.
Найди среди них, а эту брось! —
Но тут красавица сказала:
— Я б вас перебивать не стала,
Но нам не жить на свете врозь.
Вы беспокоитесь напрасно,
Живем мы трудно, но чудесно, —
Чего ж еще, в конце концов?! —
Я молвил:
— О-о-о! —
А он согласно
Кивнул искусанным лицом,
И взор его зажегся той
Непостижимой теплотой,
Тем горним, рвущимся сквозь тьму
И в общем-то нездешним светом,
Что жизнь дарит на свете этом...
Поэтам? Нет, брат, не поэтам.
Счастливым. Больше никому.

Новелла Матвеева

«КНИЖНОСТЬ»

«Веселый Бомарше», «Торквато величавый»,
«Суровый Дант», Гомер, Глюк, Моцарт, Апулей,
Вержье, Парни, Грекур, Шенье, Назон, Орфей,
«Фернейский злой крикун» — Вольтер... Эрот кудрявый,

Мом, Феб, Анакреон, Эол... Страна теней —
Эллизиум... Плутон... Парнас... Пифон кровавый...
Сталь, Дидерот, Руссо... — в красе и силе всей
Весь восемнадцатый с его задорной славой...

Фонвизин... Дон-Гуан... Баян... Лорд Байрон... — Во
Литературщина! Во — светопреставленья!
Сам Пушкин (дожили ведь, братцы, до чего!)
К другим писателям пошел на иждивенье!

Грех, батюшка, от книг. А чтобы зло пресечь,
Так надо бы собрать все книги, да и сжечь.

БЕС СОБЛАЗНА

Посмотрите, как красиво эта женщина идет!
Как косынка эта сивая этой женщине идет!

Посмотрите, как прекрасно с нею рядом я иду,
Как и бережно и страстно под руку ее веду!

Евгений Храмов

Посмотрите! Не напрасно вы оглянетесь, друзья!
Эта женщина прекрасна, но еще прекрасней я!

Эта женщина со мною! Это я ее веду!
И с улыбкой неземною это с нею я иду!

Посмотрите, как сияют чудных глаз ее зрачки!
Посмотрите, как сверкают на моем носу очки!

Как зеленое в полоску этой женщине идет!
Как курю я папироску, от которой дым идет!

Я не зря рожден поэтом, я уже едва дышу,
Я об этом, я об этом непременно напишу!

Я веду ее под ручку из музея в ресторан.
Авторучка, авторучка мне буквально жжет карман!

Я иду и сочиняю, строчки прыгают, звеня,
Как прекрасно оттеняю я ее, она — меня!

Мы — само очарованье! И поэзия сама —
Способ самолюбования, плод игривого ума...

КОМПРОМИСС

...Когда б любовь мне солнце с неба стерла,
Чтоб стали дни туманней и мрачней,
Хватило б силы взять ее за горло
И задушить. И не писать о ней!

Владимир Солоухин

Итак, любовь. Восторг души и тела.
Источник вдохновенья, наконец!
И все ж был прав неистовый Отелло:
«Молилась ли ты на ночь?..» И — конец.

И у меня случилось так. Подперло.
Она сильна как смерть. Но я сильней.

Хватило б силы взять ее за горло
И задушить. И не писать о ней!

Но полиставши Уголовный кодекс,
Сообразил, что и любовь права.
И плюнул я тогда на этот комплекс.
И я свободен. И любовь жива.

Все проклял я — детсад и ясли!
Учительница! Но не Вас ли
Я так любил, что по ночам
На стены прыгал и кричал?

Как знать, быть может, в те мгновенья
Великие стихотворенья

ПРОПАЦИЙ

Я в рубашке родился,
Без рубашки умру...

Я умер вовремя — до света,
И ожил вовремя — к утру.

Не страшусь я гибели —
Повенчаюсь с песней.

Я женюсь на осени...

Борис Примеров

Был в селе я человеке,
Человеке, да какой!
Брал в охапку каждый вечер
По две девки за рекой!

На асфальте — не на пашне,
Без гармонии, без корней
Я живу такой пропащий, —
Умереть бы поскорей!

Я не буду ждать кондрашки:
Без рубашки поутру
(Пусть родился я в рубашке)
Лягу в ящик и помру.

Вся деревня навстречь выйдет,
Бросив жатву и косьбу.

О ЛЮБВИ К МАЛЕНЬКИМ

Я рад зайчонку, крошечным букашкам.

Мне тягостно видеть глаза хулигана.

Степан Щипачев

До слез я таракашке рад прохожей.
Старайся, насекомая, живи!
Любой козявке, даже нехорошей,
Готов признаться в дружбе и любви!

На лапки муравьев, букашек злейших
Ни разу я не наступил в траве,
И комаров, как братьев наших меньших,
Я никогда не бил по голове!

Я написать не смог — увы.
А чем их заменили Вы?

...Я слышал, мучает Вас память,
И двойку рады Вы исправить!
Но поздно: я от Вас отвык.
Ловите миг!

Ваш ученик.

Отощавшего увидит
Земляка она в гробу.

— Худ-то! — скажет. — Знать,
столица

Человека довела! —
На поминки — охмелиться —
Соберется полсела.

Отпоют меня собаки,
Овцы, куры, петухи.
Тут-то я ближайшей бабке
И начну читать стихи!

А потом заплачу: каюсь
И в столицу не вернусь.
С песнею не повенчаюсь —
Так на осени женюсь!

Когда старушку муху два бандита
Свалили с ног и стали бить ее,
Я сделал шаг и посмотрел сердито:
Бить маленьких! Позор! Хулиганье!

Преступники потупились в смущенье.
И, в миг перевоспитанные мной,
Просить у мухи бросились прощенья
И помогли добраться ей домой.

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА МАРКОВА

... Внешне спокоен, но темперамент и сила характера угадываются в каждом движении. Добр и мудр. Ум ученого. Сердце поэта. Такими, наверное, были люди эпохи Возрождения.

Чем ближе узнаешь его, тем более невысокий, немолодой человек с острым взглядом и грустной улыбкой кажется большим, скульптурным, способным творить чудеса.

Вся жизнь Сергея Маркова — ученого и поэта — была свершением чудес. Это он двадцатилетним юношей привлек всенародное внимание к истории забытых золотых промыслов в Северном Казахстане. Он первым опубликовал материалы о жизни и деятельности полярного исследователя Н. А. Бегичева. Он вернул советскому востоковедению имя ученого Гонбочжаба Цыбикова, исследователя Тибета. Он, узнав, что река Нура в Казахстане изменила русло, причинила бедствия людям, обследовал реку, изучил на месте все причины, привлек своей статьей внимание общественности, и реку удалось спасти. Он предложил соорудить памятник-маяк Семену Дежневу на мысе Дежнева. И памятник был поставлен. По его инициативе город Каракол был переименован в Пржевальск. И это он дал имя Александра Грина одному из островов Тихого океана.

Он составил оригинальную историко-географическую картотеку — настоящее богатство для всех исследователей-востоковедов.

Он написал замечательные книги «Юконский ворон», «Летопись Аляски», «Идущий к вершинам», «Земной круг» — монументальные полотна, где факты истории под пером Мастера стали прекрасными страницами художественной прозы.

Мастер. Это слово приходило в голову всем, кто знал Сергея Николаевича Маркова. Друзья его молодости рассказывают, что Мастером он стал сразу, без юношеских метаний и поисков самого себя. Поиск Сергея Маркова был обращен в жизнь, отличался высоким альтруизмом — он искал забытое, нужное людям, находил и щедро делился находками.

От стихотворений Сергея Маркова замирает сердце. В них гул времен, неукротимый темперамент и пронзительная лирическая сила.

Он писал крупно, сразу, без помарок.

Как все подлинно большие люди, Сергей Марков разумно относился к славе — ценил ее, но не слишком огорчался, когда порой оказывался в тени. Он вообще мало был занят собой и своими успехами. Его волновали другие люди, их судьбы. Смысл его жизни — большой и прекрасной — был в самом свершении.

Сергей Николаевич состоял членом редколлегии этого сборника. Работал увлеченно, озорно, умно. Читал рукописи. Заботился о развитии нашей сегодняшней поэзии. Подписал подготовленную к набору книгу.

Встречи с ним были для нас праздниками.

Цикл стихотворений, публикуемых здесь, Сергей Николаевич подготовил сам. Очень хотел видеть их напечатанными.

Его забыть невозможно. Боль утраты невосполнима. Мы навсегда останемся его современниками.

Редколлегия сборника «День поэзии 1979»

В СБОРНИКЕ «ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1979» УЧАСТВУЮТ:

Аксельрод Е. (136), Алексеев О. (180), Альперт М. (117), Аннинский Л. (213), Антокольский П. (80), Антонов С. (120), Аришина Н. (192), Астафьев В. (51), Ахматова А. (201);

Баева А. (138), Балашов Э. (71), Балин А. (10), Бек Т. (176), Белинский Я. (104), Беличенко Ю. (54), Белов В. (120), Берестов В. (93), Бобров А. (76), Боков В. (55), Брагин А. (217), Бутенко В. (57), Бухараев Р. (136);

Васильев П. (193), Васильев Я. (119), Вегин П. (180), Велихова З. (147), Винокуров Е. (85), Винонен Р. (103), Вишневский Ф. (208), Владимов М. (220), Волобуев А. (119), Волобуева И. (164);

Гиленко В. (173), Глазков Н. (124, 217), Глинка Ф. (206), Глушкова Т. (169, 195), Гончаров В. (198), Горбовский Г. (145), Грибачев Н. (7), Гусев Вл. (209);

Дагуров В. (194), Денисов Ю. (185), Дмитриев О. (189, 216), Долматовский Е. (75), Дремов И. (48), Друнина Ю. (128);

Евтушенко Е. (45), Еремеев Г. (69), Еремин Д. (35), Ермолаева О. (155), Ерхов Е. (164);

Железнов П. (7), Жигулин А. (42);

Завадский В. (220), Завальнюк Л. (218), Захаров В. (163), Злотников Н. (161), Золотцев С. (132), Зульфикаров Т. (154);

Иванов А. (219), Ивнев Р. (191), Исполнов А. (184);

Казанский В. (102), Казанцев В. (185), Калина П. (86), Капитонов А. (133), Канатов Ф. (49), Капралов В. (183), Каратеев Л. (76), Карпеко В. (182), Касмынин Г. (55), Катаев В. (63), Кафанов А. (131), Кашежева И. (152), Квливидзе М. (74), Кешсков А. (159), Кияшко И. (16), Кобзев И. (60), Коваль-Волков А. (166), Ковда В. (116), Кожин В. (212), Козловский Я. (89, 135), Корин Г. (152), Коркия В. (137), Королев А. (61), Костров В. (52), Костюрин Д. (184), Кочетков В. (68), Кошель П. (189), Кралин М. (201), Красиков С. (71), Красников Г. (24), Красноперов П. (18), Кузмин М. (202), Кузнецов Вал. (77), Кузнецов Ю. (199), Кузнецова С. (196), Кузвляева Т. (59, 162), Куняев С. (113), Куприянов В. (116);

Лавлинский Л. (106), Лазарев В. (12), Лакербай Ю. (137), Латынин Л. (61), Ленч Л. (178), Леонович В. (174), Лисянский М. (9, 177), Львов М. (8, 126);

Марков А. (188), Марков С. (65), Мартынов Л. (40), Матвеева Н. (143, 218), Мелехин П. (196), Миллер Л. (134), Михайлов Ал. (13), Мнацаканян С. (153), Москвитин А. (116);

Нагибин Ю. (140), Наппельбаум Л. (155), Наровчатов С. (107), Нейман Ю. (146), Николаев А. (57), Николаевская Е. (118), Нилин П. (120), Новосельнова Н. (11), Ногтева М. (165);

Озеров Л. (117, 144), Окуджава Б. (60), Орлов С. (129), Осинин В. (71);

Павлович Н. (36, 191), Панченко Н. (44), Паркаев Ю. (171), Петренко С. (138), Поделков С. (192), Поздняев К. (47), Поздняев М. (22), Поликарпов С. (115), Поляков Ю. (62), Преловский А. (40), Примеров Б. (147), Протопопова О. (175);

Рабинович В. (190), Радковский А. (115), Разумовский Ю. (150), Распутин В. (83), Реброва Т. (21), Редькина М. (27), Резник В. (183), Румарчук Л. (62), Русаков Г. (69), Рязанец С. (148);

Саакянц А. (32), Савельев В. (11), Савельев М. (179), Самойлов Д. (58), Семакин В. (134), Семернин В. (135), Семинин П. (91), Сидоренко Н. (121), Сидоров В. (166), Симоненков В. (137), Симонов К. (6), Синельников М. (70), Скуратов М. (92), Слуцкий Б. (110, 217), Смергина Т. (112), Смирнов Л. (79, 139), Смирнов Ю. (156), Смольников А. (9), Соболь М. (170), Соколов В. (94), Соложенкина С. (131), Сорокин В. (159), Софронов А. (130), Строило А. (161), Сурков А. (12), Сушкова Л. (184), Сырыцева Т. (84);

Тараканова Л. (135), Тарковский А. (67), Татьяначева Л. (27), Творогова В. (190), Тер-Акопян А. (147), Терехин Л. (182), Терещенко В. (132), Терещенко Д. (59), Тихомиров Ан. (83), Тихонов Н. (29), Топоров В. (188), Тряпкин Н. (77, 216), Турбин В. (96);

Урусов В. (19), Ушаков Д. (165);

Федотов В. (70);

Цветаева М. (32), Цетлин М. (182), Цыбик В. (121);

Челноков А. (142), Чиков А. (114), Чухонцев О. (173);

Шавырин Ю. (62), Шагинян М. (158), Шведов Я. (90), Шевелева Е. (194), Шестинский О. (168), Широков В. (8), Шитиков А. (73), Шкляревский И. (181), Шпирт А. (93), Шубин П. (87), Шумаков Н. (147);

Щербатов Б. (165), Щипахина Л. (160), Щипачев С. (72);

Юшин Е. (15).

ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1979

М., «Советский писатель», 1979, 224 стр. План выпуска 1979 г. № 146

Редактор В. С. Фогельсон
Худож. редактор Е. И. Балашева
Техн. редактор И. М. Минская
Корректоры Т. В. Малышева и А. В. Полякова

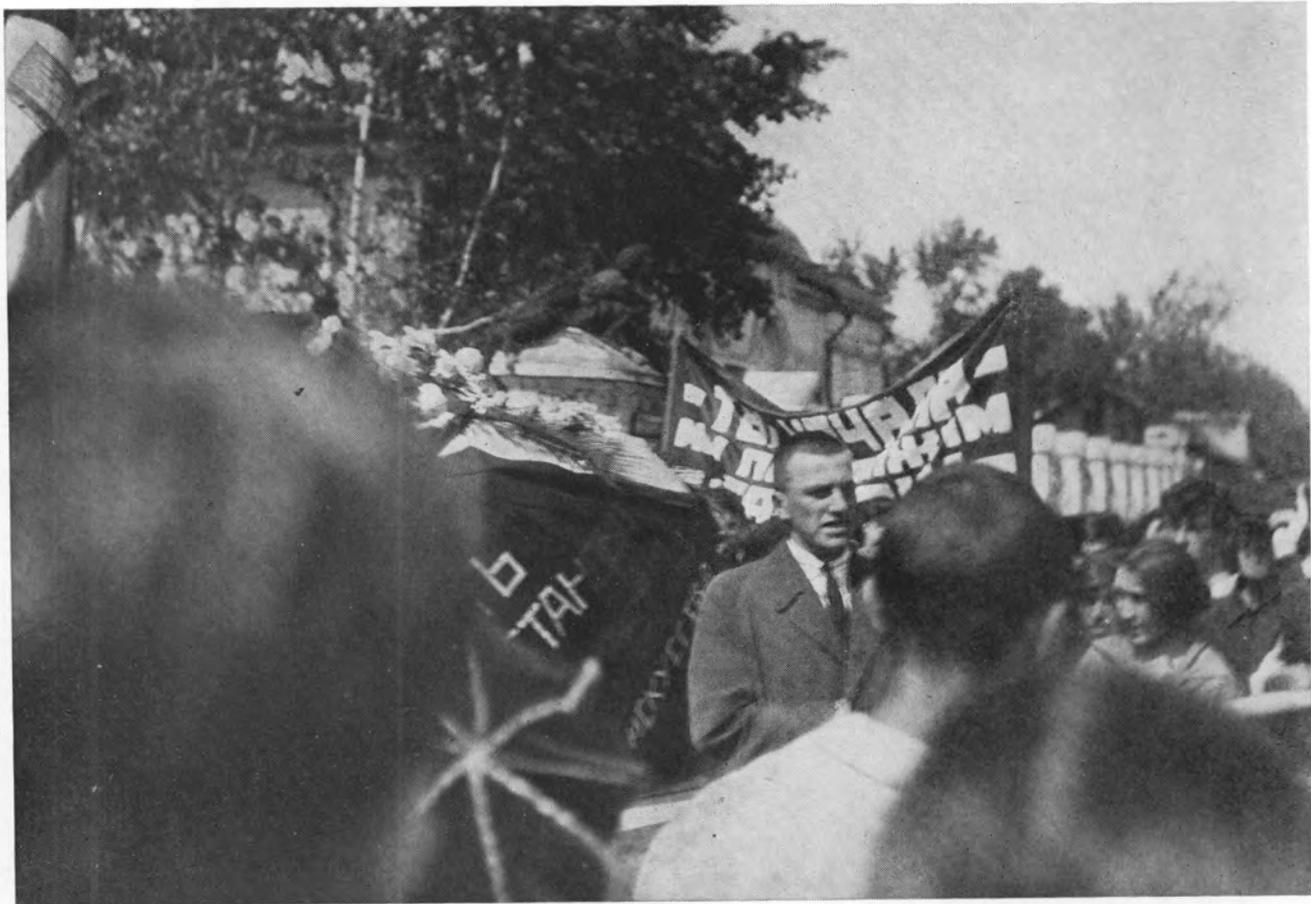
ИБ № 1729

Слано в набор 15.05.79. Подписано к печати 01.08.79. А14211. Формат 84×108^{1/16}.
Бумага тип. № 1. Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 23,17. Тираж 75 000. Заказ № 96. Цена 2 р. 30 к.

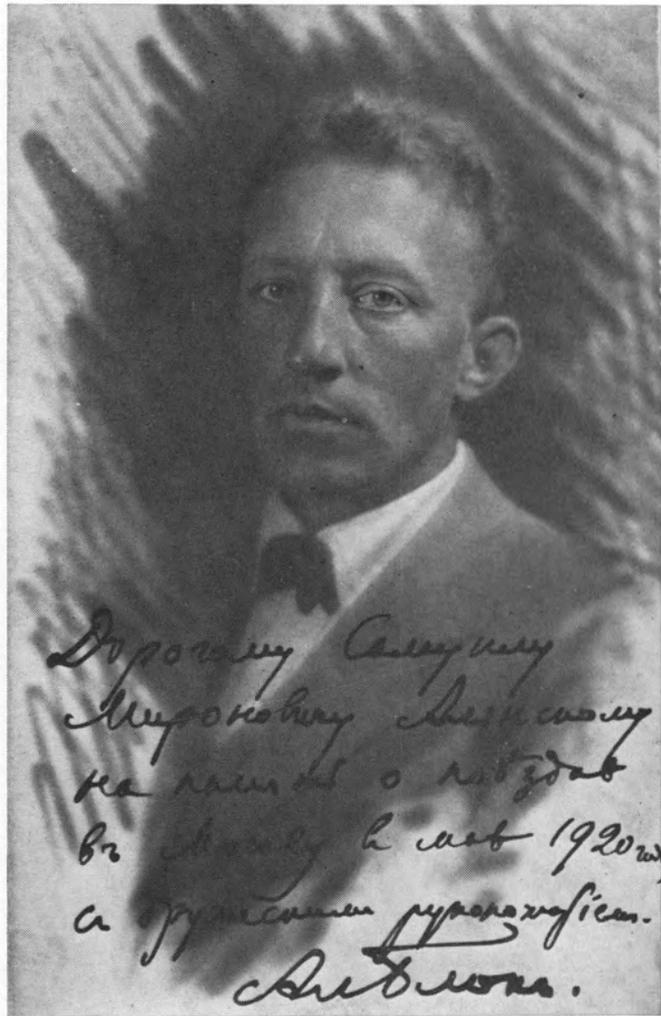
Издательство «Советский писатель». 121069. Москва, ул. Воровского, 11.
Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном
комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54. Валовая, 28



Открытие памятника Владимиру Маяковскому в Москве на площади, носящей имя поэта. 29 июля 1958 года. Фото Н. Лаврентьева.



Выступление В. В. Маяковского на похоронах художника-конструктора Л. С. Поповой. Москва, май 1924 года. Маяковский высоко ценил деятельность Поповой. «Вся ее работа как и ее мировоззрение были связаны теснейшим образом со строительством революционной пролетарской культуры», — говорилось в письме, подписанном В. Маяковским и его товарищами и опубликованном в газете «Вечерняя Москва» 26 мая 1924 года. Фото А. Родченко. Публикуется впервые. Архив В. Родченко.



Фотография Александра Блока с дарственной надписью С. М. Алянскому. (С. М. Алянский — один из старейших советских книгоиздателей, организатор издательства «Алконост»).

На следующем развороте воспроизводятся гранки первого издания поэмы Александра Блока «Двенадцать» («Алконост», 1918) с рисунками Ю. Анненкова. Архив С. Алянского.

Александр Блок

Д. В. КАРАЦАТЦЕ

Рисунки

Юлия Анискина



Александр Блок
Петербург
1918

История

4

- А Вавил с Катаной — из кабак.
- У ей перели есть в чужа!
- Вавилон сакъ темерь богаты.
- Вавил Вавил наш, а отакъ солдата!
- Ну, Вавил, сужия сны, буржу,
- Мою, попробуй, водлау!

Вет
шорок
достав

Свобода, свобода,
Отъ, ехъ, безъ преста!
Катан с Катаной заката —
Чужъ, чужъ заката!
Три-ти-га!

Рисунки

V

Ветер, клещий!
Не отстаеть шорок!
И буржу на окрестий
Въ коротка урчатъ ногъ.

5

А это кто! — Давидъ, волотъ
И говорить вонголотъ:
— Продавай!
— Погиба Россия!
Должно быть, востанъ —
Ветя...

V

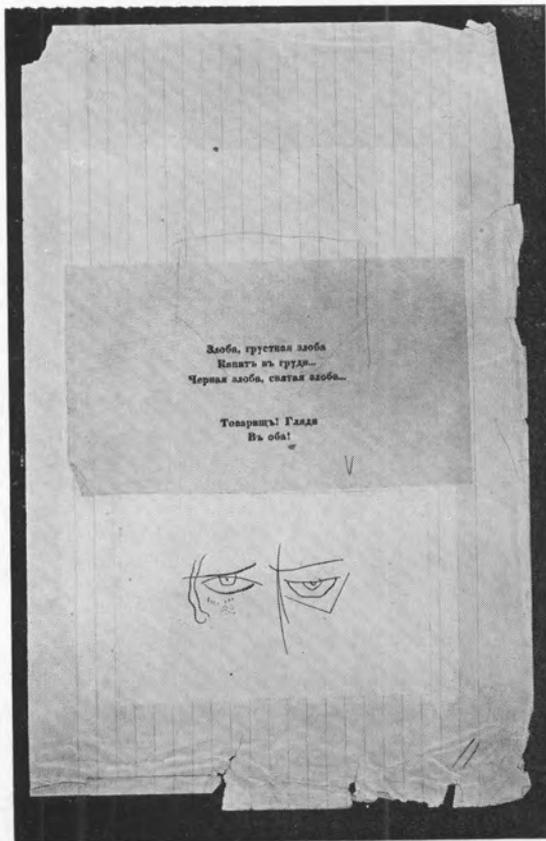
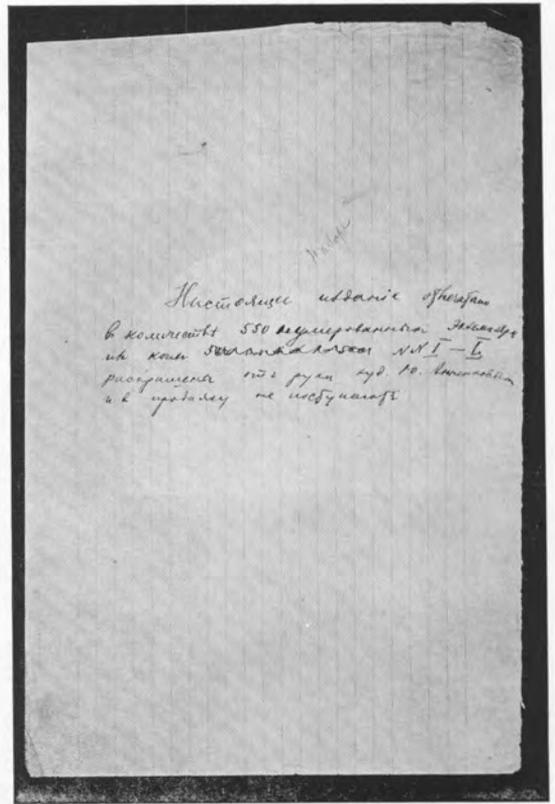
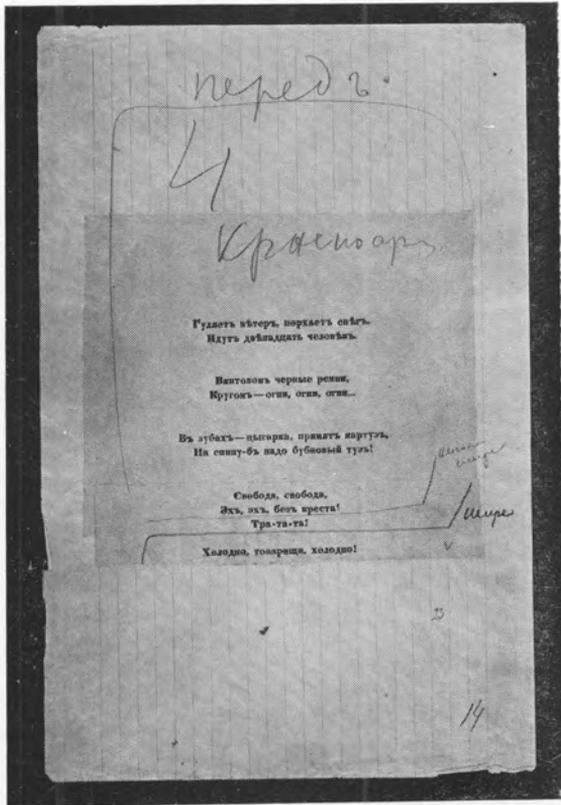
А конь я дагополый —
Стороней — на стурбъ,
Что вавил вавилей,
Товарищ конь!

Вонимъ, какъ бывало
Врехозъ молъ впередъ,
И врехозъ стало
Врехо на вперед!

Вонъ баракъ въ жаркутъ
Въ другой подернулася!
— Умъ мы вавилъ, вавилъ...
Постоянулася
И — блядь — растулася!

Ах, ах!
Теле, водлау!

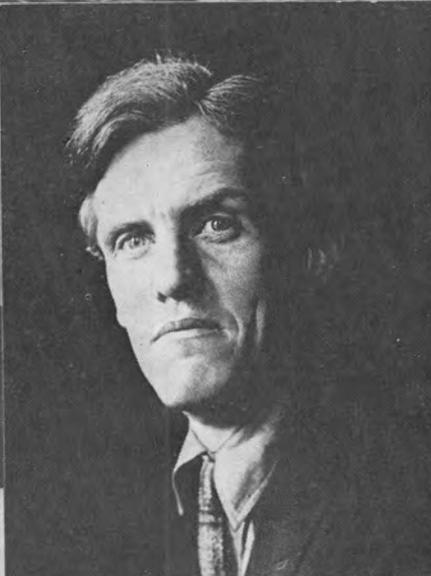
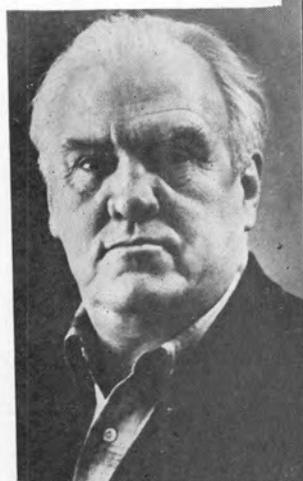
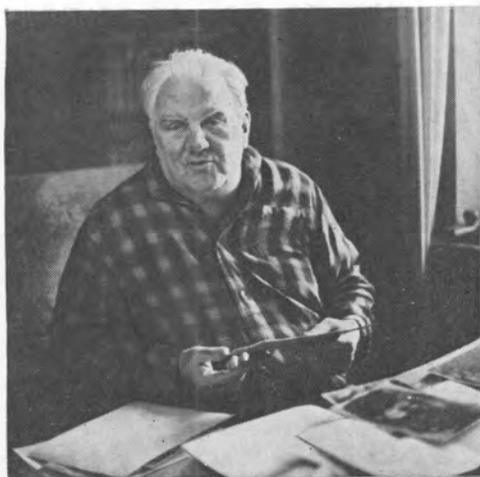
V





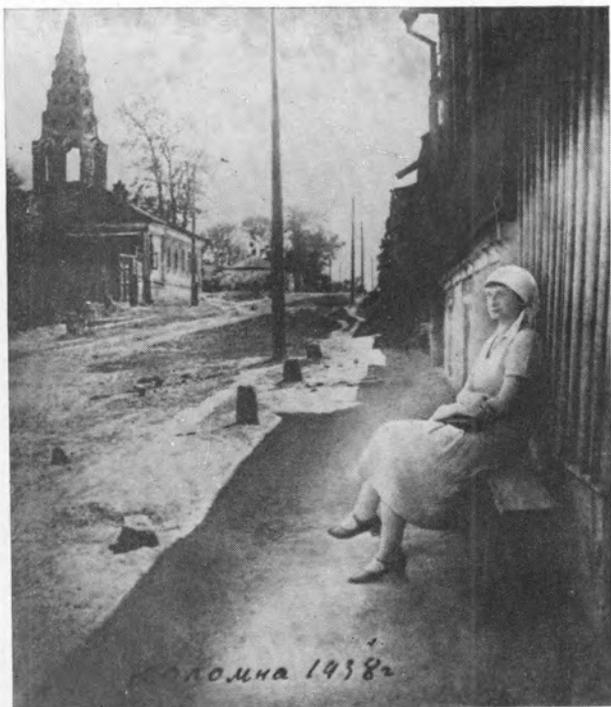
А. А. Блок, его мать Александра Андреевна и жена Любовь Дмитриевна на балконе петроградской квартиры Блоков. 1919 год. Фото С. Аллинского.

*Николай Семенович Тихонов. Фотографии
разных лет.*



Павел Григорьевич Антокольский. Фотографии разных лет.





А. А. Ахматова в Коломие. 1938 год. Публикуется впервые.



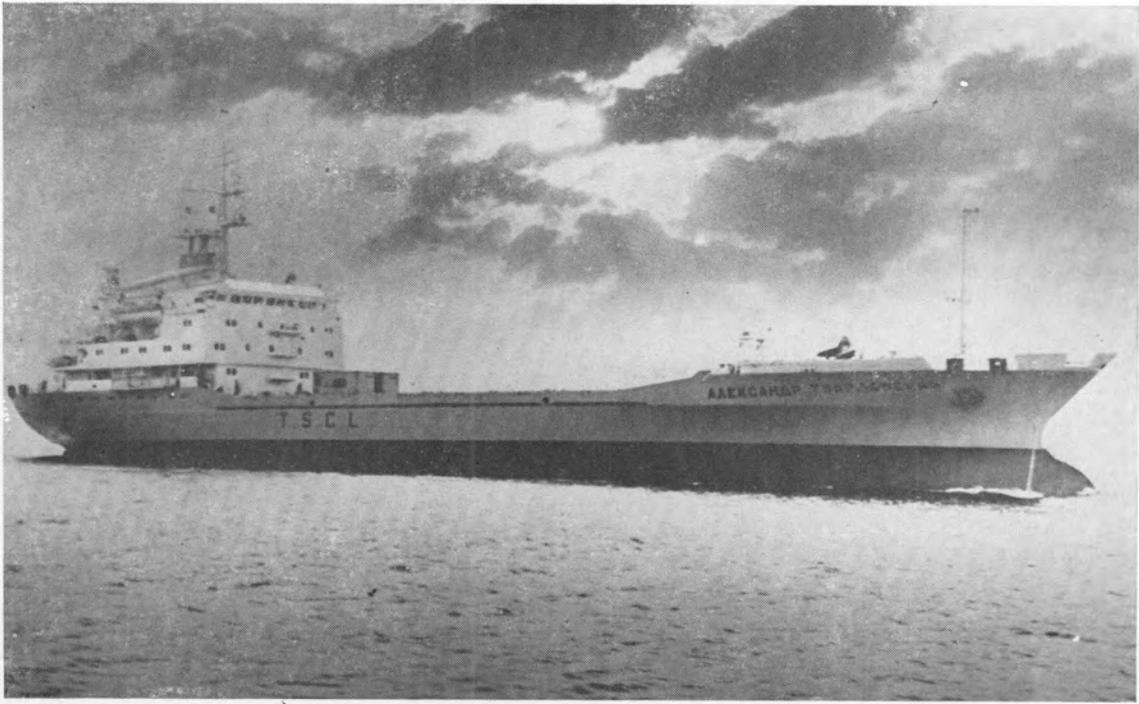
Анна Андреевна Ахматова. 60-е годы. Фото Ал. Лесса.



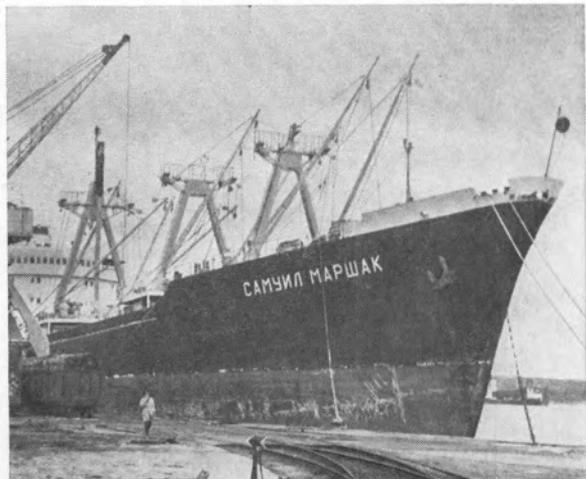
А. Т. Твардовский и И. С. Соколов-Микитов.

Митинг, посвященный открытию мемориальной доски Александру Твардовскому в г. Починке Смоленской области.





Теплоход «Александр Гвардовский».

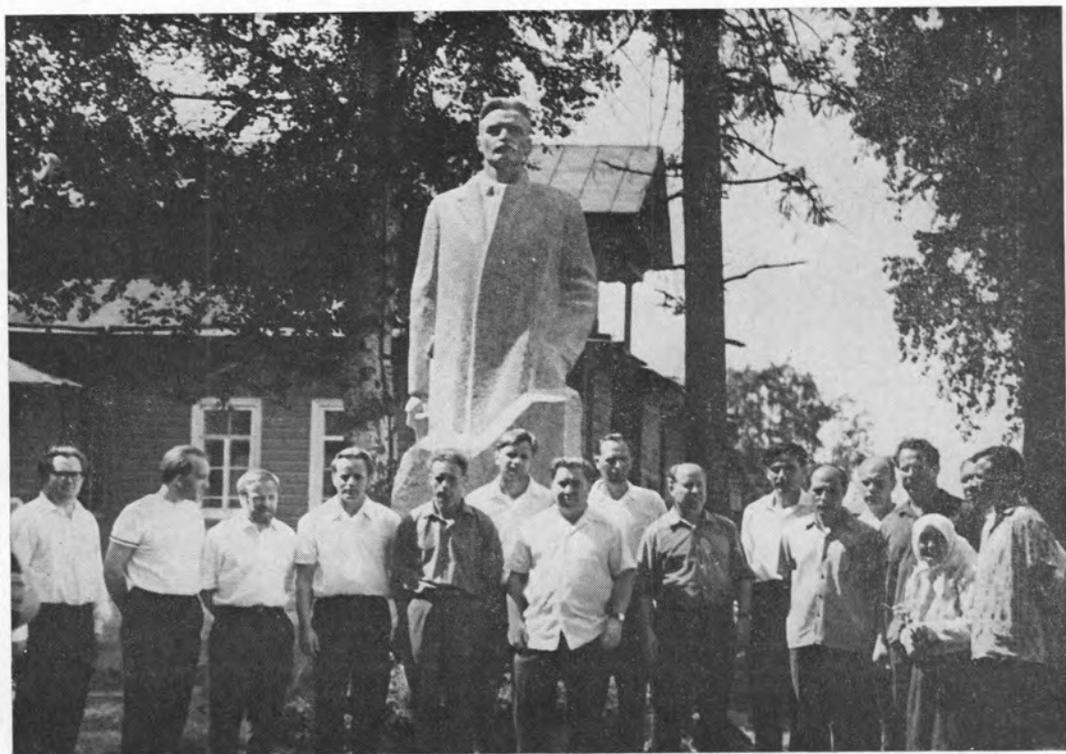


Теплоход «Самуил Маршак».



Александр Яшин. На обороте фотографии рукой поэта написано: «20/V 41 г. Сталинград». Публикуется впервые.

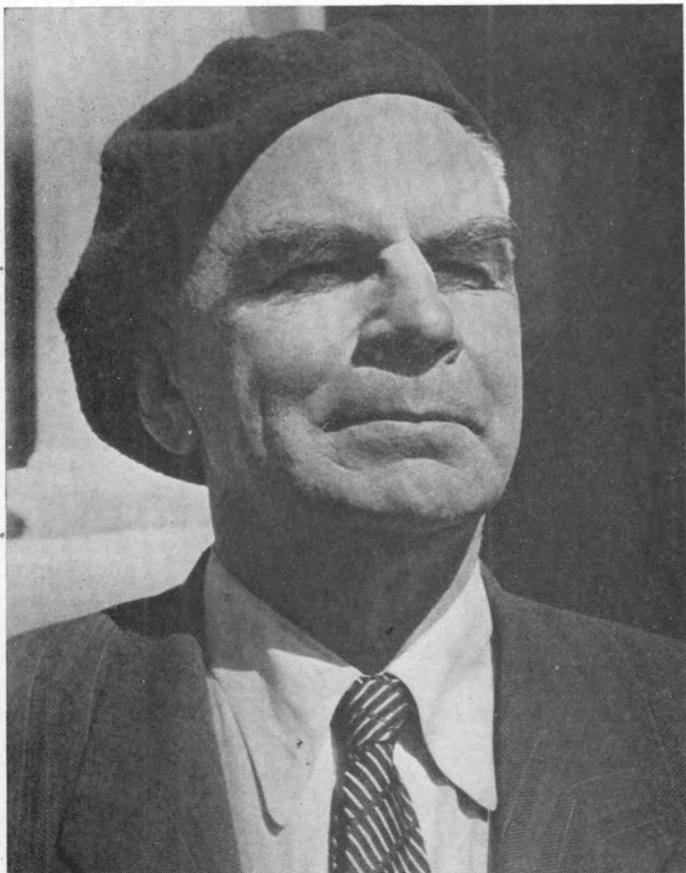
У памятника А. Я. Яшину в городе Никольске Вологодской области.



Открытие мемориальной доски Михаилу Луконину в селе Килинчи Астраханской области. 19 октября 1978 года.



Ярослав Васильевич Смеляков.



Владимир Александрович Луговской. 1957 г. Один из последних снимков поэта.



Марина Цветаева (справа) и ее сестра Анастасия. 1910-е годы.



Илья Львович Сельвинский. Фото Я. Хелемского. Публикуется впервые.



*Алексей Иванович Фатянов.
Фото Ал. Лесса.*



Поэты Федор Канатов и Иван Дремов. 30-е годы.



Ольга Протопопова. 20-е годы.

2р. 30к.

